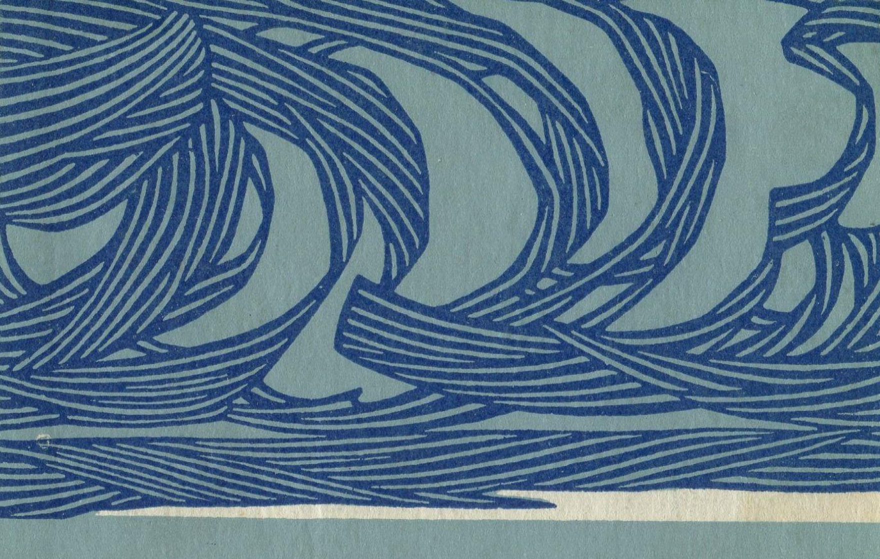


ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

Золотое дно

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН



ПОВЕСТИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК
1976

Р2
Л66

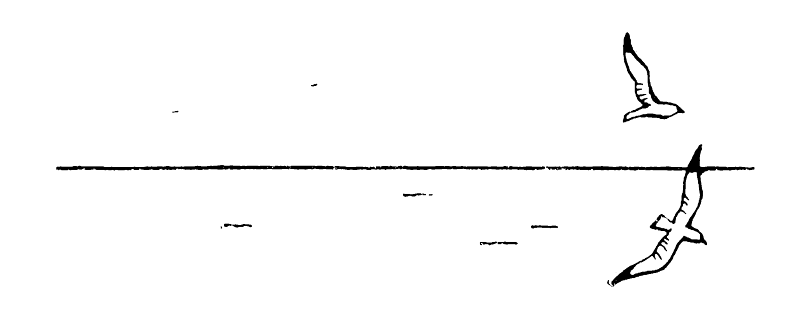
Личутин В. В.

Л66 Золотое дно Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1976.
312 с.

Владимир Личутин — автор двух книг прозы: первая — «Белая горница» вышла в Архангельске, вторая — «Время свадеб» — в Москве в издательстве «Современник». Его повести, рассказы и роман «Долгий отдых» были опубликованы в журналах «Дружба народов» и «Север».

Герои произведений Владимира Личутина — поморы. Уроженец Мезени Архангельской области, он хорошо знает характер труда и быта северных рыбаков. Обе повести этой книги рассказывают о людях трудной и сложной судьбы. Первая — «Золотое дно» — своеобразная хроника жизни современной поморской деревни (читатели «Белой горницы» встретят здесь знакомые имена); действие второй — «Дядюшки и бабушки» происходит в северном городке.

Р2



ЗОЛОТОЕ ДНО

ИЗ ХРОНИКИ ПОМОРСКОЙ ДЕРЕВНИ

I

Иван Павлович Тяпуев покидал «аннушку» последним. «Вот и родина, вот и отечество, такое тут дело»,— подумал он, и душа сразу готовно расслабилась, хмельно сгрустнула. Тяпуев еще застыл на мгновение в проеме двери, жмурясь от хлынувшего навстречу пронзительного света, вольного, сладкого от разнотравья воздуха и желанно располагая себя к радостным объятиям и легким хлопотливым слезам. Но никто Ивана Павловича не признал, каждый был сам по себе. И только начальник деревенского аэродрома, мрачный мужик с печатью затяжной болезни на провалившихся серых щеках, с прищуром целился раскосыми глазами, подозрительно оглядывая нового в этих местах человека, потом сдвинул на затылок казенную фуражку и нерешительно замялся, задавив слово на языке. Видно, он хотел поначалу что-то серьезное спросить у Тяпуева, но встретил его холодные, выпуклые глаза, на дне которых вкрапились порошинки зрачков, и сразу заробел, завиноватился, почтительно встал в сторонке, напрягая поджарое тело.

А Тяпуев так и топтался возле огромного фибрового чемодана, пока самолетик, подняв облака песка и гари, не ушел в сторону моря.

— Давайте помогу,— сухо предложил начальник деревенского аэродрома и, не дожидаясь согласия, понес чемодан к телеге, часто скашливая в сторону.

«Подлости не терплю»,— бормотал Тяпуев, поняв наконец, что никто уже не встретит его, а ведь теле-

грамму отбил и дважды пробовал дозвониться, но транспорт к самолету так и не подали, и, значит, эти пять верст придется коротать пешком. Почтовая телега уже была забита мешками и чемоданами, письмоноска — скуластая рябая женщина — уселась поверх поклажи, по-детски протянув ноги, покрытые шерстяными толстыми носками и жаркими пыльными калошами.

— Дорогу-то хоть знаете ли нет?— спросил начальник аэродрома и снова сухо кашлянул.— Все прямо, все прямо, и никуда не отворачивайте.— И, не взглянув более на Тяпуева, ушел к избе.

А гнедая лошадь, словно дожидаясь этой минуты, без приказа шагнула с холмушки, обросшей низкорослой ромашкой, и потащилась через тундровое болото. Колеса заскрипели, увязая в песке и наматывая на ободья лоскуты белой жаркой пыли, спина почтальонки качнулась в такт телеге и заметно отдалилась от Тяпуева.

«Подлости не терплю»,— снова буркнул под нос Иван Павлович, срывая гнев на тех, кто не удосужился встретить его, и, невольно смирившись с положением, снял светлый габардиновый плащ, перекинул на сгиб локтя и еще потоптался по желтым горбушкам ромашек, настраиваясь на долгую, потную ходьбу. Полосатая кишка возле аэродромной избы обвисла в густом маревом воздухе, едва слышные воздушные токи восходили от знойного болота и слегка касались набухшего лица, не принося облегчения. Видно, здесь, у моря, наступил тот стремительный сезон, когда тундра, уставшая от снегов и мокрети, дышит не ржавой сыростью набухших низин, а, как бы торопясь насладиться благодатной порой, разгульно гонит вверх травы, которые и пахли сейчас так пьяно и душно.

Тундра пламенела под июльским ярилом, вся обрызганная киноварью мхов и соцветиями конского щавеля; седыми зыбкими лужицами меж ними растекался гусиный пух, жалостно поникая пушистыми головками. Тяпуев наклонился, сорвал с жесткого стебля комок ваты с черным глазком внутри, вспомнил сразу, как в детстве собирал его в холщовый мешок и мать набивала этим пухом подушки, от которых потом неясно и долго пахло вешней подснежницей. По краям лайды, длинной низины, куда по осеням сбивается перелетный

гусь, сейчас высоко встал лапчатый хвощ, и жирная осока там вымахала по лошадиную холку. Тундра жила торопливо, хмельно тянулась к солнцу, вся пестро и зазывно облитая красками, и каждый лимонный венчик белогора, каждый ершистый цветок дикого лука и рябой надутой хлопушки испускал свой особый запах и расслабленно млел; но все это как-то само по себе гасло, подчиняясь смолистому дурманному настою багульника, от которого шалеет и привычный человек. Воздух стеклянно струился, и в этом знойном мареве рыжие глинистые холмушки зыбились, расплывались и казались неприступными горами.

Иван Павлович опьянел, его душа вдруг обрадованно зазвенела и набухла, едва умещаясь в груди. Тяпуев снял галстук и против обыкновения расстегнул на рубашке верхнюю пуговку. «А и хорошо, что не встретили. Такое вот дело. Кинулись бы, повезли, а там водка, пить давай... Воздух-то какой, милая родина, ни грязи, ни копоти, это тебе не город. Да... вот какое дело».

Думалось неясно, неотчетливо, и потому вскоре радость померкла и затуманилась, ее перебило горчинкой усталости и сухости. В душе ревниво и обидно тукало: «Не могли лошадку послать. Не рядовой какой человек. Гордость, можно сказать. Всей деревне имеет смысл погордиться, такое вот дело». Ботинки запылились, уже выглядели дешевенькими и потасканными, никак не дашь им прежней цены. От этих мыслей настроение и вовсе омрачилось.

Тут песчаная колея нырнула в мелколесье, сразу расползлась, заполнилась лужами, которые не успело выпить нынешнее солнце, видно, днем раньше выпал щедрый дождь, а по вымоинам с утра пробежал трактор-колесник и захлестал грязью придорожные кусты. И, как ни оберегался Иван Павлович, он опачкал светло-серые брючины и новый пиджак. А тут еще, распаленный влажной тенью березняка, почуяв человечий дух, гудящим столбом поднялся над головой комар, он словно бы приклеился к Тяпуеву, вонзаясь в открытые места, и оседал на велюровой шляпе и плечах серой подвижной пеленой. Иван Павлович, обнажив распаренную лысину, пробовал отмахиваться шляпой, все более закипая душой и уже ненавидя и обесцвеченное зной-

ное небо, похожее на замасленную бумагу, и расхристанную безлюдную дорогу, и самого себя за эту внезапную причуду: вышел на пенсию — и вдруг вздумалось через тридцать лет отлучки махнуть на родину, где из родни-то нынче один полузабытый троюродный брат.

Тут из-за кустов неожиданно вымахнула девчонка в длинных модных сапогах, переда которых походили на водолазные башмаки, коротенькая юбочка откровенно обнажала ноги. Тяпуев сразу признал девицу: в самолете она сидела напротив, и ее округлые коленки назойливо лезли в глаза. Наивное бесстыдство попутчицы раздражало Ивана Павловича, и, чтобы сдержаться и не одернуть девицу, пришлось всю дорогу моститься косо, на одной половинке, отвернувшись к замытому окну, под которым скучно тянулось ржавое приморское болото.

Девчонка остановилась, постегивая себя прутиком; у нее были широко поставленные голубые глаза, придавленные тяжелыми припухшими веками, мягко и безвольно вылепленные губы и запутанная рыжеватая волосня, раскиданная по плечам. Спутница оказалась высокой и угловатой, и, чтобы казаться вровень, Тяпуев невольно поспешил надеть велюровую шляпу и посильно подобрать вылившийся из ремня живот. Он даже попробовал улыбнуться, когда поровнялся с девчонкой и встретил ее диковатый насмешливый взгляд.

— Чья будете?— спросил равнодушно, ради приличия, чтобы завязать разговор, и невольно отыскивая знакомое, полузабытое в ее лице. Но, бог ты мой, разве что тут вспомнишь, если столько лет минуло, уж карапузы, что без штанов летали, давно семьей обзавелись. Никого и не признать из молодых. Время быстро летит, не ухватишь.

— Селиверстовых... Мартына Коновича,— ответила девчонка хрипловатым, неожиданно низким голосом. Тяпуев вздрогнул и отвел глаза.

— Жив отец-то?

— Жив...

— А меня зовут Иван Павлович Тяпуев. Слыхали, наверное?

Девчонка не ответила, нерешительно подернула плечиком.

— Советскую власть на Вазице строил,— ревниво добавил Тяпуев.— И совсем не слыхали?

Девчонка снова дрогнула плечиком и промолчала.

— Меня-то вы должны знать, такое вот дело,— убежденно протянул Иван Павлович.— Я, бывало, заворачивал делами. К стихам меня потягивало, способность имел... «Уж как наши-то отцы, они были молодцы. Работáли по ночам, уважали богачам: им служили сорок лет, а штанов дырявых нет; они своих детей морили, а чужих детей кормили. Из своего-то хребта им настроили суда, кровью красили дома, из кожи шили паруса».— Прочитал скороговоркой, задыхаясь.

— И неуж сами?

— Сам. Я к этому большой талант имел,— загорячился Иван Павлович, уже машинально отмахиваясь от гнуса и на мгновение забывая свой возраст. Лопухастые уши, поросшие медным волосом, запунцовели, и по бритым обвисшим щекам заструился пот. И растаяла тягость длинного пути, что-то давнее и восторженное проснулось в душе, открывая тенистый погребок памяти: может, для того и стремился сюда, ради этих минут, которые так неожиданно перемешивают прожитую жизнь.

— Значит, жив отец? Это вот хорошо. Мы с ним вместе, бывало, в деревне заправляли. Не рассказывал?— осторожно, с тайной робостью в душе спросил Иван Павлович.

— Что-то такое говорил, да я уж и забыла,— равнодушно ответила девчонка.— Вы так медленно... Комары-то съедят. Я, пожалуй, побегу.

Она как-то сразу растворилась за поворотом, только слышно было, как простучали по бревенчатому настилу каблуки, еще раз мелькнула в просвете ее розовая кремпленовая кофточка, а тут и березняк накатился и обступил дорогу вплотную, завесив тихо шелестящей листвой. Тяпуев замедлил шаг, чтобы не споткнуться о заголившиеся корневища деревьев, расслабил живот: что делать, что делать, нажил этот груз за годы сидячей работы. «Значит, жив Мартынко,— с тихой грустью и всепрощающей легкостью в сердце подумал он.— Видно, копит зло. Так и не понял тогда текущего момента, политической грамотности не хватило ему. Скольких тогда недосчитались — по этой причине пошли под откос. А если вспомнить, так все они, Петен-

бурги, были из птичьей породы, все с вывертом, мозги набекрень. Тут и винить не знаешь кого, такой уж род. А ведь корешили когда-то, не разлей вода жили с Мартынком...»

Безотцовщиной рос Ванька Тяпуев, едва перебивались с матерью в замшелой избушке, крытой лабазом. Однажды притулился парнишка к Петенбургам, да с тех пор и грелся подле них, стал для Мартына вроде крестового брата. Бывало, придет к Петенбургам, встанет у порога, лопухастые уши настороже, щеки багровеют с мороза. Мнется Ванька у порога, а дальше не пройдет, как ни зови, только с ноги на ногу переваливается, шумно вздыхает, швыркает носом да нижнюю губу сосет. С того и прозвище на деревне: Ваня Сосок.

— Ты бы, Ваньша, на лавку сел, чего мнешься,— скажет, бывало, хозяйка.

— За дарового охранителя у нас. Знать, на милиционера метит. А, Ваньша?— по-доброму смеялся Копа Петенбург. Ванька только рдел щеками и шумно вздыхал, а когда смотрел в пространство своими серыми глазами, на дне которых плавали черные порошинки зрачков, в эту глубину заглядывать было опасливо и больно.

— На пирожка, съешь,— совала хозяйка еще горячую кулебяку.— Сиротея ты у нас. Ты для нас навроде родного.

Ванька заливался смущением, и на глаза наворачивалась туманная слеза.

— Отстаньте, чего пристали к парню,— норовисто одергивал Мартынко, уже не боясь отца-матери. Рано заматерел парень и уж в четырнадцать лет усами хвастал и подле речки отирался, выслеживал за кустами девок, когда купались те. Глаза голубые, навыкате, нос хрящеватый, голос зычный; охальником рос и удержу от старших не терпел. Но возле него было как-то спокойней Ваньке Тяпуеву, и даже глуховатый несильный голос казался басовитым и значительным, потому как Мартынко приятеля не одергивал и смущался отчего-то, когда Ванька наставительно говорил при случае: «Я, Матяня, подлости не терплю, ты это знай. Нет ничего выше человечьей чистоты устремлений. Я крохи чужой вовек не возьму и другим не прощу, нетерпим я к подлости. Ты это знай, Мартынко... Супу-то мне маманя

нальет, дак как зеркальце чистый, ни крупинки. Но чужого не трону».— «И неуж я такой дурной, Ваньша, и неуж тебя дурней?»— «Ты не дурной, Мартын, ты охальной».— «В святые бы тебе...» — «Не в том направлении способствуешь уму,— морщился Ванька.— Куда идем, ты постигни только, к светлой вере идем, до коммуны прямым ходом, до мировой революции, Тут ведь как стеклышку надо быть. Потому и уклад мыслей ты должон иметь ясный».— «Ты меня не агитировай. Чего я такого сделал?» — вспыхивал Мартынко, и глаза его густели железной окалиной. «Да ничего не сделал,— быстро отступал Ванька.— Это я так, на всякий случай, на потом».

...Иван Павлович ступил на бревенчатый мост, перекинутый через Ежугу. Вода кипела далеко внизу, звонко обкатывала синие голыши, и длинные зеленые водоросли, обтекая камни, волнисто и живо струились вниз по реке. Порой вода рябила, отсвечивала серебром — это стая мальков вставала против течения и стремилась удержаться, потом безвольно отдавалась реке и откатывалась в тенистый берег, крытый кроваво-красным плитняком. На бережине кустарник был ссечен топором, но дальше он наливался силой, еще более густея от малинника и смороды, по низу прикрытый шальной крапивой. А за поворотом речонки, на разбежистом склоне, уже встал еловый бор, пуская на волю из моховины черные морщинистые корни. За этим борком, как помнилось Тяпуеву, когда-то жила тетка Мартынки — Нюра Питерка; отсюда будет версты полторы, не более; интересно, сохранилась ли изба — на хорошем наволоке стояла. Как борок миновать, далеко двор виден, на самом берегу Ежуги и притулился.

Уж не припомнить нынче Ивану Павловичу, откуда, с какого времени пошел раздор между двумя дружками, да и ни к чему хранить воспоминание: игра все была, забава, приятное провождение времени, пока-то борьба жизни не втянула в себя и жестоко не разделила. «Мало ли какие устремления были меж нами в детстве,— думал сейчас Иван Павлович.— Мартын Петенбург не понял сурового требования времени, не проник в диалектику борьбы...» Но отчего тогда так взгрустнулось Ивану Павловичу и стало жаль того шального голубоглазого мальчишку, первого на деревне заводилу?

Бывало, силки на куроптя и кулемы на горностая проверят, а на обратном пути обязательно завернут к тетке Нюре на хутор чаи гонять. Она тогда еще не старая была, но вдовела давно. Плечистая такая женщина, под мужика кроена, ростом за воронец, Ванька ей и до плеча не доставал.

Пили однажды чай, тетка Нюра и завела побывальщину:

— Есть за плоским болотом озеро, как блюдечко, ровное. Отсюда, прямиком ежели, дак верст шесть натянет, не более. А ближе к домашнему берегу островок будет, как яхонтовый камушек, такое красивое место. Ранее на нем большая деревня стояла на сто гребцей, да на сто косцей. Мне еще от бабки моей дошло, будто богатый старик один запомирал. А как слечь совсем, схоронил он сундук с золотом в том озере и серебряную цепь вывел тайно на берег. И на причастии и просказался только: мол, тот отыщет сундук, кто душою будет чист и разумом правилен, кто на худое и в мыслях не поимеет. Многие после того искали, да никому клад не пался. Где его сыщешь, подумать страшно, уж больно глыбкое озеро, не тройно ли дно в ём? Меряли мужики, а тверди не нашли.

— Ну и дурачок,— ерзал Мартынко.— Че, сдурел он на старости? Такое богатство топить.

— Глупенький ты, Матяня. Ноги долги, а головой-то робенок пока, пусто дело. Понимание старика того нам не поднять — не осилить. Не женского ума дело, а только тайный умысел вел старик. На мир иль на раздор, но вел. Мне-то не сказать толком, я глупая лесовая баба. Это вы ученые, четыре года за партой сидели, чего-то впитали в себя.

Ванька не перебивал охотницу Нюру, только хмыкал, ушел мыслями в себя. «Мне бы те деньги, если не врет только, а, поди, заливает ведь. Все бы передал до копейки на алтарь мировой революции».

— Мне бы те денежки,— крикнул Мартынко, покошачьи жмурясь, и захлебнулся, словно обжегся воздухом, засмеялся счастливо. Сразу стало видно, что еще мальчишка сидит в застолье, недоросток.

— И што бы ты с има делал?— спросила Нюра.

— Гулеванье бы закатил, пир на весь мир. Бочки бы с вином на улицу выкатал: пейте товарыщи, пляшите

до упаду! А еще бы пароход построил и всех катать стал. Куда захотят, туда и повезу. Можно мно-о-го куда ездить. А Ваньку бы на правило поставил. Ваньша, ты хошь на румпель встать? Не-е, пожалуй, откажу. Еще посадит на отмелое место, такую посудину загубит. Я, Ваньша, тебя поставлю кашеварить. Только не наври чего, не напутай, голова-то вечно занята.

— Вот пустомеля,— тихо улыбалась Нюра, влюбчиво глядя на племянника. А Ванька только каменел скулами, и лицо его клюквенно краснело.— Большой ведь, Мартяша, уж за девками тайком крадешься. Ты у меня гли, поозоруй только!— Помахала перед его носом тяжелым скрюченным пальцем.— Мне все передавают.

Ванька отмяк, почувствовал себя отмщенным.

— Да брось, Нюра Ивановна, ты чего. Лучше послушай,— хотел увильнуть Мартынко в сторону,— ты послушай, как Ванька стихи плетет.

— Пойдем давай... Ты меня сронить хочешь? А меня не сронить,— холодно сказал Ванька.

— Осподи, ребята, вы хоть не ссортесь. В шутку все... Ты, Иванейко, тоже не обидься так.

Выходили из избы порознь, каждый по себе, до большой дороги бежали молча, вспарывая лыжами целину. Вдруг разглядели: катит, легко пылит снегом оленья упряжка.

— Попутье, попросимся, а? Чего ноги задарма мять,— сразу загорелся Мартынко.— Ты, Ванька, на меня не пообидься.

Ванька нехотя выпустил из души обиду, расслабил себя, вернее всего — захоронил недавнее зубоскальство приятеля в потаенном погребке до хорошего дня. Да и оставаться одному не хотелось посреди лесной дороги, и потому тоже сбросил лыжи, подбитые с исподу лосиными камусами. Олени бежали тяжело, видно, путь одолели немалый, вывалив жаркие языки; нарты раскатывало по черепу дороги, порой они подпрыгивали на мерзлых конских кавалках, и тогда седок лениво поднимал голову. Разглядели, что ненец мертвецки пьян, и олени смирно бегут тореным путем в деревню Вазицу. Они, приученные хозяином Прошкой Явтысым, так и доставят его до хлебной лавки, мокро всхрапнут разом, чтобы пробудился отчаянный хмельной человек, и Прошка сразу очнется, почуяв махорочный дух, выстанет из тя-

желого сна, наберет в лавке хлеба и водки полный холщовый мешок, потом усядется посреди проезжей дороги, мешая встречным лошадям, и будет визгливо и протяжно кричать свою туземную песню, словно не нашлось другого места, и тянуть из горлышка хмельную воду.

Разглядели ребята Прошку Явтысого, богатого оленного хозяина, и, не сговариваясь, скакнули на полозья, нарты сразу осели на задок, и олени пошли шагом. Ненец так и не проснулся, а Мартынко, всегда охочий до забавы, вдруг увидел горлышко еще не распечатанной бутылки, которая выехала из оленьей шкуры, готовая свалиться на дорогу. Мартынко показал взглядом приятелю, мол, давай отчудим, но Ванька так же молча и постно покачал головой. «А ну тебя»,—бессловесно сказал глазами Мартынко, ловко вытянул бутылку из мехового одеяла и сунул ее за пазуху.

— Положь! — испуганно шепнул Ванька, но дружок только оскалился и махнул рукой.

— Подлости не терплю. По-воровски поступил, — надоедно ныл Ванька, когда ребята уже спрятались в солому на гумне Коны Петенбурга. Бутылка, белая от мороза, стояла подле ног на присыпанном мякинной трухой полу и невольно притягивала взгляд.

— Да не канючь ты... Заладил одно. Не ной, тебе говорю! — вдруг осердясь, прикрикнул Мартынко, и молодые усы по-кошачьи распушились. — Тебе только мамкино молоко тянуть. Сосок лешов. А еще заводила, грамотей вшивый. «Мать родную забуду заради мировой революции». А там не такие сопливые нужны. Рубаки нужны, питухи, чтобы бутылку на лоб и папаху оземь.

Уже отошел Мартынко от злости и сейчас весело балаболил. Говорун парень, ой, говорун, весь род Петенбургов — говоруны-щеканы: слово новое родят —не залежится на языке, не застоится в горле, обязательно выплеснуть надо. Надоело Мартынке глазеть на бутыль, обнял ее широченной мужицкой ладонью.

— Сейчас распечатаем, и дело с концом. Самоеду и так за глаза было.

— Воровски не терплю, да и осквернять себя не хочу.

— Трусишь, вот и весь сказ, — лениво задорил Мартынко.

— Это я трус, я, да? — запетушился Ванька, но приятель добродушно махнул рукой.

— Не трус... не-не... за то с тобой и хожу. — Поболтал бутылку, а пить так не хотелось, но и отступать было поздно, потому еще раз встряхнул и, как делали бывалые питухи, лихо запрокинул над горлом, весь закаменев нутром. Слышно было, как водка гулко лилась, булькала внутрь, словно катилась по камням-голышам, и Ванька зачарованно, с каким-то испугом смотрел на багровое лицо друга. Мартынко сразу посоловел весь, лихорадочно заглубились глаза, и нос заострился, потом пошли по щекам крапивные пятна. Он еще пробовал что-то петь: «Ой, девушки, голубушки, несчастие мое» — и вдруг запрокинулся на пол, собрался в комок и тонко, с подвизгом заплакал. И сразу стало видно, что несмышленыш еще Мартынко Петенбург, только что на крещенье по пятнадцатому году жить начал.

Ванька перепугался, огородами кинулся к Петенбургам, злорадствуя в душе, кричал, да так, что слышно было на улице:

— Дядя Кона, дядя Кона, подите скорее! Мартынко ваш помирает! Воровски стащил у самоеда бутылку... Я ему: «Матяня, не пей, Матяня, не пей», —а он как идол. Воровски, дядя Кона, разве можно воровски?

— Вот охальник растет, от бандюга, ну я ему задам вздрючки, я ему намну бачины!—глухо бормотал Кона Петенбург, размахивая чересседельником.

Неделю после того Мартынко таился от Ваньки, видно, после порки чувствовал себя скверно или стыдно было показаться на глаза приятелю, но однажды подкараулил его за деревней и молча, сумрачно свалил кулаком в снег. С тех пор они словно бы захолодели друг к другу, внешне не выказывая неприязни...

«Интересно, как он меня воспримет?» — подумал внезапно Иван Павлович, минуя жидкую березовую воргу *. Тут и дорога вильнула к морю, мелколесье отмахнуло назад, и замоховевшие однобокие лиственницы коряво потянулись подле берега. Потом и вовсе легла под ноги тундра с черными головешками древних пней: видно, стоял когда-то поречный бор, но он пошел на рождение деревни, а на месте вековых лиственниц разросся

* Ворга — жидкий болотистый лес.

разгульный пьяный вереск. Вот и утонувший под хвощом болотистый выгон, серые вешала с обрывками сетей, крохотная жилка реки меж разбежистых берегов: знать, было время отлива, няши * свинцово отблескивали на солнце и, подсыхая, змеились трещинами. Все это уловил зорким взглядом Иван Павлович Тяпуев, сразу подобрался телом, повязал галстук и обмахнул от пыли светлый костюм.

«Родина, вот она, невзрачная, а волнует. Сколько лет, сколько зим... Ну, здравствуй, прими блудного сына». Невольно защемило в груди, и стеклянно наплыла слеза. «Ну что с вами, Иван Павлович, возьмите себя в руки...»

На дальней холмушке, овеянной жарким струистым воздухом, прорезалась церковка, чуть правее сгрудился голубенький кладбищенский городок, а у подножья холма длинной серой подковой, прижимаясь к излучине реки, показалась вечная деревенька Вазица. Еще ниже спустился Иван Павлович по песчаной набродистой дороге, колея вильнула неожиданно, словно бы отвернулась от деревни, и тут что-то огромное и дышащее ровно и накатисто ударило в глаза и ослепило. Это море, Белое море стояло вроде бы выше головы и сливалось с разомлевшим небом. И все это светилось и куда-то утекало в безбрежность.

2

В такую вот душную погоду внезапно закипело море, и волна захлестнулась на глинистые береговые скулы. Рыбаки вытянули в гору семужьи тайники и побежали в деревню: у темного моря нет никакого смысла сидеть сложа руки, может, неделю и две будет гореть оно и томить бездельем душу. Потому и поспешили домой, сняли на банном полке телесную усталость, а после и винцом хорошо разговелись, распробовали хмель.

А деревня томилась: порой накрывалась туманом, протянутой руки не видать, и было похоже, что на бугре за деревенской церковью неожиданно запалили хулиганский большой костер-курник, накидали туда для

* Няши — вязкий глинистый ил по берегу.

дыма и вони куста-вереска и торфяных клочьев и сейчас прокуривали единственную улицу, прогоняя комарье и ленивую смуту. Чайки понуро сидели на охлупнях, просматривая песчаную длинную гриву, из-за которой накатывалось море, собаки по-пустому ворчали, скаля острые, зализанные ветром морды, и черный хряк никак не находил себе места, пока не подрыл единственный на деревне палисадник и не улегся в свежей земляной норе головою на полдень.

Море горело и угрозливо раскачивало глубины, рождая постоянный хриплый гул: казалось, что в глинистые осыпи, на которых поднялась деревня, бросают из старинных пушек чугунные ядра. И под этот накатный монотонный шум хорошо было сидеть в своей избе, гонять чаи и вести душевную беседу; может, потому сейчас во многих домах, пользуясь невольным рыбацким выходным, вели гостевые застолья.

И в доме бывшего счетовода Мартына Коновича Петенбурга тоже праздник, правда, по другой причине: дождался Мартын дочь свою, Гальку. Сидела она за столом, прямая и худенькая, — уж лишнего мясца не наросло на девке, — нога на острую коленку заброшена, и выглядывает из расклешенной матросской штанины шоколадного цвета лодыжка. Все на Галю поглядывали, и она, чувствуя любопытство родственников, словно бы вырастала из себя, ерошила рыжие букли, начесанные на виски, и покачивала плечиком.

Гостьба как-то не заладилась, застолье вроде бы и часто поднимало рюмки, но пьяных не было: хмель не брал, и задор, когда вдруг кажешься бойчее всех и красивей, отступал, — в общем, наступило такое распутье, что и грудь от еды спирает, но и к песням еще не потягивает.

— Нынче, что парень, что девка, не поймешь, пока не прощупаешь, — травил Гальку старший брат Герман и сиял дубленым лицом, на котором все разместилось крупно — и лоб, и тяжелые надбровья, и шишкастый нос с длинными черными ноздрями, поросшими грубым волосом, и твердые оперханные губы, только глаза были крохотные, табачного цвета.—Пока не прощупаешь, дак не поймешь,—травил сестру Герман.—Ну-ко, Галина, все ли при тебе?

— Отвали, — отбивалась сестра, — и в подведенных глазах оживала тоскливая злость.

— Отвяжись от девки, чего пристал, — одернула Германа жена и сразу боязливо оглянулась, мол, то ли сказала она, и виноватая улыбка выступила на смутном лице.

— А чего я такого сказал? Ничего уж и сказать нельзя, сразу рот зажимают. Где равноправье, где оно? — грубым горловым голосом кричал Герман, обращаясь ко всем разом.

— Все правильно, Гера, так и есть, — поскорей поддержала мать, Анисья. — Эку моду взяли в штанах ходить. Трясут головой-то, как кобылы хороши. Девочоночки эки... Нет бы юбочку, волосенки хорошо прибрать, не трясти космами. Ведь и девка хоть куда...

— Ну, мама, хватит! — капризно вспыхнула Галина. — Как привязки какие.

— Ну-ну, доченька, господь с тобой. Я ведь на шутку, не взаболь я. Ты скажи лучше, кто еще с тобой летел седоками, знакомый кто прибыл?

— Малыгина Танька, да Олешиных сын с Атлантики, да мужик один, пузень такой — арбуз целый. Про отца все выспрашивал, говорит, знаю Мартына Коновича, вместе Советскую власть на деревне строили. И губой-то все так... — Галька ловко передразнила, втянула в рот нижнюю губу и противно пососала.

— Осподи, не Ваня ли Сосок навестил. Он один так поступает, только он. Ты слышь, дедко?

Мартын Петенбург помалкивал, только жило его возбужденное морщинистое лицо, и длинный рот то пугливо вздрагивал, то виновато улыбался, и лохматые брови не могли успокоиться: он то вскидывал правую бровь, то левую и защипывал деревянными пальцами жесткие котовьи усы. Хозяин и сидел-то прямо, откинув тяжелую голову назад, и седой непролазный волос стоял торчком.

— Это Иванейко, он самый, другой так не поступит, — повторила навязчиво Анисья.

— Много через него самого хорошего народа наплакалось, — сказал наконец Мартын.—И я через него на испытанье пошел, не приведи господь кому другому такое выстрадать. Уж после, через много годов, узнал только, как Иван Павлович просказался кому-то: «Из

нас двоих одному на деревне не житье». Какое-то зло затаил.

— А после не видел его?

— Было где-то сразу после войны. В Архангельском попался он мне. Говорит: «Я был молод и дитя тогда». Повинился, значит. А тогда ночью пришли, да и забрали меня. Хорошо, хоть холостяжил, никого не обездолил. Угнали на канал, а после и война привелась. В штрафбате отбыл до первой крови. Легло там нашего брата, осподи. Век не забыть, как станцию Валушки брали: жара за тридцать, шашки бросают, земля горит, танки на танки идут в лоб, только башни летят, убитые кругом вповал лежат, тухнут, шагнуть некуда, чтобы в человека не ступить, сверху сто самолетов, двести, фугуют нас бомбами, вся земля в железе, куре некуда клюнуть, осподи, а мертвые без присмотру. Взяли мы эту станцию, а потом без роздыху гнали немца, портянки некогда было высушить, так на ногах и истлели... Хватил я через Ивана Павловича, чего скрывать, даже жениться вовремя не поспел. Уж в конце войны приставили меня к «катюше», я к тому времени два ордена заработал да лейтенантские погоны, а матери-то и пишу, мол, нынче к «катюше» пристал. А мать-то, покоенка, — безграмотная была, чего понимала тогда, — через Маруськину девку дает мне отписку: «Осподи, сыночек, еще война не кончилась, а ты уж женился. Хорошо ли это, как начальство посмотрит?». Значит, «катюшу»-миномет за бабу приняла: хоть смейся, хоть плачь в одно время.

— Ты пошто все про худо-то вспоминаешь? — пробовала остановить Анисья. — Теперь ли не жить: хлеба белого не хотим, в магазин чего ни привезут, завсе расхватят, вот сколь нынче у людей денег.

— Ты помолчи, бабка, — раздраженно отмахнулся Мартын, дергая за проволочный заиндевелый ус. — Я не для худа вспоминаю, а чтобы во веки веков не забывали, из чего мы вышли, из каких рубах выросли. Я с войны-то было явился, еще каждую ночь видел ее явственно, так в глазах и стоит, проклятая. Однажды во сне причудилось, будто немец к моему горлу подбирается, задушить норовит, а я его стремлюсь ногой в брюшину пехонуть. Изловчился, да как ногой-то изо всей силы двинул немцу в брюшину, а всамделе-то попал в стену и палец на ноге сломал. Вот сколько зло-

сти еще во мне с войны сохранилось. Во сне палец сломал...

— Гостей-то заморил своими сказками. Кому охота твою болтовню слушать, — ревниво перебила жена. — Ты заболтаешься, дак хуже бабы.

— А ну, цыть! — вспыхнул Мартын Петенбург. — Это я болтаю? Хоть слово соврал иль чего наколоколил лишнего?

— Нет-нет, Мартын Конович, про ваше испытанье даже слушать дрожко, не то что пережить такое...

— То-то... Я к тому, что как душу тут было не потерять. А ее легко потерять, ох как легко, — покачал головой Мартын, и ополосканные жизнью огромные глаза его замутились воспоминанием. — А я не потерялся, я не сронил себя.

— Уж весь род наш такой, упористый. За рупь пять его не взять.

— Душа-то, как озеро многодонное. Одно донышко золотое, где добро лежит, а на другом — тины да грязи по самые рассохи, увязнуть можно, на третьем — коряги по шею, меж них зло самое сильное и живет.

— Ну, разрисовал, как картинку...

— Как в революцию потянули неводком, так и замутилось все, пошло колесом. У одних с души тина да желчь поднялась, за прошлое униженье насладиться захотели, а у других — доброта всколыхнулась.

— Тогда в цене-то были, кто попетушистей да погорластей. Земледел-то в особой чести не был, все на зажим его шли, — поддакнул кто-то с другого конца стола и сразу перевел с пьяного толка разговор по той же линии, да по иному смыслу. — Озеро-то Глухое тоже в несколько дон. Ты слышь, Мартын Конович? На ём, говорят, уж материться нельзя, там не лешакнись и громко не скажи. Симка Капшаков на моем быванье неводил зимой и ульнул неводом за корягу. Возьми со зла и шумни матюжком. А летом удил с плотика, его и утащило. Достать не могли.

— У каждого на душе своя ранка, — тянул застрявшую в мозгу мысль Мартын Петенбург. — У каждого своя ранка и болит она постоянно. Забудешься, и вроде нет ее. А как замозжит к дурной погоде иль от неприятности какой, тут ранка и начнет течь скорбью.

— Не то, не то, Мартын Конович! Кабы ранка была,

куда бы человечество подевалось. Истекло бы все... То-то!

— А, брось! — резко отмахнулся Петенбург. — Ты брось это, раз не можешь вникнуть в настроение, не лезь. Я к тому завел, что эту ранку нельзя когтить. Ведь через што была ошибка? А через то была ошибка, что решили, будто мужик как пашня: повернул другой пластью, освежил — он и новенький. Но землю-то как ни ворочай, а она прежняя. Вот где фокус: преж-ня-я. Она одна, земля-то. Ее только усилить можно, удобрить, унавозить, проще сказать, но земелька одна. Не прибудет, как ни потей. Вот что я хотел вывести в основу своей мысли.

— Значит, и мужик прежний? — кто-то с нижнего края стола хмельно и хитренько засмеялся, очень довольный, что раскусил хозяина. — Не туда занесло, Мартын Конович. Мужик-то новый ныне, советский, во!

— Да не слушайте его, гостеньки дорогие. Что братан егов, Парамон Иванович, покойничек, что и Мартын Конович — им бы все про душу... Ой, море-море-морюшко, да золотое донышко...

Анисья ловко влилась в разговор; все в пьяном угаре соображали туго, устали от хитрых словес, и потому охотно потянулись за стакашком, наполненным ловкой рукой хозяйки.

Пока вели разговор о душе, племянник Мартына, темный такой парень, рюмку за рюмкой освобождал и тихо зверел. И вдруг свою жену Клаву из застолья поволок за косы. Почудилось спьяну, что, пока говорильня шла, его баба с гармонистом на поветь выходила, и не видел того, что Клавка с правого боку словно приросла к мужу. Стал жену прилюдно материть да лицом о свое колено молотить. Герман вскочил, обнял братана, повалил па пол, горячась, тоже закричал матерно:

— Свяжу, как худу овцу!..

И поясным ремнем скрутил Ваньке руки и выволок на заулок. А братан катался по земле, бился головой о травяную кочку и орал:

— Убью Герку! Я с ним что ли поделаю!

Старухи его упрашивали, да только пьяного слово неймет.

— Никто и связал — братанушко. Еще хлобыстнул-

ся бы о печку головой, много ли надо. Орудовать не будешь, развяжем. Только уймись, один стыд от тебя.

— Герка, развяжи меня. Я что ли с тобой поделаю.

— Будешь жонку мытарить да о колено лупить?— допрашивал Герман, вглядываясь в налитое кровью лицо братана. И, словно уговаривая себя, добавил:— Ничего, протрезвится да и благодарить еще будет.

А Мартыну Петенбургу надоело в сиротстве сидеть в горнице, распалил он душу разговорами, и сейчас горечью жгло нутро и сердцу не находилось покоя. Хватаясь за столешню, спустился на пол, на обрезанные выше колен ноги, обтянутые натолсто черной телячьей кожей — а к этим культяпкам была примотана ремнями тележка — и, став квадратным и жалостливо коротким, выкатился на взвоз, толкаясь отглаженными ладонью держаками.

— Ну чего вы там, примерзли?— закричал Мартын нарочито весело, показывая плотный перебор зубов, и выцветшие глаза в желтых провалах ревниво потемнели.— Киньте вы его на сеновал, как худу кошку. Там очухарится. Вишь, барин какой, для почету выслужиться надо.

Но так и не ожила заново гостьба, распалась на отдельные ручейки, гундосила вяло и полусонно, и, хотя стакашки и звенели чаще и пронзительней, веселье так и не получилось.

Тамара уже силком извлекла Германа из-за стола; она была еще бледнее обычного, с грустно померкшими глазами, и по тонким, упрямо сжатым губам, по нервной голубой жилке, вздувшейся на переносице, было видно, что женка обижена и затаенно раздражена.

— Говорено было, не пей,— уже на дворе сказала она Герману с надсадой в голосе. Но парень отмахнулся, как упрямый баран, и крупные, давно не стриженые волосы посыпались на лоб.

— С чего взяла?— закричал он.— Я и не пил вовсе. Разве рюмку-другую, совсем небольшой процент...

— Ну ты, тихо-тихо,— испуганно оглянулась Тамара, и хотя улица лежала пустынной и серой от пыльных сумерек, однако досказала почти шепотом:—Сколько же процентов насчитал, лиходей?

— А самый небольшой процент. Да-да... Ты меня не одергивай! Ишь, зажала, дохнуть не даст. Какой-то

редкий случай выпью,— густым горловым голосом, не остерегаясь, кричал Герман. Пусть слышит деревня, а он лишнего ничего себе не позволяет, он не из того мусора, не из тех, кто из-за стопарика голову на плаху кладет, а ежели и кричит — может кому так псказаться,— то и не кричит вовсе, а просто голос такой грубый.

— Чего драться тогда лез? Вязальщик тоже. Просили тебя, да?— нудно шипела жена, бледнея еще больше.

— Да замолчи ты, зануда. Он же Клавку убить мог...

— Я тебе помолчу, я тебе так помолчу! Не один живешь, закоим и женился.

— Дурак был, вот и женился. Нынешний бы ум...

— Посмотрим, как один-то жить станешь, в грязи зарастешь.

— И стану, и стану...

— Посмотрим, как станешь. Стелькой пьяной, вот как.

Тут Германа качнуло, он едва устоял, казалось, тайные силы вязали ноги. Он пихнул жену в плечо, несильно, но толкнул, Тамара сразу обиженно фукнула — ах он на нее еще и руку поднял!— и помчалась домой.

— Иди, иди, больно ты мне и нужна!— в запальчивости кричал он на всю деревню.— С ее-то фотографией, да еще фушкает.

Но тут Герман покачнулся, и в душе больно скрипнуло, словно сотворил нынче непростительный грех, который зачтется в судный день. Парень кулем опустился на половицу мостков, привалился к изгороди и стал вспоминать свою женитьбу. А сошелся он с Тамарой вовсе неловко, как-то походя, вернувшись с моря в Вазицу и нося в себе неизбывную тоску от одиночества. Так захотелось вдруг, чтобы кто-то был рядом, так мечталось о женской ласке, что на второй день Герман повел Тамару в сельсовет. Но со свадьбы неожиданно сбежал на берег моря и вернулся в избу лишь под утро, измятый и больной, долго каялся и винился, пока не отмякла молодая жена. Потом она утвердительно и настойчиво допрашивала: «Ты ведь любишь меня, правда? Ты любишь меня?»— «Да-да»,— охотно соглашался Герман.

Наверное, с месяц он жил в хмельном полусне: только где-то под утро просыпался вдруг, словно кто толкал

его в плечо, открывал глаза и безразлично и равнодушно рассматривал припухшее немое лицо Тамары. Все чудилось, что она мертва, и эта мысль поначалу воспринималась с радостью, потом он мучительно вздрагивал, прислушиваясь к ее дыханию, старался уловить жизнь, а обнаружив легкое колыхание груди, какое-то бесплотное движение ее, отмякал напряженным телом, успокаивался и уходил в больной сон. Утром он навещал магазин, где Тамара стояла за прилавком в белом халате, долго отирался возле, словно рассматривал витрину, а улучив минутку, когда магазин пустел, тепло подмаргивал, и жена готовно доставала из-под прилавка завернутую в бумагу «перцовку».

«Мы не пьем, а только лечимся, правда?» — легко смеялся он, чувствуя оживление во всем теле. «Только немного, ладно?» — уговаривала Тамара с неясным страхом в душе...

«И закоим полез тогда в петлю? Будто в городах лучше бы не нашлось. Схватил клейменую»,— еще подумал Герман, но тут незаметно клюнул носом и всхрапнул под накатный шум моря...

А Мартын Петенбург долго маялся на кровати подле жены — все казалось жарко и душно, потом не выдержал, овчинную шубу кинул посреди повети и еще с час, наверное, бессонно томился, посасывая пустую вересковую трубочку. Мысли были бессвязные, они вспыхивали в сознании и быстро выгорали, уступая место другим... «Чего приехал, скажи на милость?— вспоминал неожиданно о Тяпуеве безо всякой на то причины.— Мати померла, домишко провалился, уж давно на дрова извели, так и не собрался мать оприютить, в отцовой рухляди и умерла. А все хвалился в письмах: «Не обижу тебя, маменька, в шелка-бархаты разодену, в хоромах жить станешь, для таких, как ты, мы Советскую власть завоевывали». Старуха-то и рада-радешенька, все по деревне ходила, вслух письма читала, какой у нее сын уважливый да почтительный вырос, чего только не насулит. А сама до последнего года все в колхозе робила, столь безотказная была женщина, так с двенадцатью рублями пенсии и померла, хорошо не поживши...

Уж честен был Иван Павлович, этого не отымешь, да только честность еговая для других боком выходила.

Он к себе уж жалости не имел, а по той причине и к другим жесточился. Так и жил старой обидой своей и не заметил, как себя над всеми возвел. Таких «ущемленных» как-либо надо просвечивать, на особом рентгене проглядывать, и власти им большой не давать. Этим людям командование поручать страшно, они и себя сгубят и людей на смерть кинут ни за понюшку табаку. Смирные-то люди ранку в душе залечить хотят да стыдятся ее, они от этой ранки скорбеют да томятся, а эта порода, наоборот, потихонечку травит, чтобы не затухала ранка. Кто к себе жалости не имеет, тот и до других ужасно жестокий. Такие собой только живут да своим страданьем, а слова порато громкие да красивые говорят...»

«Осподи, жив ли, не дай о покойнике худо подумать,— вдруг вспомнился майор Миловидов.— Уж крутой был человечище, порато крутой. С одним легким, самому-то жить ничего не осталось, оттого и жалости, видно, к людям не было. В такую пору трудно жалость в себе сохранить, при ней остаться. Да, круто поворачивал тогда майор Миловидов, имя-отчество никто не знал, всё — «товарищ майор» да «товарищ майор».

В сорок третьем зимой и случилось. Мартын над ротой стоял, и, когда к деревне Малые Ракиты подошли, из роты осталось тридцать два человека, уставшие от боев, помороженные, выжатые как тряпки, уж две недели не спавшие толком: немца в котел загоняли. Видимо, майору сверху накачку дали, и хотя от полка тоже одни списки остались, но приказали дорогу у Малых Ракит перерезать, вечера не дожидаясь. А дорога, как река меж крутых берегов, и подступиться к ней нельзя: снежная целина, одного пулемета хватит, чтобы всех подкосить.

— Товарищ майор, хоть бы сумерек обождать. Всех повалят, товарищ майор.

Вскипел, слюна запузырилась, лицом черный, как головешка: себя не щадил, видно, слышал душой, что мало жить оставалось,— как с одним легким на фронт попал, одному богу известно.

— Молчать!.. Под трибунал захотел? — сразу ладонью за кобуру, а самого трясет, как припадочного.

И средь белого дня поползли наперерез дороге к деревне Малые Ракиты, словно раздетые полезли трид-

цать три человека. Мартын впереди, снег под телом скрипит шально, отдается в голове этот стон; конечно, даже в деревне слышно, как ползут тридцать два безумных солдата и лейтенант под белым пушистым небом, и сейчас немцы разбегаются вдоль дороги и наводят свои автоматы. До жути тихо было в деревне, и когда до дороги оставалось шагов триста, посыпались мины — как из мешка. Выход один: только вперед из этого невода, иначе всех подловят. Вскочил Мартын, закричал, мол, братцы, вперед, за Родину, кое-кто еще поднялся, кто жив был, а навстречу прицельный кинжальный огонь, и в одну минуту все было кончено.

Тридцать два солдата и лейтенант остались в снегу. Мартын очнулся уже в сумерках, едва шевельнулся — перебиты ноги: одна в бедре, другая в голени. Кое-как замотал их поверх брючин, кровь спеклась и оттого не текла. Пополз, хватая губами снег и не чувствуя морозной стылости. Ребят его, таких родных ребятушек, с которыми прошел столько смертных дорог, уже присыпало снегом, он считал неровные холмушки и плакал от бессилия и жалости к себе. Он полз и скрипел зубами, и вдруг услыхал рядом стон, и снежный бугорок колыхнулся. Разворошил его — там лежал сержант Валеев, татарин, ранен в живот, но еще жив. Мартын закатил его, как мог, себе на спину и потянулся в свое расположение — командир роты, но уже без роты, с единственным сержантом Валеевым на спине, который сейчас умирал от «животной» раны. Долго ли полз, неизвестно, но только почувствовал, как полегчало вдруг, это скатился со спины сержант Валеев, уже застылый, как булыжник. Тут навстречу выбежали из окопов, увидав, что кто-то ползет, страшный и обугленный, затащили в блиндаж. Командир полка жевал тонкими губами и все смотрел искоса, как оттирают и отпаивают лейтенанта спиртом. Потом приказал повалить его в телегу—бестарку; насыпали полный передок гранат, и возница, старый обросший солдат, повез Мартына в медсанбат. Долго они плутали тогда по степи, рискуя нарваться на немцев, которые прорывались из котла и одичало бродили стаями, уничтожая все на пути. С трудом возница выехал на станцию, но Мартына, лежащего без сознания, уже признали мертвым: станция была завалена ранеными и тут некогда было особенно заниматься лейте-

нантом, застывшим и черным, как головня, и без признаков жизни. Мартына снесли в мертвецкую и положили на груду трупов. Он очнулся среди ночи, дико ужаснулся своему положению и по раздетым застывшим покойникам пополз к двери и стал биться кулаками и головой...

Потом больше года — по госпиталям; одно время казалось, что все, конец, отхватят обе ноги по самый пах, но чудом обошлось, истинным редким чудом, и в конце сорок четвертого — снова на фронт. И все заросло, как на собаке затянулось, только к дурной погоде ныли ноги, и метался тогда Мартын Петенбург, не находя покоя. И еще после войны десять лет выходил на своих двоих, не слыша душою несчастья, и вересковая трубочка не покидала рта. Весь продымеет, провоняет махрой, за версту, бывало, несет табачиной, уж неизвестно, среди ночи расставался ли с трубкой. Но только ноги однажды стали беспричинно холодеть, и в бане не мог отпарить, нагреть их, старые рубцы побагровели и загноились. И вот привиделся Мартыну странный сон: показалась ему большая куча окурков, глянул он на нее да и устрашился. «Господи,— воскликнул во сне,— и неуж я один эстолько высадил!» Но чудно только, что всякий окурок, каждую цигарку, где и когда свертывал и как гасил, каждую пачку махры, которую затолкал в трубку,—все помнил. Не диво ли? А чаду над кучей, а дыма... И вдруг явились откуда-то два человека, взяли Мартына под руки и стали водить вокруг этой кучи. Тяжело ему, дух сперло, тошно так. Ну и говорят эти люди Мартыну: «Если еще раз обведем, то и помрешь».

Посмеялся тогда над сном, еще с год после курил, а на следующий — поехал в город, да за двенадцать месяцев сделали ему пять операций, едва от смерти спасли. Так и обезножел Петенбург, а курить все одно пришлось бросить.

Лежит он сейчас посреди повети на старой овчинной шубе, сосет пустую вересковую трубочку в медной оправе и думает: «Всем правит чужая воля, и над каждым человеком человек стоит. Стоит и указует: то не смей, да там не ошибись... Уж на что я человек маленький, и то порой в мыслях шатнешься, чего только и не придумаешь, да тут и устрашишься. А если человек у

соблазнов рядом, да у власти — как устоять тут, как править собою? Так неужели он сам по себе и нет над ним чужой воли? Тут и грех рядом, куда как легко во грех скатиться...»

3

Где-то перед вешним походом семги-залетки поставил Коля База под самой деревней сетки: думал, какая рыбка дуриком ульнет; но хорошо, если за неделю с десяток камбалешек взял. Снял парень снасть, развесил сушить на изгородь, подле самой избы, а потом с делами и забыл о ней. Так и вялилась снасть-брошенка, и еще бы один бог знает. сколько под ветром и дождем болтаться ей, если бы не один случай. Перед самым штормом забегали коты, и один угодил в сетку, запутался там, бился об изгородь и истошно выл. Старухи спать не могли:

— Экой леший, Коля База подрядился котов имать!

Мать не стерпела более такой пытки, да и соседок стыдно, вышла на улицу, но кот рассвирепел похудому, таращил глаза и пушил усы: не подступиться к нему. Малаша взяла, да ножом и выхватила кусок сети на метр. Так и убежал кот с тем обрывком.

Хоть и побаивалась поначалу мать, но сын ничего не сказал, вернувшись с тони, только хмуро покосился. Потом в бане намылся, стал молодец-молодцом: волос, светлый, овсяный, осыпался до плеч — тоже мода нынче такая, от города парни отставать не хотят, совсем не стригутся ныне, мать с ножницами, и не подступись к сыновней голове, а мастера на деревне нет, по каждому случаю надо в город попадать, и не раз тут оближешься, пока задумаешь ехать. Да и то сказать — двести километров куда длинней рубля: туда семь целковых, да обратно семь, да на прожитье сколько, так что на стрижку головы добрую тридцатку клади. Ничего, пусть до осени походит с гривой до плеч, думала Малаша, любовно озирая сына. Лицом-то весь обгорел, кожа с носа лоскутьями лезет, а зубы-то по всему подбору железные. Как уходил в армию — свои были, а вернулся с железяками: говорит, крепче кусать, даже железо по железу не тупится. Все врет, поди, смеется над матерью. Но баской парень, весь в отца, тот, покойни-

чек, тверезой-то столь же спокоен был, а такой мастеровой: и самовары ладил, и часы чинил, из дерева резал всякое, из меди лил, глину брал за кладбищем, формы наделает, со зверобойки, бывало, мешки гильз привезет, ни одной не оставит. Лил звездочки для лебедок, оказались лучше заводских, дак премию триста рублей послали. Колесо изобрел землю мерять: как повернется — так шесть метров. А у сына того прилежанья нет, только к вину забота, да как бы скорее в лес с ружьем убежать; еще стрельнет себя как ли нечаянно, много ли надо жизни себя лишить...

Сын встал, головою под притолоку, и мать поднялась подле сыроежкой лесной, скособочилась, одно плечо выше другого, ласкала сына светлыми полуслепыми глазами, вздыхала, чуя сердцем беду. «Ты надолго-то не пропадай. Опять на всю ночь». А Коля База лишь ежился, когда мать обирала с него несуществующие соринки. Любовно оглаживала Малаша единственного сына, и тосковало ее горестное сердце: так уж хотелось старой, чтобы в доме порядок был, чтобы сын работу хорошо исполнял да молодую жену в дом привел — не какую-то бабу с двумя сколотными — и чтобы внуков еще понянчить-погулькать.

— Ты с Зинкой-то насовсем, иль как?— спросила вдруг робко и, не ожидая от себя подобных слов, добавила для того, наверное, чтобы приноровиться к сыну, ловчее и надежнее умоститься в его душе:— Если насовсем, дак веди. Доколе кобелем шастать, людей смешить.

— Не знаю, ничего не знаю. Не приставай...

Казалось, сам бог создал Зинку для семьи и уюта, но она оставалась одинокой. Маленькая, с матово гладким и упругим лицом, с вечно удивленными черничинами глаз, она, наверное, так же удивленно и словно бы незаметно для себя принесла на свет сначала Юрку, а потом и Тольку, однако ни первого отца своего ребенка, ни второго не сумела привязать к себе. Но словно и горя никакого не случилось с нею, точно поджидала Зинка что-то, ведомое только ей, потому как на припухших губах всегда блуждала неопределенная улыбка, а в глазах жила невысказанная просьба. Зинка ходила

по комнате неслышно, порой скрывалась за цветастой занавеской, и легкий ситец колыхался под ее локотками, словно бы там обнимался кто.

Коля База лежал на диване, протянув костистые ноги на задний валик, и ему было хорошо. Он прислушивался, как шелестит платьем Зинка, мягко ступая маленькими узкими ногами, как возится на полу ее сын Толька, и ему захотелось до слезы в глазах, чтобы так оставалось всегда. А для того, чтобы счастье продолжилось, нужно было сказать: «Зина, давай поженимся».

Но одно дело было просто кавалериться, постукивая ночью костяшками пальцев в темное окно, потом, замирая, нетерпеливо переступать ногами и вглядываться в белый призрак лица, проступивший на стекле, и, еще не достигнув крыльца, уже представлять бог знает что, с бешено рвущимся вон сердцем слушать, как хлопается деревянный вертлюг и чмокают по половицам босые ноги, а после в прохладном сумраке сеней тихо, чтобы не потревожить детей, обнимать Зинку, пропавшую где-то под мышкой, и слушать жадной ладонью горячее, сонное ее плечо, как поначалу робеет оно и смущается, а потом, привыкнув словно, все послушнее подается навстречу, и на тыльную сторону Колькиной ладони опадает горячо вспыхнувшая щека. Во всем этом было что-то греховное и запретное, отчего кровь вскипает и бросается в виски особым образом, когда становятся лишними всякий смысл и порядок, ибо остается только страсть, переполнившая сердце, а телом владеет истома, сладко потянувшая каждую жилку. Эти похождения можно вспомнить наедине, и они ярко расцветут в памяти самой интимной подробностью; их можно сберечь в сердце, чтобы при случае сравнить Зинку с другой женщиной; ими можно похвастать в пьяном кругу друзей и почувствовать себя мужчиной.

А с женой уже все станет по-другому, жена всегда одна, всегда рядом, стареющая на твоих глазах и быстрее тебя, потому что для себя ты надолго еще красив и молод; жену не бросишь так просто, когда наскучит, и если случится, что разминутся ваши дороги, то неожиданно почувствуешь, как приросла она к тебе, ибо сердце ее склеилось с твоим, ее душа переселилась в твою, чтобы полонить и подчинить, а руки ее, которых ты никогда не замечал, вдруг окажутся частью твоего

тела. И почудится тогда, что надо поделить не только устоявшийся быт, но и ту кровь, которая течет в вас, ибо она стала общей кровью, а иначе жизни дальнейшей не будет — не будет тогда никакой жизни.

Может, и не думал обо всем этом Коля База, всего вернее, что не думал, но словно бы кто держал парня за язык, и уж который день не мог сказать он этих трех слов: «Зина, давай поженимся» — хотя уже точно решил, что Зинку берет за себя вместе с двумя довесками. Коля скосил глаза вниз, увидал льняную Толькину голову и протянул серьезно:

— Ну, Толька, ты и поседел. Тебе на пенсию пора, парень, давно пора.

— Это ты старик, ва-ва!— возмущенно выкрикнул Толька, и глаза у него налились быстрой слезой.

— Не надо так, Толюшка,— пробовала усовестить сына Зинка, но все повторилось снова, как было вчера и позавчера: сын вскочил Коле Базе на грудь и стал молотить кулачонками. Белый, как одуванчик, Зинкин довесок был очень хорош, походил на Колю Базу, и тот спрашивал ее: «Ну откройся, где подобрала. Открой отца-то» — «Зачем тебе это, Коля?» — «Ну как — закоим, а вдруг...» — «Незачем, Коля,— отказывалась Зинка ровным голосом, словно бы прислушивалась к себе иль вспоминала что-то.— Никого у меня нет, кроме тебя. Никого на свете. Только бросишь ты меня, чую, что бросишь». Коля База кривился, отворачивал к стеночке лицо. «Ну вот видишь, ты и молчишь».

— Вот тебе, База, вот!— разошелся Толька, и было его не остановить.— Как пну, дак улетишь на луну. Я во как сильно пинаю.

— Толя, нельзя так. Будешь ругаться, в школу не примут. Туда хулиганов не принимают, правда, Коля?

— Точно. Это уж как есть. И в лес с собой не возьму,— глухо откликнулся Коля База, занятый своими мыслями.

Зина несмело прилипла подле, на самый краешек дивана, похожая на девочку припухлыми губами и матовой гладкостью лица. Поглядывая украдкой за сыном, взъерошила отросшие волосы ухажера: они совсем выцвели на солнце и ломко шуршали. Толька, высмотрев материны ласки, ревниво потускнел, растерялся, вдруг звонко соскочил на пол, скрылся за занавеской и

стал бить о ситцевый полог кулачонками. Зина вздрогнула и тревожно оглянулась. Может, она услышала страх перед неизбежным одиночеством, может, она уже предвидела все, и картина, которую нарисовало удивленное воображение, была ужасна...

— У Германа сестра Галька приехала,— вдруг сказал Коля База, не открывая глаз.— Такая наряжуха, такая выставка, огонь из ноздрей.

— Вот и невеста тебе. Чего теряешься?— откликнулась Зинка потускневшим голосом, и радость, будоражившая душу на самом пределе, мгновенно слиняла.

— Да брось давай,— лениво процедил Коля, по-прежнему не глядя на женщину.

— Чего бросать-то. Девка видная, образованная, не мне ровня.

— Чего?... Да она худая, как коза, только и есть, что волосня распущенная. Да с тобой и рядом не поставить.

Зинка сразу осветилась, потянулась к парню, но тут с улицы закричали вдруг:

— Эй, Зинка, хватит любиться. Отдай нам Кольку. На тоню пора, слышь, что ли, там?

Первой легко подбежала к окну Зинка, украдкой выглянула в прорезную занавеску, чтобы узнать, кто там выкликает ее ухажера.

— Герман на тоню срядился,— шепнула заговорщицки.— Чего передать?

— Скажи, пусть идут. Я догоню после,— так же шепотом откликнулся Коля База. Ему отчего-то не хотелось видеть сейчас звеньевого, его багровое мясистое лицо и хмельные табачного цвета глазки, которые будут ухмыляться и подмигивать понятливо, мол, каково время провел, да не надоела ли баба и не слишком ли привязался к дешевому товару. Он переждал, когда скроется за песчаными прибрежными дюнами необъятная Германова спина, и поспешил домой, чтобы собрать в дорогу хлебы.

На мостках навстречу попался Гриша Таранин, крепенький старичок-лесовичок; его сивые легкие волосы на ветру полыхали светлым пламенем, а голубенькие глазки, еще не потерявшие блеска, по-детски откровенно любопытничали.

— Здорово, батя! — крикнул Коля База.

— А ты все груши околачиваешь? Гли, парень, окрутит тебя Зинка и очухариться не успеешь,— грудным женским голосом выпел старик и распушил усы.

— Без подсказчиков, батя... Мы подсказчиков-то за щеку. Слыхал, небось? А ну посторонись, старая рысистая гвардия...

— Ой, больно боек, больно боек,— ехидно выговаривал Гриша Таранин, пристукивая бахильцем. Но Коля База только присвистнул, внезапно радуясь погожему ведренному дню, легкому горьковатому ветру, веренице дымчатых облаков, и побежал по мосткам, гулко топая резиновыми сапожищами.

— Ой, строчёк, ой, строчёк!— еще крикнул вослед старик. Коля База расслышал последние слова, усмехнулся и тут подумал, что этот ангельский старичок мог бы стать его отцом, запросто мог: еще и поныне мать не может спокойно говорить о Грише. Однажды в банке из-под монпасье Колька совсем случайно раскопал хрусткую пожелтевшую бумагу, убористо исписанную канцелярскими завитушками — так мать веком не писала. Это была копия заявления от Маланьи Корниловны Тараниной. Колька смеху ради перечитал несколько раз ту бумагу, и она невольно осталась в его детской памяти.

«В 1928 году я приняла к себе в дом принятого, т. е. вошла в законный брак с гражданином одной деревни Григорием Петровичем Тараниным. С последним я прожила до настоящего времени, т. е. до мая сего года. В мае мой муж Григорий Петрович приехал с Мурмана, с того времени пошла разруха, несогласие промеждy нами. И, наконец, около 20 июля ушел из моего дому во свою бывшую хату к неродной матери и за последнее время начал носить из моего дому мои собственные вещи, а именно: 1). Два медных таза. 2). Телегу, хомут, дугу, косу для покоса, башлык, лошадь тоже забрал, каковая принадлежала, пол-лошади, мне. Все вышеупомянутые вещи моим мужем взяты нахалом. Между тем, добавлю, мой муж несколько раз бил меня очень и несколько раз угрожал лишением жизни. А оборониться я не в силах, как женщина против мужчины. Потому прошу Советскую власть и милицию принять соответствующие меры. Принадлежащие мне вещи, взятые Григорием Тараниным, возвратить мне и не допу-

стить каких-либо разбойных нападений от совместной жизни с мужем».

Однажды Коля База, уже после армии, спросил у матери, когда все понимать стал: «Гришка-то, мама, отчего от тебя ушел?» — « А давнее дело, сынок. Прослышал, что папашу моего кулачить хотят, вот и побоялся за свой авторитет. Меня-то ограбил, разбойник, да и папашу под тюрьму подвел, донес на него. В тот год золото как раз собирали, просили сдавать добровольно, а кто таил, тех пугали. Гришка на чем-то сошелся с Ваней Тяпуевым, он о ту пору милиционером в деревне был, ну и докладал, что у старика Якушкина, моего отца, значит, золото видел. Приходили, спрашивали, а папаша-то взмолился: какое золото, говорит, мы из самых бедняков. А золото у него и всамделе было, годов тридцать копил, хотел невод да новый карбас справить. Он в горшок его положил да в бане и припрятал. Отца — в сельсовет да там сколько-то подержали, тюрьмой пугнули, он и не стерпел. Повел Ваню Соска в баню да и выдал горшок. А потом как заревел слезами... Я век живу, а не видывала, чтобы так мужики плакали. А баню с той самой поры золотой зовут. Золота баня да золота баня... Ему палось счастье-то, Гришеньке, слезы мои не отлились. Ну и пусть живет, красуется».

« А я Зинку не предам. Пускай и краше есть, пускай Галька Селиверстова мордой крашеной выхваляется, но я Зинку не предам,— рассудительно думал Коля База, наполняясь к женщине любовью и жалостью.— У Зинки будет муж, у парней отец. Хватит кобелить, всех девок все одно не проверишь».

Налетом, саженными шагами влетел на поветь, там в прохладных сумерках наткнулся на мать, непривычно припал к ее морщинистой шее, погладил по пепельным паутинчатым волосам, удивляясь себе и волнуясь, потом так же без слов убежал в избу, полный сил и лихорадочного возбуждения.

4

Сашке Таранину хотелось бы рубаху белую нейлоновую надеть да с парнями по деревне пошататься, пока на море штормит, а то, как стихнет да пойдет рус-

ский ветер с горы, тут и засядешь на своей тоне и редко когда свежего человека увидишь.

Норовил Сашка сбежать, но только баба Поля над душой стояла: выгоревшая вся и сухая, как мутовка для киселя, три юбки болтаются по-цыгански вкруг рогатины ног, щеки присохли к скулам и рот ввалился, но в круглых совиных глазах живет постоянный смех. Нынче баба Поля по самую грудь мокрехонька, даже сивую голову с крохотной косичкой умудрилась промочить: возится старуха у ванны, моет пустые бутылки, которые скопились за год. Раз в летний сезон заходит в Вазицу лихтер специально за стеклотарой. Вот и нынче обещался прибыть — в рыбкооп звонили из Архангельска,— а потому вся деревня сегодня мыла порожнюю посуду, которая копилась на чердаках, поветях, а у Тараниных — прямо на замежке у гряд, в больших фанерных ящиках. Это зятья да сыны как наедут, так и насыплют посуды, словно у себя дома в больших городах им выпить не позволят.

— Куда стропалишь?— косила она зорким глазом и стирала тыльной стороной ладони мокроту под носом.— Вина сколь выжорали. Ты ловчей складывай-то, ловчей.

Сашка во второй воде полощет бутылки и пихает их в мешки. Они неровно лезут, звеня боками, оседают, мешок шевелится, и кажется, что в нем сидит скрюченный человек.

— Не пили бы, так и на хлеб бы не было. А тут и на масло хватит,— откликнулся Сашка, невольно показывая два лопатистых зуба, которые не может прикрыть верхняя короткая губа.

Грех для Сашки эти зубы, оттого он чаще всего молчит, смотрит на людей исподлобья большими коровьими глазами, в которых застыли обида и упрямство. И, может, по этой причине, когда Сашка остается в одиночестве в своей боковушке, он часто глядится в круглое карманное зеркальце и, расшатывая передние резцы, мечтает, что, когда заведутся у него свои денежки, то он обязательно побывает в Архангельске, выдернет эти кусачки и вставит золотые, с желтым негаснущим светом, какие видел у Тимки Закелейного, когда тот пришел с загранки.

— Дурак ты, Сашка. В кого такой дурак-то? В де-

вятый класс нынче походишь. Вот ужо напишу матери, какой ты дурак.

— А чего я такого сказал?— огрызнулся Сашка и для острастки громыхнул мешком с бутылками. Баба Поля сразу всполошилась:

— Ой-ой, лешак окаянный, всю посуду-то у меня перебьешь! Ведь деньги плочены. Вот сколько денег ухлопали, это все бы да в дело.

У бабы Поли над верхней губой черные усы, где-то опять сумела вывозиться, в саже, и передник у нее как голенище кирзового сапога... Уж никто бы ныне из старых архангельских подружек не узнал в ней бывшую купеческую дочь, так обдеревенилась она и все замашки и привычки крестьянские впитала в себя.

— Глаза-ти вовсе на улице оставил. Ведь большой уже. А ему все бы бегать, все бы бегать,— бубнила ровным несердитым голосом.— Склал бутылки, дак поди, Германа понаведай, узнай, когда на тоню побежите. А не станешь слушать, высуну живо к матери в город, живи там.

Тут калитка отшатнулась, и шерсть на рыжей лайке встала торчком. Собака вопросительно ойкнула, мол, кого там леший несет не ко времени, и насторожила лохматый загривок. По мосткам направлялся солидный мужчина в костюме из хорошего светлого материала — как сразу прикинула баба Поля — и в соломенной прозрачной шляпе. Старуха вытерла руки о подол, не сделав их ни капельки чище, если не загрязнив еще больше, и шагнула навстречу, протягивая ладонь. Баба Поля держала руку на весу, но не решалась подать первой. Гость неловко и торопливо коснулся повыше бабкиного локтя и затеребил ситцевую кофту, словно бы вытирая о нее пальцы.

— Баба Поля, Полина Кондратьевна, вы все прежняя, и годы вас не берут.

— Иван Павлович, осподи!— всплеснула руками старуха и сразу замялась, не зная, как поступить и что сказать далее; спиной она прикрывала цинковую ванну с бутылками: еще подумает гость, что она по всей деревне собирала.

— Чей парень-то, не ваш ли?

— Запоздали мы на таких. Внучек...

— Хозяин-то дома?— спросил гость, вглядываясь в

окна и сразу примечая верным глазом, что там колыхнулась прорезная занавеска и вроде бы кто подсматривает в дырочку узорного цветка. Иван Павлович насторожился, прислушался длинным вялым ухом, не стукнут ли двери, не скрипнут ли половицы, но все было тихо. — Хозяин-то дома? — переспросил он.

— А где ему быть-то,— поколебавшись, ответила баба Поля и крикнула пронзительно:— Хозяин, до тебя гость тут! Слышь, Гриша, спишь, што ли?

Дверь сразу распахнулась, словно Гриша Таранин спал в сенцах на полу, и в проеме появился бодрый румяный старик.

— Кто тут до меня?— спросил хитровато и выжидающе, пряча светлые дробинки глаз под клочья бровей и как бы становясь временно незрячим.

— Чирок?— тихо позвал Иван Павлович и шагнул навстречу, словно бы намереваясь обнять старика.

— Сосок, Ваня?— громко узнал Гриша Таранин и легко сбежал вниз. Они оказались вдруг одинакового роста, но сухонький хозяин перед оплывшим гостем выглядел помладше.

— Помнишь, как тебя дразнили? Бывало, спросят, какие птицы есть, да. Ты и начнешь: утка, лебедь, кривка, крохаль, кулик. Всех назовешь, а про чирка всякий раз забудешь будто. А тебе и напомнят. Смеху тут сколько,— снисходительно похлопал по плечу Тяпуев.

— А вас-то, да...— что-то хотел припомнить Гриша, но замешкался, проглотил слова.— Проходите, чего мы тут встали. Бабка, ты бы самоварчик нам спроворила — такой гость. Давно в родных местах?

— Со вчерашнего вечера.

— Ну да, ну да...

— Матушкину могилку решил понаведать. Тут мой корень, весь тяпуевский род в голубом городке лежит. Душа просит, поехал. Да... Ну а ты-то как, старая гвардия?—помешкав, спросил Иван Павлович и, уже скучнея, оглядел хозяина, его мешковатые брюки с пузырями на коленях, ноги в толстых шерстяных носках и ситцевую рубаху с узкой кожаной опояской.

— А чего я-то. Дети, слава богу, выучены. Одна дочка институт на учителя кончила, другая по медицинской части пошла, сын в Германии офицером служит. А у тебя-то долгой ли отпуск?

— На пенсии я,— почему-то смущаясь и словно бы стыдясь своего нового положения, ответил Тяпуев, особенно болезненно почувствовав, что он нынче никто. Нынче он просто пенсионер Иван Павлович Тяпуев. И потому, раздражаясь, добавил:— Оставляли, уговаривали поработать — ушел. Сам знаешь, какая была наша героическая жизнь. Себя не щадили...

— А баба-то работает или как? У начальников больших, сказывают, они завсе по дому. А может, и врут всё.

— Работает...

— И детки, небось, выращены?

— Нет их,— снова раздражаясь, буркнул Иван Павлович и неприветливо просквозил Гришу немигающим взглядом.

— Ты-то мне сколько дашь?— круто повернул разговор старик.

— Чего?

— Лет-то, говорю, сколько дашь?

— Полсотни, не больше. У вас воздух какой, море, лес. Не наше городское житье.

— А мне семьдесят пять, во!— довольно хихикнул Гриша, и его румяное лицо с белыми опушьями бровей зарозовело еще больше.

— И неуж?— непритворно удивился гость, хотя и представлял примерно, что лет на тринадцать, пожалуй, будет помладше хозяина. И сразу вспомнил свою одышку, и постоянную тяжесть в грудине, и частые запоры.

— Посидим на лавочке, пока бабка самовар приготовит. Я ведь в прошлом годе чуть на тот свет не отправился...

— Этого я не знал.

— Ну как же, одной ногой в голубом городке стоял, да натура спасла.

— Ты и раньше ухватистый был.

— Бог не пообидел. Я еще и нынче на все гожий.

Гриша Таранин размяк душой, и слово у него потекло легко, и в глазах родился живой блеск, и какая-то гордость за себя и свою натуру, как бы приподняла его и воспламенила всего.

— Бабка!— закричал вдруг пронзительным фальцетом, забыв о разговоре, и, казалось, готов был застучать калошами о половицы. Баба Поля приникла круг-

лыми глазищами к стеколкам, уж открывать окно побоялась, охраняя избу от мух.

— Ну чего тебе, дедко? — ласково спросила Гришу и по взаимным взглядам даже постороннему было видно, как любят они друг друга.

— Сбегай в лавку, пока не закрылась.

— Не надо, зачем вы это. Лишнее все,— запротестовал Иван Павлович, но хозяин даже не повернулся на его голос и только скрюченным пальцем сделал в воздухе какую-то протестующую завитушку.

— Дак у нас есть...

— Не помешает. Сбегони, сбегони, иль Сашку пошли.

Баба Поля отправилась сама, размахивая цветастой дерматиновой сумкой, и Гриша Таранин ревниво и любопытно проводил ее взглядом до самой калитки, потом не удержался и все же крикнул:

— Никуда не приворачивай! Чтобы одна нога там, другая здесь.

Они замолчали, словно стыдясь друг друга после взаимной исповеди. Ивану Павловичу захотелось уйти, но он, конечно, никуда не ушел, потому что весь разговор, ради которого заявился, был впереди. Он достал «беломорину» и, заткнув полый мундштук ваткой, еще долго и сосредоточенно задвигал ее спичкой к самому табаку, а потом прикурил, не заминая мундштук зубами...

Возвратилась баба Поля и позвала к столу. Самовар был уже подан, и все, что полагалось к нему, было собрано, не бедно, но и не богато — обыкновенный пенсионный стол: ставрида в томате, банка комиссионной маринованной капусты и ладка с печеными ельцами. Баба исчезла за голубенькой дощатой загородкой и явилась с бутылкой, обтирая ее сухой мозолистой ладонью. Она так и подошла к столу, прижимая бутылку к отвислой груди и обласкивая ладонью, словно бы жалко было иль не хотелось спаивать мужиков.

— Ну, кажись, все,— сказала она, нерешительно останавливаясь возле и вытягиваясь во фрунт, будто ожидая для себя приглашения. Гриша поморгал задорными глазками и вопросительно поднял мохнатую бровь: наверное, что-то ему мешало высказаться прямо. Потом перевел взгляд на гостя, на его соломенную

культурную шляпу, но, видно, поборол в себе сомнение, страх и старческое скупердяйство и сурово прикрикнул на хозяйку:

— Не жмись, не жмись, неси того-то!..

— Чего неси-то?— упорно не хотела понимать старуха.

— «Чего-чего» — рыбки, говорю, неси...

Потом баба Поля долго возилась за дощатой загородкой, лазала в подполье, не раз выбегала на поветь, наконец, явилась с тарелкой, на которой арбузно розовела семга, нарезанная толстыми неровными звеньями.

— Гостинцем тут было принесли,— глухо сказал Гриша, испытующе глядя на гостя, но Иван Павлович особо не оживился, не выказал откровенного интереса, только буравчики глаз просквозили старика, и тот поежился, почувствовав себя раздетым и виноватым.

— Хорошо живете, смотрю,— сказал Тяпуев.

— Чего хорошего-то. Гостинчиком дали, дак попробуем,— уходил от вопросов Гриша, боясь, что его обвинят в браконьерстве.— В мои-то годы только на печи сохнуть. Разве когда яльчика иль сорожку упромыслишь, и то хлеб.

— А в магазине одни банки: сабля да стеврида в масле,— добавила бабка Поля, спасая старика,— Стеврида в масле. Черт те что напридумывают.

— Ставрида, глупа баба,— поправил Гриша.

— Бог с ней. Только банками здорово не разъешься. Разве только для гостя когда возьмешь. Вы пробуйте, пробуйте, она порато скусна, эта рыбка, но, правда, дорога.— Баба Поля пододвинула гостю банку со ставридой, а тарелку с семгой будто нечаянно потянула к себе и каждый розовый кусок перебрала, подержала в ладони, словно бы прицениваясь к рыбе. Иван Павлович поморщился при виде консервов, от которых пахло подсолнечным маслом и чем-то затхлым: у себя в городе он стороной обегал в магазине батареи этих ярких банок; а сейчас вилкой потянулся к тарелке и под носом у бабы Поли нанизал самое сочное звено семги, истекающее прозрачным розовым жиром.

— Золотое дно,— сказал Иван Павлович, на что-то намекая, но хозяин промолчал, видно, не понял, к чему клонят, и потянулся навстречу со стакашком. — Везде одна водка, — брезгливо поморщился гость.

Но выпил с интересом и вкусно.

— А как у вас с мясом?— снова спросил Тяпуев, заново оглядывая стол.

— Выкидывают...

— Коров-то порезали было,— опять встряла в разговор вредная баба Поля.— Нынче взамен мяса хорошие деньги получают да все в магазине хотят взять, а коровку-то держать не хотят. Да и то сказать, ухлопаешься с ней: сена поставь, на себе переволочи экую тяжесть, осподи, здоровья-то сколько оставишь. А в лавку-то пошел да и взял.

— В лавке-то нет, вы сказали...

— Для нас — был бы чай. Мы — чайку, мы, стары люди,— чайку с сахарком. То и надо. А это у нас в лавке безвыводно. Да и дедко когда ерша достанет.

— Насчет коров-то тогда зря,— коротко сказал Гриша Таранин.

— Установка такая была,— почему-то заволновался Иван Павлович, и резкие глаза заволоклись паутиной.— Ошибались? Ошибались... Так не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А мы работали, какую великую работу подняли, да. Куда подвинулись, чего достигли, о таком и помыслить не мечтали. Ты вспомни, как жили: невежество, мрак. Нет, ты вспомни...

— Да, всяко было.

— Так забыть надо, забыть пора, да. Нечего копаться в старье, вперед надо смотреть, не с навозной кочки, а с горы. А то мы великие мастера в старье копаться, и руки чистые, да.— Иван Павлович поперхнулся, хрустнул пальцами, выпил рюмку, и глаза снова обрели проницательную ясность.— Мы были первыми, и в этом всё... А Мишка-то Вараксин идет,— мимо глядит, будто не узнал, да. А я его хо-ро-шо узнал.

— Забыть все не может, как вы его с паперти в тридцатом толконули. С того раза, сказывает, голова и болит,— неожиданно напомнил Гриша, словно хотел уязвить гостя.

— Забыть, забыть!— раздражаясь, прикрикнул гость.

Он не любил, когда его перебивали, и, осердясь, даже слишком шумно, как, бывало, у себя в кабинете, придавил столешню кулаком, да так, что стакашки повалились, благо были пустые.

— А как у матушки могилка? Навестили могилку? — вмешалась в разговор баба Поля.

— Да-да-да...

— Ну и ладно. Бедная, успокоилась. Великая была работница.— Старуха подоткнула сухоньким кулачком щеку, полыхающую неровным румянцем. А Иван Павлович кипел в себе, задыхаясь и чувствуя, как трудно бьется сердце. Он сторонне посмотрел на хозяев, на их затрапезный вид, на голубую рубаху Гриши Таранина с засаленным воротом, на плохо промытую тарелку, в которой лежала захватанная руками семга, на полысевшую клеенку в сальных пятнах и почувствовал внезапную тошнотную брезгливость и застарелую неприязнь к этому дому.

И вдруг понял, что прошлая их жизнь, осевшая в извилинах памяти и в тайных закромах души, лишь на время выпадает из постоянных воспоминаний, чтобы однажды с внезапным озарением воскреснуть снова и осветить содеянные поступки. Можно жить мирно и сладко улыбаться в глаза, гоститься и хвалить друг дружку на стороне, но никогда, до самой смертной минуты, не растворить мутный осадок от прошлых столкновений, обид и переживаний. Уж так устроена ущемленная в детстве человеческая душа: разве можно забыть избушку, подбитую сквозным ветром, горестную, рано постаревшую мать, суп из картофельных очисток, пироги, сунутые у чужого порога, как жалостливое подаяние... Но отчего тогда, под влиянием какой посторонней воли он, вазицкий милиционер Ваня Тяпуев, отвел от справедливой кары Гришку Таранина, светлокудрого ловкача с выпяченными губами, которые теперь мягко опушены толстым седым усом.

Помнится, что сначала написал в районную газетку селькоровское письмо: «...Таранин Григорий сильно бьет лошадь. Свистит ременка, скрипит зубами Таранин, а кобылица и так отдает все, что может, ведь она хотя и тихонько, но зато пахать мастерица, а Гришка вот лупит по ней. Он выбил у ней жеребенка и по-видимому хочет ее угробить. Нужно одернуть Гришку, а то и судить, если будет здорово бить кобылу. Не тронь лошадь, Таранин Григорий! Держи туже руки и не давай волю ременке. Безбахильный».

Была пора первой колхозной весны, и через неделю

заметку читала вся Вазица. Ваня Тяпуев с настороженной радостью в душе шел по деревне и напротив хлебной лавки увидел, как на кольях дерется светлокудрый Гришка со своим двоюродным братом. Подбежал разнять, а те, будто нарочно дожидались, ударили милиционера по плечам в два кола. Досталось Ване до синяков, но он службу не оставил, не слег в кровать и на следующий день вызвал Гришку в сельсовет. Тут же сидел бывший «красный пахарь» Осип Усан, кряжистый восьмидесятилетний старик с погнутыми от работы руками; он вышел из колхоза и отказался оставить в хозяйстве сани и водовозную бочку. И сейчас Иван Тяпуев вел по всей форме допрос:

— Какого вы мнения о Советской власти?

— Какая власть есть, для меня все равно, той и подчиняюсь.

— Как вы относитесь к распоряжениям Советской власти?

— Хоть и состоял в колхозе, но некоторыми распоряжениями, правда, недоволен...

— Как вы относитесь к проведению единовременного налога, особенно мясного?

— Раньше драли подать, хотя и мало, но были дороги деньги, и теперь тоже самое дерут.

— Что вас вызвало агитировать за белых в 1919 году?

— Я за белых не стоял и не агитировал, а всегда был против их.

— Состоите ли вы в коллективе верующих?

— Да, состою верующим членом...

— Были ли вы на собрании тринадцатого ноября и что вас заставило быть там?

— Да, я был на собрании ввиду того, что была передача церкви. Но я недоволен, что у нас опоганили церковь.

— Признаете ли вы религиозные убеждения?

— Да, я верую и ни на что не променяю церковь...

— Иди, старик, домой и жди, когда позовем.

Осип Усан напряженно прошел к двери, словно бы ожидая спиной, когда окрикнут его, и молча переступил порог.

— Он скрытый кулак, это ведение подрывной работы нам понятно теперь. Но такие Усаны опираются на

рвачей, лодырей, на своих людей. Ты слышишь меня, товарищ Таранин? — чеканя слова, сказал милиционер.

Тут из соседней комнаты вышел председатель сельсовета Мишуков, закурил папироску, отвернувшись к окну, настойчиво высматривал что-то на улице.

— Ты меня понял, Таранин? Ты, бедняк, главная опора колхоза «Северный полюс», невольно льешь воду на мельницу классового врага... Нет, ты помолчи пока, дай мне высказать. И это в самое великое время, когда весь мир взирает на нас. Мы так это дело не оставим. Ты хотел сорвать посевную кампанию и обречь на бескормицу государство. Так или нет?.. Ты помолчи, я твое нутро насквозь вижу, как оно имеет постепенное загнивание под агитацией кулака-тестя. Товарищ Безбахильный в своей статье правильно осветил данный вопрос о принадлежности вас к колхозу. И отдельно будет поставлен вопрос об избиении советского милиционера при несении службы...

Большие лопухастые уши, которые Тяпуев пытался тщательно скрыть под русой волосней, сейчас тайно полыхали, и какой-то непонятный, неизбывный восторг почувствовал Ваня от своих слов, словно бы вознесло его на огромную вершину, с которой он рассмотрел всеобщее движение страны и в центре ее себя, крохотного, но значительного человека. Но Тяпуев постарался подавить в себе это ощущение, потому что в первую минуту испугался его, и опустил пронизывающие глаза, на дне которых мерцали порошинки зрачков. Он вдруг открыл неожиданно для себя, что его боятся, но после недолгого и смутного беспокойства он почувствовал даже некоторое удовольствие. «Нужно быть бдительным, враг ведет подрыв к развалу колхозов...»

— Вот такое дело, гражданин Таранин, — повторил Тяпуев и вдруг запнулся, не зная, что сказать, потому что разглядел па лице Гришки дрожащие от испуга выпяченные губы и усомнился в той праведной жестокости, с которой хотел наказать мужика. Но тут его выручил председатель сельсовета.

— Ты выйди, пожалуй, поди домой, товарищ Таранин. Мы вынесем этот вопрос на народ. Народ осудит тебя со всей строгостью и правотой.

А когда Гришка Таранин ушел, председатель сельсовета, будто между прочим, подсказал милиционеру:

— Ты, Ваня, мужика не трави. Ты его не доводи до отчаяния. Ты лучше приблизь его и обопрись прочней, и мужик тебя вывезет — мой тебе совет.

Но Ваня только хмыкнул, пряча взгляд, подумал: «Мужик мужику рознь, знаю, на кого ты метишь». И вечером написал в краевую газету:

«Товарищи, я извещал еще в тот момент, когда Мишуков был председателем товарищества «Тюлень», что он из той, явно кулацкой прослойки, как отец его занимался торгашеством, и на той почве происходит у т. Мишукова перегиб. Ныне он заступил на место погибшего от кулацкой руки т. Селиверстова и, как председатель сельсовета, по-прежнему гнет свою линию. Он покрывает кулацких агентов, советует их подтягивать до себя и полагаться на них в своей работе, что мне, комсомольцу и милиционеру, выходцу из беднейших слоев крестьянства, кажется двурушием и замаскированностью истинного своего намерения...»

На следующий день разыскал на пашне Гришку Таранина и посоветовал написать покаянную заметку в уездную печать.

...И вот «крестник» сидел сейчас напротив, весь благодушный и отмякший от стопки, хитро затаивший голубенькие глазки под лохматое опушье бровей. Порой румянощекий старик вскидывал на лоб брови, и по трезвому холодноватому прищуру, по той цепкости затаенного взгляда, с какой он упирался в гостя, было видно, что хозяин настороже.

— Значит, больше не ходок в леса, да? А я полагал, что ты меня по старой памяти сводишь в Кельи, — внутренне усмехнувшись, сказал Иван Павлович.

— Отчего не сводить, уж кого-кого, а... — торопливо отозвался хозяин, понимая просьбу, как некую недорогую плату за давнюю неоценимую услугу. — Вас-то со всей душой. Вы только крикните Гришу, а он уж тут весь. Рыбки добудем, сеточки кинем, может, что и такое ульнет, — с намеком кивнул на тарелку с семгой. — Там порой такие бухают. Ой-ой! — раскинул руки на весь отмах и ребром ладони побрякал по столешне. — Такие чураки дуриком ульнут — одно веселье душе, золотое дно.

— Люди болтают, мне помнится, будто в Кельях золото зарыто, да? — внешне равнодушно, но с тайным

трепетом в душе коснулся Иван Павлович запретной темы. — Или это, так сказать, человеческий ход мечтаний и иллюзий?

Но Гриша Таранин в этом вопросе не уловил ничего таинственного иль запретного, и потому в душе не родился робкий интерес и не вспыхнул, чуть погодя, тревожный азарт.

— Ну почему... Колодец, небось, помнишь? Так и стоит, все будто новый. Глянешь туда, послушаешь, а оттуда колокольный звон. В бога не верую, тридцать лет в море ходил, два раза смертельную рубаху надевал, но там — колдовское место. Там ведь богатые староверы жили.

— Значит, сводишь? — поставил в разговоре точку Иван Павлович и поднялся.

— Когда пожелаете... Вы уже пошли? Куда так скоро, уж ничего и не поели, не выпили, — захлопотала баба Поля.

— Затруднил, затруднил вас, да.

Иван Павлович вышел, хозяева проводили его по мосткам, Гриша Таранин забежал вперед и открыл калитку. Привалившись к изгороди, старики согласно и долго глядели в спину гостя: как уходил он, твердо ставя ноги и колыхая опущенными бедрами.

— Уж никто на деревне про Ваню Соска доброго слова не скажет, как ты ни лей на него меду, — вдруг сказала старуха и длинно, жалеючи кого-то, вздохнула. — Прости ты, господи, на хитрости хотел прожить. Своенравный был человек. На вышины возмечтал числиться. Порато возмечтал.

5

Ночь была тихой и прозрачной, она походила на матовое зеркало, чуть присыпанное серебристой пылью, и оттого странно чудилось, что стоит только напрячь воображение — и можно вглядеться в это зеркало и запечатлеться в нем надолго. Издали все казалось прекрасным и четким, как тонко исполненная акварель: и черный карбасок, похожий на большую рыбу, оставленную приливом, и стенка тайника, еще пустая, не забитая прозрачной капроновой сетью, и длинный волнистый

берег, чуть окрашенный сиреневым дымком, — и думалось, что за самым последним лбом уже́ край земли, уже́ ничто.

Одевались быстро, но с какой-то опасливой осторожностью, словно шли на смертное дело, а может, ночь накладывала свой отпечаток, потому как все было тихим кругом и каждый новый звук казался долгим и чужим. Оранжевые робы скрипели, от них пахло резиной, они были новыми, эти куртки с капюшонами и штаны-буксы, и даже не потрескались на сгибах. Только Коля База пренебрег этим одеянием, оставив его в сенцах на гвоздике, и роба висела на стене, похожая на тень человека. Он натянул на себя обтерханный черный свитер, надел прямо на голое смуглое тело, и овсяного цвета волосы на черном вороте казались еще бледнее; носатое лицо напряглось, и в длинном разрезе губ легли нетерпение и преждевременная усталость.

Скучая и ожидая товарищей, он вышел на кромку берега и, сторонне оглядев море и тонкий извив берега, почему-то вздохнул. В душе что-то саднило и раздражало, может, мешала недоговоренность с Зинкой, и в памяти то и дело всплывало ее маленькое матовое лицо.

Ночная охладевшая тундра пахла пряно и сладко, будто полили ее дурманным сиропом; днем вся розовая от нежной клюквенной завязи и белая от дикого пуха, она была сейчас туманно серой и безликой, утонувшей в мгновенных сумерках; только ныла тундра на неумирающем выдохе, словно в огромном баяне запала самая нижняя клавиша. Было безветрие, и чудилось, что меж болотом и морем стояла прозрачная непроницаемая стена, сквозь которую мог просочиться лишь редкий настырный комар, да и тот устало садился на шею и не жалил, словно боясь тишины. Коля База посвистел, освобождаясь от навязчивой тоски, и его свист вплелся в комариный гул и стал неразличим.

Тут появились Герман Селиверстов и Сашка Таранин и отправились берегом, оставляя на отливе рубчатые влажные следы. Говорить не хотелось, словно бы берегли про запас силы, ведь сейчас до утренней зари, пока не оживет вода, придется качаться в море. Изредка они пинали обветренных высохших крабов, похожих на обглоданные скелеты птиц с жадно разинутыми клювами.

В карбас погрузили длинноногую скамейку и сетчатый тайник, предварительно осмотрев его, потом подложили под белесое днище широкоскулой посудины катки и со скрипом и придыхом потянули в дальнюю отмелую воду. Герман сел на переднюю скамейку — уножье, похожий на идола: задубевшее крупное лицо его казалось вырезанным из вяленой березы. Маленькие глазки потемнели, налились суровостью, а ладони, словно бы примеряясь, мяли сетное полотно и упругую, как вересковый корень, просоленную тетиву. Сашка Таранин сидел на веслах, круто выгибая узкую длинную спину, Герман изредка командовал, и тогда Сашка вскидывал на него громадные глаза и согласно кивал. Коля База торчал на куче сетей, нахохленный и посеревший; в мыслях он все еще объяснялся с Зинкой. Тихо было в мире, и только непрозрачная вода белым бельмом вздымалась и хлопалась о днище; море было кругом, оно стояло выше головы, и впереди не было различимой грани, называемой горизонтом.

...Сперва подъехали к изначальному кутовому колу, который стоял на якоре еще с весны и держал на своей узкой спине весь тайник; потом проверили стенку, она торчала из моря подобием черной вереницы казачьих пик. В этой огороде было только две щербатины: штормом раскачало и повыбивало два кола, их подобрали невдали от избушки и сейчас решили поставить на прежнее место. Спустили с карбаса трехногую высокую скамейку, и главный забивальщик, второй по чину и рыбацким паям на тоне Коля База, полез наверх. Море подмывало шаткое сооружение, и парень потоптался на площадочке, привыкая к зыбкой опоре. В штилевой воде загнать кол в грунт — дело шутейное для стоящего рыбака. Но когда зыбь в море, когда идет накатная волна, близкая к штормовой, а тайник стягивать на берег неохота — ведь семга любит подвижную воду, — тогда зацепиться ой как трудно: обносит голову, того и гляди скинешься вместе с кувалдой в море. Но обычно выбирают тихую погоду, чтобы зря не рисковать, а уж если приспичит, то руками зашатают кол в дно—и лады.

Коля База еще потоптался на площадке, и Герман Селиверстов впервые за всю ночь улыбнулся и сказал:

— Как тебя баба-то уходила — беда, — и снова замолчал, уже до самого конца работы.

Коля виновато улыбнулся, пожал плечами, — мол, что поделаешь, такая наша жизнь, — обтерханным рукавом повозил над губой и, метя кувалдой-киюрой в тонкую вершину, стал загонять кол в дно. Герман держал кол посередке, помогая напарнику, и сопел, когда забивальщик промахивался и киюра пугающе свистела возле уха.

Брешь в огороде починили, а там уж все пошло куда проще и отлаженней: натянули тетиву, поставили завески — сетчатые стенки, котлы-ловушки — и к утренней зорьке ставной невод был готов.

Солнце встало на корточки, все в мире пришло в движение, стало парко, и рыбаки разделись до рубах. По-прежнему тонко ныла тундра, вся белая от солнца и цветущего багульника. В низинных озерках хлопали утки, поднимаясь на крыло, еще далее синела щетка леса, и оттуда прозрачно и ледяно заманивала поздняя кукушка. Ее зов таил смуту и обман, от ее плача веяло несчастьем. Когда она выкликала по зорям, рыбакам становилось как-то не по себе, они обычно чертыхались и стреляли в ее сторону из ружья. Может, потому тоню прозвали — Кукушкины слезы, и на нее мужики садились с большой неохотой, только когда нужда прижмет или начальство пристанет, хотя и место добычливое тут: семга мимо не обойдет, а под самым носом рыбные озерки, просторный бор, полный птицы, ягоды на болоте внавал — царствуй только, живи, а вот нет, не любо это место. Да и что скрывать, редкий год не случится тут какая беда.

— Сволочь, заладила, — выйдя на берег, суеверно сплюнул Коля База, стянул через голову обтерханный свитер, полил на себя, черпая ковшиком прямо из озерца, выпил кружку холодного чаю, повалился на нары и будто утонул, даже правую ногу толком не уложил на постели, так и висела она обочь, зацепившись за подстолье. Сашка укладывался долго и, заметив, что за ним никто не наблюдает, достал с полочки круглое зеркальце и стал всматриваться в смутный свой облик, облизывая маленькие пересохшие губы. Потом лег, а глаза, устало осевшие в темные провалы, еще долго не могли сомкнуться: все чудилось, что кругом море, едва мерцающая свинцовая рябь, все колышется, движется, куда-то проваливается, заполняясь водой. А мо-

жет, он уже спал с открытыми глазами, потому что в их глубине не было ни смысла, ни сознания...

И только Герман еще долго стоял на берегу, смотрел, как набухает море, наливаясь яростью: волна рождалась будто из ничего, из едва заметной морщинки на морском челе, словно с громадной тюленьей шкуры кто-то невидимый сострагивал зверобойным ножом сало, — вот так же копилась волна, наплывала из марева, наращивая мускулистую плоть и пушечно ударяясь в берег. Вода подтопила ловушку, и наружу торчали лишь черные мизинцы кольев. Все вроде было хорошо, но Германа беспокоила сизая стена над морем, которая становилась все гуще, разрезая его вдоль,— значит, там, за этим маревом, копилась ветровая сила. Уж такое нынче неспокойное было лето.

Герман почувствовал, как ветер толкнулся в затылок, распушил волосы, значит, потянуло с горы — верный русский ветер, самый рыбный; хоть бы постоял немного, дал взять план. Тут снова вскрикнула кукушка, ее зов стал слышнее и гуще, знать, пришел с народившимся ветром. Сразу загрустилось, вспомнилась жена, ее каменное молчание, сухой желчный рот и неулыбчивое лицо. «Уеду, к чертовой матери, уеду, — подумал Герман, — уйду на тральщик. Надоедно тут».

Он по-новому взглянул на море, и оно показалось ему, по сравнению с тем буревым океаном, который жил в воспоминаниях, лишь мутной болотистой лужей. «Каждый день одно и то же, глаза-то намозолит, леший посунул сюда забраться. Задора нет того, задора...» Он провел по лицу ладонью, как бы смахивая липкую лесную паутину, и вдруг почувствовал, что устал и хочется спать. В избушке было светло. По черному, затоптанному полу пробежалась мышь и сделала стойку возле пустующих нар. В углу стояла плита, заставленная обувью, завешанная мокрыми портянками и ватниками, у стены — трои нары, в центре — стол с двумя лавками подле, вот и все убранство. Вновь подумалось, как это убого все и надоедно, и эта картина будет маячить изо дня в день, до поздней осени, а в следующем году опять то же самое: три надоевших рыла, болото и море — и так из года в год, до самой пенсионной старости, если не загнешься раньше ее.

«И как тут люди живут, бог ты мой, мышеловка какая-то! Уйду на тральщик, там весело».

И почему-то не вспомнились Герману тесный кубрик, галдеж, немая усталость от бесконечной работы, когда отваливаются руки, вахты и подвахты, река рыбы, в которой утопаешь даже во сне, и до тошноты надоевшие за полгода промысла лица ребят, когда туманно грезится берег и кажется раем. А сейчас привиделось ему, что вот рыбы взяли полно — темная сила этой рыбы — и двое-трое суток не принимают ее на базу, а ты лежишь на палубе под южным солнцем, пузо кверху, — счастье-то какое! — а тебе и завтрак, и обед, и ужин — никаких забот. Ты травишь с ребятами баланду, веселея от одной лишь мысли, что рыбы взяли два плана, значит, на берегу закипит жизнь, на хлеб и «Солнцедар» хватит, а там и девочка привяжется...

Рядом заскоркала мышь. Герман открыл пьяные от бессонницы глаза и раздраженно кинул в нее домашний шлепанец: гнусь амбарная испуганно пикнула и скатилась в свою нору. Тут Германа будто ударили обухом по затылку, так сразу он провалился в сон. Но и часу не прошло, как очнулся от кошмара, будто на грудь ему положили громадный валун, а Коля База наотмашь дробит его кувалдой. В избушке было не продохнуть от комарья, словно его согнали с болотины сюда и напрочно закрыли все щели. Окна были черными от гнуса и едва пропускали свет; рыжая сука с острой длинной мордой лежала посередке пола, тонко выла и была серой от комарья, ведь у нее нет рук, чтобы отмахнуться от этой заразы. Сашка Таранин вскидывался на нарах, как громадная белуха, но от сна очнуться не мог, и жалко было глядеть на него. Коля База, замотавшийся в простыню, походил на мумию.

Герман, ошалелый, вышел на волю, и его качнуло горячим воздухом, напитанным морем, даже почудилось поначалу, что нет кругом ни единого комара. Подумал: вот где спать надо. Дул русский ветер с горы, и море успокоенно ворчало, облизывая песчаную кромку и оставляя на ней заплески. Волна, белая и мелкая, как обрывки песчаной бумаги, путалась в сетчатой стене. Привычным глазом Герман обежал ловушку и увидел в капроновой завеске острые черные рыла, которые порой вскидывались отмелой волной: это висели семги, на

приливной воде попавшие плавниками за ячею. Герман разогнул голяшки сапог и зашел в промоину у крайней береговой сетки, где, запутавшись передним крылом, лежала семга, похожая на еловую плаху. На отливе можно было, наверное, пройти рядом с нею и не заметить, так ловко спина рыбы сливалась с черными морскими заплесками и травой, и только острый глаз рыбака за добрых сто сажен способен разыскать семгу в тайнике.

Две рыбины Герман отнес в ледник, положил на спекшийся ноздреватый лед, покрытый тусклой мертвой чешуей, а третью оставил возле поварни на колченогом столе. Сашка все так же метался во сне, и комары зависли над ним непрозрачным гудящим столбом; тут и глядеть было страшно, а не то что лежать и страдать. Герман постоял у изголовья, и ему стало жаль молодого напарника. Он разбудил Сашку, потянув с нар за ногу, тот поднял опухшее лицо, беспамятно моргая круто загнутыми ресницами, но, поняв, кто стоит перед ним, живо вскочил, протирая глаза.

— Давай, уху заваривай. Хватит страдать. Я тут свежины добыл, — буркнул Герман и пошел прочь.

Тут очнулся и Коля База, размотался из простыней. Он потер литую плоскую грудь с едва заметными шоколадными сосками, почему-то сразу снял со стены бинокль и вышел на обрыв. Герман поглядел на него, пожал плечами и снова принялся рушить семгу на крупные звенья. Рыба была арбузной спелости с едва заметным морошечным отливом под перьями и в брюшке, где нагуливался запасной жир, который семга берегла для долгого пути по северной реке, чтобы за сотни километров забраться в верховья, в студеные витые воды, в глубокие ямины и там разродиться. Лоб у рыбы был костяной, словно окрашенный жидкой черной тушью, и на этом мрачноватом цвете выделялись изумрудные ободки вспученных глаз.

«Этой рыбы каждый хочет», — повторял про себя Герман, разделывая семгу, а Сашка, запалив костер, тут же у озерка промыл звенья и спустил в кипящую воду. Рыбацкий быт, как и сам промысел, за сотни лет мало чем изменился, его не коснулась всюду проникающая цивилизация, и даже в двадцатом веке уху варят так же, как и в семнадцатом столетии: никаких специй,

никаких добавок, которые могли бы притушить золотистый семужий жир и легкий, едва уловимый запах моря и ворвани, — только кипящая вода, соль и рыба крупными звеньями, килограммов пять-шесть, и голову с черным костяным лбом — тоже туда, и студенистые, в зеленой радужной оболочке глаза, и песчаного цвета крупную печень, и жабры. Все эти черева — внутренности, настоявшиеся в бурлящей воде, куда как вкусны, даже приятней самого рыбьего мяса, которое, выварившись, неожиданно линяет, становится желтым и сухим.

Думали пообедать в тоньской избушке, но с веселой воли, обвеянной легким теплым ветром, там показалось особенно уныло и сумрачно, словно из радостно цветущего лесного луга вдруг вступили в мрачное глухое суземье с редкими оспинами неба над головой, где и крохотная птичка не прошуршит крылом и не вскрикнет, пугаясь. Да к тому же в избушке стоял комариный стон, и все с понятным и мгновенным удовольствием сошлись на том, что почему бы не поесть на угоре, лицом к морю. Стол и обе скамейки вытащили на улицу, с каким-то неожиданным весельем устраивались, понарошку падая спиной на землю и задирая ноги, а потом снова воюя за лучшее место, чтобы лицом обязательно к морю и видеть все, что творится там, посреди пляшущих волн, да чтобы первому заметить, кто идет по заплескам в их сторону, и тут же угадывать, желанный гость иль нет.

— Дай-то бог, а рыба в море есть. Есть рыба-то, — вдруг сказал Герман, повеселевший, с искрами света в глазах: рыба шла, а значит, можно жить, оттого и сердце сладкой патокой смазано и до поры до времени затаилась, притухла в душе тоскливая досада. Ильинская семга вот-вот должна подвалить, она крупная, жирная такая, тяпухи дай бог, просто так ее не возьмешь. А иной раз по двадцать три килограмма попадет, такая дурила: лежит, в завеску улипнет зубами — думаешь, коряга иль бревно. Рыбинка так рыбинка, есть на что посмотреть.

Тут Сашка приволок большую голубую миску с ухой, поверху на полпальца янтарный жир, потому уха даже не парила, и весь жар затаился в глубине, но попробуй, хвати ложку с жадностью, тут и выскочишь из-за стола с распахнутым ртом и слезой в глазах. Намерились есть долго и сытно, потому как не поешь, так и не порабо-

таешь, а едят на тоне лишь однажды в сутки, как придется, но, правда, потом раз пять чай пьют, заедая остатками холодной рыбы, порой часа в три ночи — ведь у моря все сместилось: и утро, и день, и ночь — таков круговой семужий промысел. Но не получилось размеренного обеда: вдруг откуда-то родился повальный комар, и ложку до рта не дотянешь — отмахиваться нужно, да и в чашку густо западала эта гнусливая нечисть. Поначалу пробовали ложкой вытряхивать комаров из миски вон, но — пустая затея. Сразу вспомнилось, как едят на сенокосах: там комаров поверх супу толсто и их бесполезно доставать, потому как на их место тут же свалятся новые. Обычно на пожне едят и приговаривают: «Ничего, жирней будет. Тоже мясо...»

— Ничего, уха жирней будет, — сказал звеньевой, и все охотно поддержали его шутку, только зеленые Колькины глаза, лениво обегающие море, вдруг насторожились, и ложку парень отложил в сторону, вынул изо рта обсосанное рыбье перо.

— Вроде есть...

Все оглянулись и увидали, как возле сетчатой стены будто кто ударил резко поленом по воде, потом светлой сердитой дугой выплеснулась рыба и тут же затабанила хвостом, видно, хотела уйти на волю.

— А ну, беги! — прикрикнул Герман. — Сашка — с ним, столкните карбас. А то уйдет...

Парни вскоре вернулись и принесли две семги, которые объячеились, и потому на серебристой груди отпечатались глубокие продавлины, и если распотрошить сейчас рыбину, то можно увидеть, как в том самом месте багрово зажглось мясо.

— Положи в ледник. На еду есть, — бросил Герман, даже не оглядывая сёмог. Сдавать их в план нет смысла, примут третьим сортом, дадут за них гроши, так лучше съесть, тем более, что питаться чем-то надо.

Так и не пришлось толково похлебать ухи: еще по разу потянулись к миске, да с тем и отложили ложки в сторону. Сашка притащил строганую плоскую доску с горой отварной рыбы, но к ней никто не притронулся, только Коля База порылся в мясе, отыскивая глаз, потом положил его на язык и долго сосал, будто конфету.

Море притихло, опало, обнажив длинные песчаные гривы, вода едва-едва наступала на берег и с тихим

шипением откатывалась назад, оставляя в воздухе едва слышный долгий выдох, и только в ловушке толклись мелкие белые гребешки, да порой в сетчатом котле бухались рыбы, выметывая водяные радуги. Мешкать уже было нельзя — море окротело, подчиняясь таинственной невидимой силе, оно сейчас покорно и равнодушно лежало в своих постелях, но где-то там, за невидимой гранью, уже набухало, заново полнилось, чтобы скоро всей своей мускулистой плотью навалиться на Зимний берег и потрясти его пушечным ударом.

Карбас спихнули, Коля База еще недолго шел следом, толкая посудину на приглубое место. Сашка сел на весла, а Герман примостился на переднем уножье, скрестив калачиком ноги и взглядом проникая сквозь верхние зеленые слои воды. Каждый знал свое место, дважды повторять не надо было, и потому все суеверно молчали, словно боялись вспугнуть рыбу. Герман поднялся на переднем уножье, хватался за оттяжки тайника, и кожа на пальцах побелела от напряжения. А в сетях, похожая на осиновые поленья, висела семга, и, накренясь над самой водой, почти омокая отросшие пшеничные волосы, Герман выпутывал рыбин, коротко и сильно бил колотушкой по черному костяному лбу и бросал в карбас. Семга лежала на телдосах — дощатых настилах и косилась темным непрозрачным зрачком, ободки глаз потемнели, стали тусклого травяного цвета, и было видно, как стремительно уходила из упругих рыбин жизнь: они тускнели, деревянели, и косо срезанные спинные перья мертво припадали к рябоватой чешуе. В сам тайник попало несколько пинагоров, их тоже бросили на дно, даже не коснувшись колотушкой, потому что они податливо и грузно обвисли в руке Германа, не тряхнувши плавниками. Но в карбасе они жили долго, похожие на броненосцев, все унизанные трехгранными шипами, одетые в толстую кольчугу, и только выпуклые надутые животы как-то беспомощно отсвечивали нежной зеленью. Пинагоры дышали тяжело круглыми ртами, как бегуны на длинной дистанции, делая рот трубочкой, или словно готовились целовать крест перед причастием.

Коля База шутки ради сунул недокуренную папиросу пинагору в рот, и рыба, натужно пыхтя, стала пускать клубы дыма и пучить студенистые глаза.

— У, как здорово! — восхищенно выкрикнул Сашка Таранин, а Герман только коротко резанул взглядом и носком сапога выпихнул рыбину из карбаса в море.

— Ты чего? — вспыхнул Коля База.

— Ничего... зачокал. Подымай оттяжку, ну! — отрезал сурово звеньевой, и жилы вспухли на его лбу. Внезапным холодом повеяло меж ними, и Сашка,подетски моргая коровьими глазами, никак не мог понять, что случилось, но только сразу потускнело море и стало зябко на душе. Тут зашли в тайник через ворота, но главную рыбу из сетчатого тайника брали молча, без особого интереса, парни не разговаривали, а когда огибали крутой кол, Герман подумал внезапно: «Мишка-то Чуркин тут затонул... В этом самом месте».

Он невольно всмотрелся в толщу воды, но солнце уже лежало на поверхности моря, и в серебристом сиянии, слепящем глаза, ничего не высмотреть было. Да и что выглядывать, если Мишка Чуркин утонул лет двадцать назад, тогда его выбросило штормовой волной ровно через неделю, и Герман видел его, набухшего, с огромным животом, лежащего посреди песчаной отмели. Он подошел и испуганно вздрогнул, когда с жадным скрипом снялось с утопленника болотное воронье.

«Мишка-то Чуркин здесь и потонул», — еще раз подумал Герман, но тут же через силу заставил себя встряхнуться и буркнул Сашке сердито:

— Выгребай, ворона, заснул, что ли! Глаза выпучил сидит.

Сашка Таранин обидчиво дрогнул плечами, и круто прогибаясь в спине, стал выгребать на берег. Они и к леднику потом шли порознь, цепочкой, друг за другом: впереди звеньевой с погрузневшей семгой на откинутых руках, за ним, цепляясь сапогами за песчаные гривы, неохотно тянулся Коля База, последним шел внагиику Сашка Таранин, самый младший артельщик, и нес за плечами задубевшую от соли брезентуху, полную семог.

6

Пока двигался по мосткам, подшипники крутились охотно, и Мартын Петенбург, легонько толкаясь костыльками, только правил тележкой и следил, как бы не

свалиться в канаву или не огрузнуть в расщелине меж половицами. Но когда скатился на дорогу, подшипники сразу увязли в пыли, заскрипели под его тяжелым телом, стали провертываться, и Мартын с грустью подумал, что деревянные оси надо, видно, заменить железными, те подольше выстоят, глядишь, и до самой смерти хватит. Тут култышки нестерпимо заныли, напоминая о себе, и боль отдалась в пояснице; захотелось тут же задрать штаны и погладить холодной ладонью налитые кровью рубцы... «Не приведи господь еще раз валиться под нож», — подумал с тоской. Вспомнились все пять предыдущих операций, после которых ноги становились все короче и безобразнее, все труднее было загибать на них кожу и сшивать, а нынче и вовсе укоротел Мартын Петенбург, как раз вдвое против прежнего роста... «Не приведи господь еще раз валиться под нож», — с каким-то новым страхом подумал Мартын, чувствуя, как устало у него сердце. Думал ли, что так получится... Еще десять лет назад подпирал головою любой потолок, и не было другого заглазного прозвища, как Мартын Верста. Так стоит ли загадывать о смерти, может, завтра и случится она, потому и железные оси пусть погодят — пока еще деревянные не сдали и несут.

Мартын, опираясь на костыльки, вместе с тележкой поднялся на крыльцо, покатился по гулким коридорам; колесики уже не скрипели, а мягко шуршали, и только резиновые наконечники костыльков погромыхивали глухо и сумрачно, словно кто-то загонял в доску гвозди. Дом был еще прежний, ставленный навек, с гладко струганными топором стенами. Уже после, в тридцатом, здесь помещался сельсовет, пока не переехал в одноэтажный домик, крашенный охрой, тогда и обжил под свою контору колхоз эти угрюмоватые низкие комнаты.

Ноги опять заныли, Мартын пошатал на култышках широкие ремни, которыми надежно была пристегнута тележка, поправил низы штанин, обтянутые кожей. Подумалось: «Может, складки натирают... Надо напомнить бабке, чтобы в брючины напихала для пробы овечьей шерсти». По длинному гулкому коридору бродили сквозняки; под поветью всхлопала дверь, почудилось, что кто-то идет следом, и Мартын заторопился сразу, покатился к бухгалтерии, дернул дверь за ручку. Но, как всегда, оказался первым, и от всей этой спешки, когда

нашаривал ключ, да тянулся к замочной скважине, сердце гулко и нетерпеливо забилось.

В комнате он несколько раз прокатился от окон к порогу, прислушиваясь к шагам в коридоре и пытаясь угадать, кто идет следом, но все было тихо, и, успокаиваясь, Мартын раздернул пыльные бесцветные шторы. Потом одну деревянную ладонь положил на край письменного стола, вторую — на стул с ящиком, крытым солдатским сукном, и, легко подтянувшись на руках, сел на свой постоянный «трон». По правый локоть поставил арифмометр, по левый — счеты, точным движением опрокинул в одну сторону кругляши... Кость на кость — вот и гвоздь. Подумал: «Не у чего стало жить. Корова сама себя не оправдывает, и рыба за тридевять земель». Может, про себя подумал, что не у чего стало жить, кто его знает, но только сегодня последний день сидел Мартын Петенбург за столом главного бухгалтера: вот-вот должен вернуться из отпуска Федя Чуркин, которого Мартын и замещал каждый летний месяц с того самого года, когда вышел на пенсию. Последний раз замещал, наверное, последний — зачем загадывать? Кто знает, хватит ли здоровья на следующий год, чтобы целыми днями протирать здесь штаны и утруждаться. Вчера вот копался в архивных бумагах, Витьку-экономиста попросил снять подшивки с чердака, в них-то и нашел одну бумаженцию: «Мартына Коновича Селиверстова освободить от председателя колхоза за развал работы...»

Тут сильно отпахнулась дверь, и, как всегда, шумно влетела Аня — зоотехник. Под пятьдесят женщине, а все как девочка — с тощей косичкой кренделем и рот всегда полый, готов для ухмылки и побаски. Как овдовела девчоночкой, так и не умудрилась постареть, словно и некогда ей, все бегом, все бегом в резиновых сапогах, захлестанных грязью, в юбке холщовой, от которой несет навозом: в чем на хлевы ходит к дояркам, в том и в конторе — недосуг ей переодеваться.

— Я не припоздала, кажись? Ой-ой, чего видела!..

— Пошто поздно встала-то? — невольно расправил брови Мартын, и усы по-кошачьи встрепенулись: сейчас отмочит баба, хоть стой, хоть падай, за ней в долгу не останется.

— Да лежала, себя оглаживала. Быват не чурка,

не березово полено, хорошего-то завсегда хочется... Витьки-то опять нет? Нельзя вам, мужикам, поздно жениться, вы тогда с ума сходите. Витька-то на обед побежит, и тогда бабе покоя не даст.

Тут, не долог на поминках, явился Витя-экономист, смущенно похмыкал возле порога, отворачивая в сторону глаза, кепку-восьмиклинку накинул на олений рог, сразу потянулся к графину и ополовинил его, потом долго сидел, отдуваясь и наливаясь румянцем.

— В пьянстве замечен не был, но по утрам пил воду большими глотками, — ехидно заметила Аня-зоотехник. — Закусить не дать?

— Я и не пил, — буркнул экономист. — Селедки в охотку поел, так совсем опился.

— Я тут Мартыну Коновичу и говорю: нельзя вам, мужикам, долго холостяжить. Женка-то у тебя едва опросталась, бедная, как снова с брюхом...

— А тебе и завидно?

— А чему завидовать? Это дело нехитрое, не учрежденьем руководить... Ну и завидно, так что? Я не человек, да? — откровенно сказала Аня, сразу потускнев лицом; выдвинула ящик стола, зарылась с головой в папки, может, чтобы заглушить близкие слезы, но сделала вид, что позарез понадобилось что-то отыскать. — В двадцать-то лет овдовей, дак узнаешь, каково хорошо, — добавила глухо.

— Нашла бы кого, еще баба-то бой, — серьезно посоветовал Мартын, в душе постоянно и грустно жалея Аню, как и всех деревенских вдов, которым досталось такое тягучее и беспросветное одинокое быванье. — Тогда саму себя не придется оглаживать.

— Так за тебя, што ли, пойти? Так ты занят.

— Ну пошто же...

— Так поровенки-то моей нет, вся на войне покладена. А за старика выходить какой интерес? Тетешкай его потом, хуже малого дитя. Уж погожу, когда у сына кто народится, тогда и погулькаю.

Тут — никто и не поджидал сегодня — явился главный бухгалтер, отпускник Федор Степанович с круглым, как блин, лицом, на котором затерялись крохотной пипочкой нос и маленькие пепельные глазки, всегда довольные и улыбчивые. Несмотря на оплывшее тело и двойной подбородок, бухгалтер вошел легко и сразу

показал всю обойму ни разу не чищенных со дня рождения, но на удивление крепких зубов.

— Ну каково тут без меня?.. Колхоз еще не растрясли? — шутливо и громогласно приветствовал он, и лицо, круглое и сытое, все расплылось в улыбке, но пепельные глазки стали холодны и проницательны. Порог переступил хозяин, это было видно по тому, как огляделся он, словно человек, который вернулся в родной дом после долгой отлучки, и, не поворачивая головы, сразу уловил беспорядок. Веник у печки болтается беспризорно — поудобнее примостил его в угол, стопку газет снял со шкафа, выбил пыль и положил на видное место, чтобы не забывали подшивать, повел носом и, уловив запах табака, недовольно сморщился сквозь улыбку и звонко распахнул форточку.

— Запылились, гляжу, тут без меня. Ну и чудаки, ну и чудаки вы, ребята. Ей богу...

Словно сквозь стенку расслышав тусклый голос главного бухгалтера, вдруг прибежал председатель, невысокий, носатый, с лысеющим узким лбом; он неловко суетился вокруг Федора Степановича, будто готовый сейчас же и отчитаться за проделанную работу, и бухгалтер, уловив эту робкую заминку, шевельнул двойным подбородком, лицо его стало готовно холодным:

— Я зайду к вам, после зайду.

— Да-да, я и хотел, чтобы вы зашли. Уж не забудьте, — напомнил председатель, нерешительно замявшись на пороге.

И по тем словам, что были сказаны и как были произнесены вслух, и по тем, что были не сказаны, но как бы тайно присутствовали в воздухе, по холодной осанке бухгалтера и по опущенным плечам председателя было заметно: тут что-то есть, тут что-то такое: видать, по непонятным обстоятельствам главный бухгалтер над своим председателем имеет власть и не малую. Это все окружающие знали, и потому первыми голоса не подавали, а ждали указующего слова Федора Степановича. Даже бойкая Аня вдруг сникла, осторожно прикрыла ящик стола и засобиралась пойти на ферму, откуда только что явилась, словно нерешенные дела срочно вытребовали ее туда.

— Как ваши ноги, Мартын Конович? — вдруг спросил главный бухгалтер, для такого случая погасив

улыбку и прижимая к темени воздушный клочок волос.

— Да ничего...

— Ах да, прости, — спохватился главный бухгалтер.

— Ну дак как, еще не протрясли колхоз без меня? — назойливо переспросил он, имея обыкновение шутить подобным образом.

Косматые брови Мартына нервно вздрогнули, и непролазный сивый волос на голове встал торчком, словно бы ужасно напугался человек:

— Не у чего стало жить. Корова себя не оправдыват, и рыба за тридевять земель... Протрясать боле нечего.

— Ты, Мартын Конович, не в секту ли без меня вступил? По-молитвенному нынче вдруг заговорил. Ты, Аннушка, чего не упустила без меня? Небось, политбеседы редко проводишь, — коротко хохотнул Федор Степанович, собираясь разговор свести на шутку, но, видно, ответ и самому показался легкомысленным, и потому солидно добавил, локтем придавливая счеты: — Денег-то на миллионы нынче считаем. Ты посмотри, как жить стали.

Видно, спор был давний и загорался не раз.

— Солить, что ли, деньги те. А деревня краше стала? Иль производство какое выросло? — глухо, как бы самого себя вразумляя, упрямо не отступался Петенбург. — Ну да правда, чего тут, — вдруг спохватился он, словно бы пугаясь, что сказал лишнее и непонятное для постороннего слуха. — Противу прежнего мы порато хорошо жить стали. Белого хлеба не хотим нынче. Скоро в избы запрячемся, как в большом городе, и — ку-ку...

— Ты все сразу хочешь: и телегу, и лошадь...

— Сегодня дела сдавать иль до завтра погодишь? До последнего дня, поди, доотдыхаться хочешь.

Но Федор Степанович не принял всерьез разговора, опять коротко хихикнул, пряча пепельные глазки в разбежистые густые морщины.

— Слушай, Мартын, а тебе и не угадать, кого я нынче видел. Оказывается, Иван Павлович в деревне гостится. Важный такой.

— Какой Иван Павлович? — еще не остыв от разговора, машинально переспросил Петенбург.

— А корешок-то твой, неуж забыл? Вы ведь дружили, не разлей вода были. До сих пор вся деревня вспоминает, — с умыслом иль нет, но задел бухгалтер Мартына. — Важный такой: фу ты ну ты — крендель гнутый. Прежнего-то Ваню Соска и не признаешь. Идет, бывало, по деревне, когда еще в милиционерах служил, винтовка по земле волочится; малой ведь был, но энергичный, куда там. Здорово он тебя тогда подъел, а? Он на все голова был, ба-альшой голова. Помню, как свечку тайно в церкви зажег. Бабы все сбежались: ой да ой, крестное знамение, на антихриста треклятого бог посылает гнев свой. Церковь открыли, а перед алтарем свеща горит. Все на колена и пали, молятся, а Ваня-то и выходит в простынке белой на плечах. Из-за алтаря выходит и давай речугу толкать.

— Мне мати рассказывала, — поддакнула Аня, до этого молчавшая и всеми забытая, — говорит, вострый был, характерный такой. Церкву-то ломали, дак первым пример показал. Да еще учитель был — Лагутин такой... Говорит, иконы-то сорвут, да под задницу, и с горки ледяной катаются. Они тогда во главе деревни и шли да еще Мартын Конович с има, да? — по-девчоночьи спросила она у Петенбурга и вытаращила наивно пестрые глаза.

— А стихи-то как складывал. Он здорово тебя тогда поддел: «Как у вазицкой артели в голове много затеи. Они бьются без пути, на судне некому идти...» — Федор Степанович мелко засмеялся, словно икал.— Длинное такое, бывало, как начнет мать читать — усмеешься. Старухе за восемьдесят, а все в памяти. Вот какая твердая память бывает... Ты скажи, Мартын Конович, за что же он тогда взъелся на тебя... Вы, Петенбурги, на язык тоже хороши были, что Парамон, покойничек, что ты.

В бухгалтерии все настороженно замолчали, даже Витя-экономист перестал крутить арифмометр и насторожился, а Петенбург смущенно закашлялся, заерзал на подставочке и, накренясь вперед, в подстолье, стал разминать ладонями стонущие култышки. Ему бы разозлиться на Федора Степановича и оборвать этот разговор — он понимал, что не с добра начал воспоминания бухгалтер, — но то ли Аня со своей наивной открытостью была причиной, или разбуженная память,

только Мартын не вспылил, и хмурость растворилась в душе, не успев разлиться. И безногий старик ухмыльнулся, расправляя кончики усов.

— Он ведь попрыгун был, все с налету хотел взять. Не позже, как завтра, мировая революция, и все тут. Ну я на него и сочинил при всех в сельсовете — тогда такое увлечение было складывать про все. Первые-то строчки, как ныне помнится, были таковы: «Сельсовет есть орган власти пролетарской на селе, но у нас дела иначе. И по чьей это вине? Здесь дорога не вешóна, там не выкопан косик, с кулака налог не взыскан, на кого вину взвалить?» Ну и дальше таким манером. Долгий стих-то был. Ему и не занравилось, что при всех прочитал: мол, подрыв Советской власти. А при случае и капнул, куда след.

— А с флагом-то все правда, значит?— неискренне переспросил бухгалтер.

— А пошто нет-то. Правда, значит. Висит, весь выгорел, как тряпица худая. Я и снял, положил к Ване на стол, мол, не гоже такой флаг над сельсоветом держать, Советскую власть позорить... А он и воспринял по-худому.

Мартын вдруг умолк, поскучнел, брови поникли на морщинистом лице, и седые кошачьи усы увяли. Он заерзал на подставке, крытой солдатским сукном, и сказал глухо:

— Я, пожалуй, на сегодня уйду.— Опираясь сильными ладонями о столешню, легко спустился на пол, сразу очутившись где-то в подстолье, и, глухо откашливаясь, покатил к дверям. У порога остановился, прощально взмахнул костыльком, словно на смерть уходил, и у всех при взгляде на короткое безногое тело что-то мучительно стронулось в сердце, и каждый подумал на себя, не он ли чем обидел Мартына Петенбурга.

Бухгалтер надел черные сатиновые нарукавники и начал выкладывать из ящиков папки, обрастая и исчезая за ними. Аня неотрывно глядела в окно на Мартына Петенбурга, который отсюда казался квадратным и сплющенным; он перебирался через рытвины, опираясь на костыльки и подволакивая грузное тело вместе с тележкой. Солнечные лучи падали косо вниз, и четыре подшипника, заменившие ноги, резко отсвечивали и казались зеркальными.

— Мне его все жалко почему-то. С ним бы я, пожалуй, ужилась,— вдруг сказала Аня, но все промолчали, только экономист Витя оторвал от бумаг голову и удивленно заморгал белыми ресницами.— Мне мамушка сказывала, какой он добрый был. Как в море рыбакам уходить, так свои бродни отдаст, босиком в воду заходит, сам карбас отталкивает. Чудак он был,— говорила она о Мартыне Петенбурге, как о мертвом.— Раз за сеном поехали по реке в верховья. Он хоть и председатель, а со всема за веревку тянул, бурлачил. Только однажды в конце пути пропал, его не сразу и хватились. А там мыски долгие, река-то крутит очень, а если напрямик, посуху, то совсем рядом. К избушке подходят, видят: костер дымит, у огня какая-то баба. По одеже-то признали сразу, будто Натаха Качегова, но она же и в упряжи в лямке стоит. Андели, как испугались, думали, блазнит, черт пугает; подошли ближе — так со смеху и повалились, где стояли. Осподи, так это Мартын, председатель! Из клади Натахино платье тайком уволок, переоделся и вроде бабы всех встречает. У него уж и варя готова, только садись да ешь. Веселья тут было... Они ведь все, Петенбурги, первые на деревне щеканы-говоруны. Тот же Мартын было подсмеялся над Тяпуевым. Шел по деревне, видит: под забором, значит, валяется распьянцовская душа Сима Капшаков — тот и не просыхал никогда, там и спал, где сон застигнет. Видно, кто-то для смеху жердиной сверху пригрузил, чтобы ветром Симу не сдуло иль не наступил кто. Ну Мартын зашел в сельсовет и говорит Ване Тяпуеву: «Ваня, чего у тебя нищета под гнетом лежит?» Все, кто был там, со смеху пали... За свой язык и отстрадал, наверное, Мартын Конович. Уж больно прямой был. А прямых завсе ломают.

7

Они столкнулись нос к носу; если бы Мартын Петенбург чуть загодя его увидел, то отвернул бы в соседний переулок и задами уволокся как-нибудь на свою поветь. Но тут, занятый своими мыслями, катился Мартын по мосткам, машинально объезжая щели, и спохватился, только когда увидел перед самым носом ноги в светло-

серых штанинах и коричневых сандалетах, ноги, которые суетливо пытались обойти стороной калеку, но отступить прочь с мостков, видно, не хватало решимости, а может, их владельцу мешала гордость, и потому они замялись и застыли, раскинув носки сандалет и чуть скособочившись на задники. Петенбург поднял лицо и в седом благообразном человеке едва признал Ивана Павловича, хотя мысленно подумал сразу, что это он, городской и новый в этих местах человек.

— Извиняйте,— отрубил коротко Мартын, намереваясь толкаться костыльками дальше. Но Иван Павлович уже оправился от смущения, пронизывающие глаза его наполнились тем превосходством, которое обнаруживает в себе порой человек здоровый и при полных телесных достоинствах, когда встречает того, кто не имел этих достоинств от рождения или растерял на длинном жизненном пути.

Иван Павлович свою мягкую интеллигентную ладонь опустил неожиданно на плечо Мартына Петенбурга: ныне это было ему весьма удобно, и даже забылось сразу, что во времена давние был Петенбург «верстой ходячей», а Ваня Тяпуев едва доставал ему до плеча; теперь Иван Павлович оформился телом и даже стал выглядеть человеком роста почти среднего, да и Мартын укоротился вдвое и едва доставал до груди бывшему милиционеру. Иван Павлович прочувствовал свое нынешнее состояние, а потому как он еще ни разу не видел Петенбурга ополовиненным, то и невольно услыхал в себе спокойную жалость, которая и заглушила в нем давнюю ревностную ущемленность. Они встретились однажды сразу же после войны; иль только что прошедшая война была тому причиной, иль полный иконостас орденов, но только Тяпуев, глядя на ордена Петенбурга и перебирая их откровенно-завистливым взглядом, объяснился настолько честно, насколько позволяла его изворотливая натура: «Я был молод и дитя в ту пору...»

— Мартын Конович, вы ли это? — откровенно удивился Иван Павлович и плотно сжал ладонью костлявое плечо старика. Мартын сразу всполошился в душе, не ожидая такого быстрого признания, сам-то он был готов миновать Тяпуева неузнанным и ехать по мосткам дальше, но это приветствие смутило Петенбурга, и он

растерялся, как теряется душевно открытый человек. Все так же молча, с полуоткрытым ртом вглядывался Петенбург в Ваню Соска и, рассмотрев его усталое лицо с рытыми морщинами у рта, подумал с внезапной радостью, что и этого жестокого человека коснулись годы. Вот и он тоже стар, и глаза в частой сетке морщин выглядят промытыми речными камешками, в которых до резкости видна каждая прожилка; они еще ясны, эти глаза, но уже в прозелени век, глянцевитости щек и дряблости шеи проглядывает неизбежная смерть. Этот человек тоже скоро умрет, так стоит ли убиваться по нем, мучить себя, держать на него душу — быть может, жизнь прокатилась и по нему, и он сам нынче травит себя воспоминаниями?..

— Мартын Конович, как же это, а? Мартын Конович...— и он снова потрепал Петенбурга по плечу.— Судьба, такое вот дело. Ну здравствуй, что ли, злой человек. Небось, прежнее зло на меня таишь?

— Брось, брось, с чего взял?— глухо возразил Петенбург, ненавидя себя за эту лживую увертливость, но и прежнего гнева и презрения он не мог пробудить в себе, и оттого терялся и не знал, как поступить и что сказать.— Падла ты был вертучая. Дак то ране, а тепершнего Ваню Соска я не знаю.

Иван Павлович проглотил ругательные слова, сделал вид, будто не расслышал их.

— Кто не ошибался тогда? Поболе моего ошибались. А я от имени народа исполнял. Ты слышь, от имени народа. Время-то какое было, время-то какое!— жалобно воскликнул Тяпуев, неожиданно теряя постоянную холодность и волнуясь душой, потому что вдруг так захотелось, чтобы его уважительно и без долгих объяснений поняли.

— А ты за себя ответь,— буркнул Петенбург, не отрывая взгляда от выцветших расхлябанных мостков.

— А я душою не покривил. Ты сам знаешь, я подлости не терплю. Хлеба крохи за жизнь изо рта чужого не вырвал. Ведь сколько лет над областью по торговле стоял. Уж, кажется, все в руках, все при себе было...

— Чего ты вдруг рассыпался?— перебил его Мартын, но Иван Павлович, нервно возбужденный, не слыхал посторонних слов.

— Забыть пора, ты знаешь, пора забыть. Я так всем

и говорю: пора забыть. Золотое дно — наша земля, золотое дно. Чего только и нет в ней. Жить бы да жить,— торопливо, будто побаиваясь, что перебьют снова, частил Тяпуев, становясь прежним Ваней Соском. И Мартын, рассмотрев в постаревшем человеке прежнего Ваньшу, почему-то успокоился.

— Ну дак здорово тогда. Забористо ты говоришь. А привычку все не оставил, губу-то, глянь, как высосал. Большой ведь. — Мартын протянул жесткую, как дресва, ладонь и, здороваясь, поймал мягкие, ускользающие пальцы Ивана Павловича, сжал их посильнее, становясь на время молодым Петенбургом, а вглядевшись в пронзительно неприятные, прежние глаза, которые не старели с годами, он с тайной усмешкой отыскал в них наплывающую боль. Мартын жал податливую ладонь, как выжимают белье — навыверт, но Иван Павлович крепился, улыбаясь и тая в себе заново вспыхнувшую ненависть, и только глаза его тускнели и сами собой мутились от боли, становясь обыкновенными старческими глазами.— Ну дак здорово, коли не шутишь,— снова повторил Петенбург и потянул, озорничая, выжатую ладонь на себя, и Ваня Сосок покоренно поклонился в пояс гордому старику.

— Вот так-то,— по-детски удовлетворенно сказал Мартын Петенбург и, не зная, что еще добавить, замешкался, заерзал на мостках вместе с тележкой, а Иван Павлович тряс раздавленной ладонью, сдерживая в себе нетерпимый гнев и улыбаясь прежней улыбкой, вернее жалкой тенью ее.— Ну дак прощай,— буркнул безногий, устыдясь своей ребячьей выходки, но и довольный ею: этой причиненной малой болью он как бы прощал давнего недруга.

Петенбург покатил по мосткам, равномерно толкаясь костыльками, и седая голова его с упрямой копной волос бычилась над приподнятыми костистыми плечами.

— Ну и зараза же!— запоздало выругался Тяпуев.— Живут же такие на свете.

Он плюнул вдогонку Петенбургу и, мысленно матерясь, пошел прочь.

8

Галька Селиверстова летела по деревне легкая, как одуванчик, в цветастом легкомысленном платьишке с клеенчатым поясом в добрую мужскую ладонь шириной, кольчатые рыжие волосики обсыпали скуластое личико, глаза распахнуты, полны неясным величием и готовы прострелить встречного, прободать насквозь, если попадется он и не уступит дорогу. Но пуста была Вазица, пуста, как школьный коридор во время летних каникул, только легкий ветер полдник дул наискосок, мягко обвеивая щеку и задирая колечки волос на остренький независимый носик, и никто не встретился Гальке до самого низа деревни, кроме сопливой пацанвы. А на окраине девчонка понуро постояла, обвисая худеньким телом и внезапно почувствовав свою некрасивость, и, подавляя приступившие слезы, пошла обратно домой, устало подволакивая ноги в тяжелых, на солдатскую колодку кроенных, но модных ныне туфлях.

— Собираю манатки и еду. Тут от тоски подохнешь,— сразу объявила она матери, однако боязливо пряча глаза в сторону и мельком подмечая, нет ли рядом отца: он-то не поглядит, что дочь на выданьи, еще может и платье заголить и трепки хорошей дать.

— Ты что, Галина, иль не по душе наше житье? Быстро же отвыкла в городе. Училище-то кончишь, в такую же деревню пошлют, а то и хуже,— одернула Анисья дочь, шмыгнула остреньким носиком, и скуластое, зырянского покроя лицо ее сморщилось, стало совсем старым и некрасивым.— Отца-то хоть бы пожалела, коли меня не любишь. Так ли ждал тебя, так ли ждал, а ты в дом, да сразу и прочь.

— Не уговаривай. Посмотрела на вас и хватит,— отрезала Галька, капризно поджимая губы и приникая к окну: в его проеме лежала одинокая улица, присыпанная свежей песчаной пылью, а внизу ее, словно бы штора из клеенки, висело сизое марево, порой колыхалось оно и выстреливало клубами тумана. От этой одинокости девчонке стало еще хуже, и она готова была прослезиться, до печали жалея себя.— Как на острове диком. И всю жизнь так,— невольно добавила она вполголоса, не думая, что мать расслышит ее слова, и сразу заведется со своей говорильней.

— А мы тут всю жизнь, да. А мы всю жизнь,— сразу монотонно подхватилась к дочерним словам Анисья.— И никакой тоски, господи. Да какое веселье еще для жизни нужно? За работу бы какую взялась, вот и веселье. Хоть бы матери чем помогла. Вбила себе в голову. Ту-ту-ту... Ей бы только вылетывать да ногами взлягивать, а к рукам ничего не ульнет. Как замуж-то пойдешь? Ведь ничего не можешь. Муж-от сразу в шеи вытолкает, скажет, не нужна мне такая растутыра. Оттого нынче долго и жить не могут: сойдутся, неделю поживут, сладкое разлижут да и разлетятся.

— Мама, замолчи же, наконец...

— А чего я такого сказала? Растутыра и есть. Ни зашить, ни обеда сварить, ни обласкать вовремя. Больно грамотны пошли, много грамоты дадено, только жить не умеете. А мы-то, дуры, убивались, нам не до грамоты было.— Анисья всхлипнула, утираясь передником, села в красный угол, косо подглядывая за дочерью розовыми от слез глазами.

— Ну что ты, мама,— стронулось у Гальки сердце, по-бабьи покатилось к горлу, и вся настырность на время притухла. Прижалась к матери, к ее простоволосой голове, сразу согрелась, услышала, как чья-то слеза, то ли своя, то ли материнская, щекотно скатилась по щеке.

— Ты-то уж того не переживешь, чего я пережила. И не приведи господь такого хлебнуть. Муж-от первый, Клавдеюшко, отец Германа, да Симы, да Владимира, на войну-то пошел, да... Забрали Клавдеюшку на войну, Герману-то третий месяц пошел. Он меня вычукал, до девяти лет сосал, такой молочный был. У титьки вырос, вот и мордастенький. А кормить троих чем ли надо. И на ледоколе не уйдешь — грудной тормошит, надолго не кинешь. А тут назначили на Кеды на кустарный промысел семь человек и меня средь их. Пробежали мы в море, на живой лед кинулись, только трещит кругом. Нас пятеро побежало: две женщины, два мужика, да мальчонка-недоросток. Один в малице, другой в шубе, а мы, женочонки-колотухи, в фуфаечках.— Анисья опять всхлипнула, не в силах удержать слезу, и сразу рассмеялась:— Ой-ой, совсем уплыла.— Нервно прижалась к дочери, обласкивая девчоночью худобу: ведь поздняя девка, нежданная, и оттого вдвойне родная.

— Вот как вспомню, так и заплачу, зареву-зареву. А потом и смеюсь, как дура. Уж какой раз вспомню, а все плачу.

— А ты не вспоминай,— робко посоветовала Галька, с жалостью вглядываясь в материно лицо и открывая неожиданно для себя, как постарела мать. Всё вроде бы щеки были тугие, как репа, а тут одрябли, посунулись к носу, вот что значит зубы вовсе растерять.

— Ну как не вспомнить, такое-то пережили. На нашу молодость все пало... Да, побежали мы за тюленем, а я впервой на море, еще ничего не знаю. А вода идет по часам и, пока прибылая, к берегу лед пехает. За это время надо и в море сбегать, и зверя найти да убить, и успеть на берег его достать, а иначе лед на отливе пойдет в унос от горы и утянет в море. Мало ли наших мужиков так погибало. Уйдут за зверем да чуть замешкают, а обратно уж и не дождутся их... Вот мы в угаре таком и опоздали уйти со льда, да и ветер, как назло, подул с горы о ту пору. Вот нас и понесло в открытое море. И берег виден, люди чернеют там, а мы уж ничего поделать не можем. Спрятались на льдине в затулье, а меня слезы одолили. Сашка-бригадир утешает: «Не плачь, вода куда ли принесет». А мне детишек своих жалко, а ну как осиротеют... Долго ли коротко колеем в море, вдруг видим лодку. Шла она с кладью от Канина и только случайно на нас наткнулась, а то бы помирать нам с голоду и от стужи...

А когда унести нас, перед тем я во снях видела столько ягоды сихи, и будто собирала ягоды и черный плат с головы утеряла. И сказала свекру: «Такой страшный сон видела, наверно, окупаюсь». И как сон в руку положило. Домой-то прибрела, тюленя приволокла, детей-то кормить надо. А свекор со свекровью на меня не глядят, у старухи глаза вытекли. У меня сердце и упало. Ой, говорю, не томите, ради бога, не с Клавдием ли что случилось. А они мне и подают похоронку. Ой-ой... Не выпивал, не куривал, такой спокойный был, а на войну угодил, да там и остался...

Мне пятнадцать годков было, как Мартына-то за́брали. Клавдий сказывал, говорит, с кузни иду, а Мартын Конович навстречу пался, ведут его на судно. Только шапку снял да и поклонился. Думали, насовсем увезли, положит косточки во чужой земле, а он

вдруг в орденах ворочается, порато раненый, правда, но на своих ногах. А потом, как заболел, как заболел, я все ему выпевала: «Мартынушко, не напрягайся, случится с тобой какое ли худо». А он все смеется, усы-то котовьи пушит: «Хуже, что было, уж не случится». Мы тогда как-то живо сошлись с ним, мне-то притулье за ним, радости-то было, осподи, с троима ребятишками взял. Своего парня хотел, да все не получалось как-то. Потом уж ты, Галюшка, родилась, господь подсобил, вот какое дело... Болтуха, да? Мати твоя, как начнет болтать, так не остановишь.

— Нет, нет, что ты, мамушка...

— А я Мартына Коновича и до того знавала, да разве могла подумать, что в женах за ним побываю. Мне тринадцать годочков было; прибежит, бывало, развита голова, его так и звали промеж собой — «развита голова», уж все-то знал. Прибежит, у печки на корточки притулится, такая уж привычка была, матерь мою на работу спроваживает: «Ты, Олимпиада, поди,— скажет,— ты потерпи только. А мы потом вам такую жизнь устроим...»

Анисья споткнулась, потому что въехал в полую дверь муж, заговорщицки подмигнула дочери, мол, после что-нибудь интересное доскажу, сразу забегала у печи, сряжая обед на стол. Но Мартын от еды отказался, словно затаился на березовой колоде в углу. Анисья сразу уловила, что Петенбург пьян, потому перечить не стала, А муж долго вертел в руках мятый туес, бронзовый от старости, стучал по днищу кулаком, а потом с размаху закинул за печь, и было слышно, как берестяная пустая посудина болталась в углах, брякаясь о стенки.

Вдруг Петенбург скрипнул зубами и тяжко, с внутренним стоном вздохнул, словно крепил в себе напористую, выжигающую нутро слезу. Потом снова, уже размягченно вздохнул и отрывисто вскрикнул:

— «Море, море колышит, море меня не слышит. Море горя не знает, море всех принимает...»— Вдруг замолчал, тряхнул тяжелой головой и снова затянул:— «Как в бабы-то вам хочется, как в девках вам не можется. С той дикой-то охоты и лезут обормоты».

— Чего-то опять мелет,— шепнула Анисья дочери, а вслух, в полный голос сказала.— Тепере дедка-то на-

шего и в Америке знают. Как не знать-то, его туеса да коробья, и туда на выставку ездили.

Обычно при этих словах Петенбург, когда был слегка захмелен, сразу как бы возвышался и распрямлялся, становился корпусней; закидывая лохматый кочан головы, пушил усы и стрелял по сторонам просветленным взглядом: вот, мол, каков я, обо мне весь мир услышал, не глядите, что я только половина человека. Но сегодня Мартын только тяжко вздохнул, перебирая закаменевшими ладонями нежные крапчатые бересты. А жена не отставала:

— С города приехали было, в шутку пристали: сделай да сделай туес. А ему чего, он и сделал. И нынче вот в Японию опять поехало наше туесье. Осподи, люди-то с ума сходят. То ногами пинают, то вновь поднимают. Давно ли, на моих годах было, иконы-то кострами жгли, ребятишки с ледяных горок ездили дак под задницу клали, а нынче говорят — искусство. Все чердаки облазили, всё ищут, мешками увозят в города, посылками напосылаться не можем. Вот и дедко наш через то туесье знаменитостью стал. Про то, как колхоз становил да про прежнюю жизнь, никто толком не спросит. Им бы только прялки да скалки... Тебе люди-то в ножки должны пасть за такую жизнь, слышь, дедко?— вдруг сказала Анисья с надрывом в голосе.— Голубиная душа у тебя.

— Не болтай, бабка, — неожиданно трезво остановил Мартын.

— Да ну тебя... Я что, неправду сказала?

— Ну пошто... Вот опять просят двадцать туесьев. Нарасхват берут, а я уж не могу, как прежде, сила не та. Вот надо было весной в леси попасть, а я не успел...

В июне, дней за десять до петрова дня, когда береза сочна и пушится листом, и воздух начинает калиться солнцем, и овод-нуда летает по заберегам и в тенистых местах, Петенбург спускает лодку и рекой Вазицей поднимается на пятнадцать километров вверх мимо молчаливой и хмурой еры.* Минует он и болотину, где береза крива стволом, и ищет боровинку, сухой угор-материк: там береза чиста своими одеждами и

* Ера — мелкий тундровый кустарник.

игла редко пятнит бересту — там и рубит он дерево на уровне груди, валит его. А потом начинает с вершины рябиновым щупом пробираться под берестяной одеждой — «щучить», что значит отделять от тверди, затем ремнем в два ряда осторожно обнимает дерево и сдвигает бересту: крутит-вертит на себя ременным воротом, как кольцо обручальное снимает или кожицу для свистульки. Трудная эта работа и долгая: тут и терпение нужно, и знание дерева. А как снимется береста, то похожа она на ведро без днища — дуплё, значит. А порой снимает Мартын таких берестяных рубашек до двадцати с одного дерева, на котором тычинок мало и нет сука-полусука.

— Куда тебе попадать!— возразила Анисья.— Через то ноги вередишь постоянно, досади́шь. Больше отрезать не у чего стало. Сидел бы дома, дак и поныне с ногами бы был. И люди тоже, досадливы эки, пристанут к человеку: то дай, это сделай. Не видят, что больнёй...

— Да не нуди ты! Пристала,— резко, но без гнева в голосе окрикнул Петенбург.— Как комар, зу-зу — нудит и нудит. Мне в чем ли отдох нужен? Почему вы все меня притесняете, почему?— снова выкрикнул со слезой в голосе и отвернулся к печи, пряча в ладони лицо. Анисья не ожидала от старика такого горя, ошарашенно запнулась, не зная, что сказать.

— Ну бог с тобой... Экий ты, господи. Как малой. Дак кто тебя притесняет? Чего опять надумал? Ну уймись, прошу тебя. Молчу, молчу... Слышь, дедко, Ивана-то Павловича видал, нет?— не утерпела все-таки и спросила Анисья.— Королем по деревне прохаживается. Бабы сказывают, приехал вроде бы скот пересчитывать.

9

«...Жестче, бы надо, пожестче с людьми. Они добра не помнят, они только зло помнят»,— думал Иван Павлович Тяпуев, сидя в боковушке у троюродного брата. Отчего-то вспомнился Мартын Петенбург, его полные густого синего мрака глазницы, суровость в запрокинутом лице... «Разве такой что забудет? Забудет ли?.. А я вот на пенсии ныне, развалиной стал. Можно сказать,

жизни не пожалел на работу, а меня на пенсию скорее сплавили, умыли руки, так сказать. Подлости не терплю, такое вот дело. За спиной — ширк-ширк, быстро устряпали, гляжу — приказ. Все нужен был: только Иван Павлович да Иван Павлович, в глаза заглядывали. А нынче живо на пенсию».

И, движимый глухим раздражением ко всему на свете и жалостью к себе, Иван Павлович все же полез в чемодан, и жирный загривок малиново надулся, когда, опустившись на колени, разбирал пожитки. На самом дне лежала кожаная папка с дарственной надписью: «За выдающиеся заслуги в деле потребкооперации и в день пятидесятилетия от сослуживцев». Иван Павлович погладил папку, и кожа (наверное, искусственная — разве нынче телячьей обтянут? А вообще-то, черт знает какой животиной кроют...) прохладно прилипла к ладони, запечатлев ее потный тусклый след, и сразу легкое удовольствие колыхнулось в душе. Подумалось: «И мы пахали, на чердаках не отсиживались, в замыкающих не шли, с ноги не сбивались и общую песню не портили».

Иван Павлович развязал шелковые тесемки, достал из папки толстую тетрадь в зеленом обтерханном покрытии; чувствовалось по залоснившимся коркам, что тетрадь старинная, еще довоенная, нынче таких не выпускают; а сверху ровно, без нажима, с игривыми завитушками выписано в два цвета: «Проба пера. Заведена мною тридцатого января 1930 года». На первых страницах чисто подклеены пожелтевшие селькоровские заметки из уездной и краевой газет. Мать, бывало, всегда скрипела: «Ложись давай спать. Хватит карасин жгать».— «Не «жгать», а «жечь» — будет правильней», — поправлял сын. — «Ну все одно — жгать. Карасин даром не дают. Вот уж схлопочешь за писанину, вот уж схлопочешь».

Дальше в тетради был пропуск, оставлен лист чистой бумаги, даже в то трудное время не пожалел странички, с обратной стороны ее теми же завитушками прописано: «Моя жизнь» (поэма)». Сверху на странице дырка, когда писал усердно, сронил с пера кляксу, как сегодня помнится,— такая вот мелочевка, а застряла в голове: тогда чернила долго тер слюнявым пальцем и зачищал хлебным мякишем.

«Может, нынче послать куда?— подумал внезапно, внимательно разглядывая тетрадь с сальными пятнами на покрышке.— Неразлучная спутница моя. Может, в музей под стекло, пусть молодое поколение знает, как жили мы, пылали душой.— Но тут же суеверно отказался от этой мысли:— Жизнь не дожита, еще что-то будет, пока жив — пускай со мной ездит, места много не отнимет и руку от тяжести не вырвет».

Иван Павлович снова вернулся к поэме, она была написана карандашом, слова потускнели и кое-где стерлись, но начальные строки выведены особенно старательно сажными чернилами: «Я родился в Вазицы деревни, у самого Белого моря. Отец мой умер от холеры, мать батрачит по найму...» Заметил ошибку, смутился: «Надо будет кой-где поправить, и, вообще, давненько я что-то не брался за перо — все некогда, все некогда... «Я поехал на зверобойку и нажил там килу. Меня вывезли на койку и, подлечив, поставили на читальню-избу...»

Помнится, век не забыть, как на выволочном промысле настиг шторм. Уже зверя набили полные лодки, пора вытягиваться на берег, и тут как навалился ветер-полуночник с восточного края. Мужики сразу: «Спасаться надо, мы не дураки, чтобы за полкило рыбы подыхать». И то сказать, в тридцатом и тридцать первом годах голодуха была и на каждого едока на промысле кидали кормовых на день полкило рыбы. Уж стали шкуры тюленьи вываливать на лед, а Ванька Тяпуев бегает кругом, за руки хватает: «Не позволю, подлости не потерплю. Мужики, вы что, мужики, добро народное губить! Сволочи, прав не имеете таких». Сам неуклюжий, ушастый, впрягся в переднюю лямку, до багровых жгутов напряглись на лице вены, готовые лопнуть. А ветер уж закрутил, понес снежную крупу. Бригадир к Ваньке, стал его из лямки дергать, тот кусаться начал, вопит: «Шкурники, кулачье!». Устыдился бригадир, смущенный и уязвленный Ванькиным упорством, крикнул артельщикам: «Попробуем, мужики, чем бог не шутит!» Дернули лодки с остатками промысла за ближние несяки — наносные ледяные горы, осевшие на отмели, отсюда уж никакая природная сила недостанет. Отдышались, едва поверив в спасение, сразу вспомнилось, что два года назад в этих же местах погинули артель-

щики Мишки Креня, только двое и спаслись тогда... А Ваньша Тяпуев сидел в стороне, посеревший с лица, пусто глядел в снежную колготню и слушал нетерпимую боль в пояснице и пахах...

«Пожалуй, насчет килы неудобно, мало ли у кого чего болит»,— подумал Иван Павлович, перечитывая строки из поэмы и наново припоминая тот суматошный и гибельный день. И действительно привязалась после того хворь, шагу было не ступить, и в армию отставка, а девки на посиделках: «Ой-ой, слышь-ко: у Ваньки Тяпуева кила, его через то и в армию не забирают».

Дальше в поэме несколько страниц совсем потускнели, карандаш поистерся и выцвел. Подумал: надо было раньше хватиться и обвести чернилами. Разобрал лишь: «Только радио пришло в село, стало бабам-девкам житье весело!»

Смех один, если вспомнить, как мужиков облукавил в тот раз. Повесил в избе-читальне черный блин — репродуктор, и когда вся Вазица собралась, объявил: «Сегодня исторический в нашей жизни день, о котором вы будете докладывать потомкам. Москва сейчас говорить будет». Слушали, крестились мужики, но не поверили: «Это вовсе и не радиво, а ты граммофонну пластинку куда-то упрятал».

Услыхал Ваня Тяпуев о затмении луны, принес в избу-читальню часы и объяснил мужикам, что нынче будет затмение и Москва об этом передаст. И только Москва объявила, а луна прятаться стала, он мужикам на часы ткнул: «Разве граммофонная пластинка на часы глядеть может?» И поверила деревня, стали с тех пор говорить люди про Ваню: «Шибко грамотный парень. Хитрого обхитрит».

Поэма была длинная, на тридцати страницах, Иван Павлович пролистнул ее. Ноги отерпли — отсидел на полу,— перешел на кровать, мягко утонул в перине и уже с нежностью и грустью в сердце перекидывал листы, как бы жизнь свою переживал заново.

Дни за днями, год за годом все идет своим путем.
Рыбаки свои путины тоже гонят чередом.
Все путины по порядку: лето, осень и зима.
А о Канине вспомянешь, просто хоть сходи с ума...

«...Да, бывало, на Канин-то пешком. Мы-то, парни да мужики, еще ничего, перетерпим, а девушки-то не

слезами — кровью обливались: пятьсот километров надо до наважьего промысла идти. Дороги нет — тундра; под кустиком пади, но спать не спи, корчужкой останешься. А до реки, до места дойдешь, избушка будто берлога: каменку затопят, лежишь вповалку, голову не поднимешь, чтобы не задохнуться от дыма.

А нынче что: на вертолетиках кинут, живешь на путине, как дома — простыни, одеяла ватные, наволочки, изба теплая, кровати никелированные... Нет, это бы по-другому надо сказать. К примеру, так: «А о Канине вспомянешь, просто радует душа».

Стало замирать у меня нынче это хозяйство, а в смысле стихов была такая у меня башка хорошая. Захочу — стихотворение или два сразу сочиню, быстренько набросаю между делом, мог бы, наверное, хорошую плату получать. А нынче и двух слов не связать, стареть, что ли, стал?»

Иван Павлович вздохнул, осел в перины, устало закрыл глаза. Было душно, просто нечем дышать, знать, где-то вызревала гроза, и тревожное молчание жило кругом, даже слышно было, как в горнице отбивали ходики, и каждый удар походил на щелчок собственного сердца... «Спешить надо, спешить: рано меня списали в расход, я еще покажу, чего стоит Иван Павлович Тяпуев».— Втянул нижнюю губу и зачмокал в задумчивости. Снова отчего-то вспомнилось запрокинутое лицо Мартына Петенбурга, полные синего мрака провалы глазниц, культяпки, обернутые коричневой кожей, примотанные ремнями к тележке, и новое удовольствие от этого видения родилось в сердце и смыло усталость. Погладил обтерханную тетрадь, заново открыл наугад и невольно смутился, прочитав: «Мартын Селиверстов, уличное прозвище Петенбург, двадцать два года, председатель рыбартели «Красный полюс». Надо прощупать его классовое нутро. Вредительски отзывался о массах. Я спросил его, сколько овец в частном пользовании. Он ответил: «Овец нет, остались одни бараны». Интересно, на что он намекает?».

«Пожалуй, эти записи тоже убрать надо, мало ли кто не так прочитает. Всякие люди есть, да и время нынче не то». И чтобы отвлечься от раздумий, не изменяя своей давней привычке, но уже шариковой ручкой сделал Тяпуев пометку для истории: «Встретил Марты-

на Селиверстова, уличное прозвище Петенбург. Старый соратник по строительству социализма. Инвалид войны, человек трудной судьбы, которого воспитала наша Советская власть. Имел с ним доверительный разговор».

«Да, а ту запись надо будет того... Мало ли что могут подумать».

10

И всю-то ночь на тоне Кукушкины слезы парни глаз не сомкнули. Море хлестало грязным своим вехтем в берег, и пушечные раскаты оседали в болотных кочках. Море горело пронзительным белым пламенем и в зыбком непрестанном колыхании таило угрозу и смуту. А в самую полночь из-за Криулина мыса потянуло вдруг лес, неокоренный, строевой как на подбор, бревно к бревну, словно запань прорвало совсем рядом; плыл он густой щелью, закручивая в самую голомень, открытое море, а уже оттуда отдельные хвосты заворачивали к берегу, ныряя сквозь волну еще не посиневшими лбами.

Парни ловушки осмотрели на малой воде, в картишки перекинулись, комаров поразгоняли, потом позевали — скучища, бог ты мой! Сашка уже опрокинулся на нары, смотрел тяжело, едва размыкая веки. Коля База все еще дулся, молча отвернулся к стене. И только Герман сидел истуканом на своей лежанке, чувствуя непонятное беспокойство.

Легли бы пораньше — и проворонили бы ловушку, распинало бы ее, разнесло в клочья и даже на загородку для цыплят не осталось. Но Герман выбегал, не спалось ему, клял ветер вслух, а тот вертелся флюгаркой: то восток, то обедник, то резво опять повернет на сиверик — и не было ему покоя. Затихнет снова, и тогда слышно даже, как по заплескам пробежится голенастая птица-кипитка в черном сюртуке и, часто оборачиваясь и кивая красным кинжальным клювом, вдруг вскрикнет обманчиво и тонко: «Кипит-кипит!» — словно бы очаровывая неподвижного человека и заманивая в рисковый сон. Подбежит и встанет, подбежит и встанет на песчаном зыбуне, пускающем пузыри, но попробуй

шагнуть к птице — и услышишь с внезапным страхом в душе и испугом, как разверзнется под тобой жидкая трясина.

— Эй ты, не вопи, зараза!— досадливо крикнул Герман, замахиваясь на нее пустой рукой, но птица не улетела, а только спряталась за глинистый оползень, выглядывая оттуда игриво и любопытно.

«Снять ловушки иль погодить», — размышлял Герман, все не решаясь покинуть берег — тут советчиков не было, сам и решай,— и, вглядываясь в тускло светящееся ночное пространство, за синюю кромку берега, где сидели на тонях такие же, как и он, добытчики, словно бы силился угадать, а что там творится. И тут же подумал, окидывая прицельным глазом море, что без риска нельзя, никак нельзя, без риска даже ребенка не сотворить. Пола мокра, так и брюхо сыто, еще в старину говаривали: рыба посуху не ходит.

Тут нежданно клубами сизого дыма налетел туман. Только что море ершилось петушиными гребнями и вот сразу скрылось под грязной, тускло отсвечивающей пеленой, и даже собственную вытянутую руку нельзя разглядеть. Туман шевелился, прохладно обтекал лицо, и чудилось, что если шагнуть сейчас в сторону, то можно заблудиться и уж никогда не выйти к избе.

Но вскоре туман так же быстро разбросало, подул порывистый полуночник, ветер с северо-востока, море посивело. И Герман увидел тут, как сквозь волну все чаще проныривали невесть откуда взявшиеся бревна, совершенно новехонький лес. Герман сорвался, побежал к избе, растолкал ребят, уже сладко похрапывающих.

Потом спихнули по каткам карбас, долго заводили его в море, но на россыпи его выкидывало обратно, обкатывая рыбаков волной с головы до ног, или вдруг ставило боком, норовя опрокинуть посудину. Но все же удалось проскочить один вал, потом другой. Сашка спешно наворачивал веслами, вытягивая карбас в голомень.

— Выгребай круче!— заорал Герман, яростно оборачивая задубевшее лицо с внезапно потяжелевшими складками, в глазах его застыло злое упрямство.

— Стягивать будем на берег?— крикнул Коля База. — Вон лесу-то гонит, одни ремки от ловушки соберем.

— Вам бы только стягивать. А ловить когда будем?..

«Дурак. И чего орет?»— вяло подумал Коля База. Тут подошли к ловушке, а в завесках, в сетной стене, уже висели разлапистые коряги, пеньё и сучья, и если бы это были прежние нитки, а не капрон, считай, что уже одни ремки выбирали бы в карбас. А посудину ставило на корму, и Сашка порой невольно хватался за бортовины, чтобы не вывалиться в море, но надо было еще держать карбас носом на волну, тут уж не до раздумий. Коля База цеплялся распяленными ладонями за тетиву, стараясь плотнее прижаться к сетному полотну, а Герман выпутывал кокоры, отгонял бревна, сердито сплевывая горькую слюну и от души матерясь, и его длинные намокшие волосы сейчас походили на мочало, сквозь которое просвечивала розовая младенческая кожа. Герман лишь изредка метал на напарника угрюмые взгляды, табачного цвета глаза его почернели, провалились под тяжелый бугристый лоб.

Мужик разогрелся, волна хлестала по плечам, он слышал эту навалистую тупую силу, а на душе было радостно, что вот он такой, все может и ничего не боится, и не случайно же ему, Герману Селиверстову, доверили тоню. Тут карбас сначала поставило на дыбы, потом резко развернуло вдоль волны, Герман чуть не выпал в морскую кипень и, едва удержавшись на переднем уножье, отсадил начисто ноготь на большом пальце и заорал не столько от боли, сколько от неожиданности:

— Сволочи, заснули? Санатория вам тут? Раскрыли хавалки!

Карбас прижало к кутовому колу, где вода завивалась воронками и, казалось, втягивала в себя. Герман огляделся: вблизи море было чистым, значит, можно и отдохнуть, и, удерживаясь за тетиву, незаметно успокоился, очарованно вглядываясь в пенистую воду и обтирая о куртку кровянившийся палец... «Мишка-то Чуркин тут потонул,— неожиданно подумал он.— А диво ли угодить в экую прорву? Да если плавать, как утюг, так в самую пору гибель». Помыслилось с внезапным страхом, что и он не умеет плавать, и сразу представил до озноба в спине, как висит на кутовом коле и волна заглатывает его, обволакивая и закручивая в себя.

...Да, тогда он появился на тоне по дороге с болота; мати привязалась: «Сбегони за морошкой, нечего брандахлыстить, собак по деревне гонять, корзинку домой принесешь — все польза, можно варенья на зиму сварить». Отнекался бы, не пошел: бабье это дело — ягоды на болоте скоркать, но тут вспомнил, что рядом тоня Кукушкины слезы, там дядя Миша Чуркин за старшего, значит, есть где передохнуть, рыбаки ухой накормят, а много ли пацану надо? У них вместе с ухой можно и ложку заглонуть — такая вкуснятина, ведь такой ухи мати дома не сготовит, а после еще чаем сверху пригрузить, таково ли хорошо!

Ягоды было внавал, полкорзины надоил, на большее терпения не хватило, поспешил на берег к избе, ткнулся в двери и только тут заметил, что закрыто, значит, хозяева в отлучке. А где им быть? Иль в деревне, если ловушка на берегу, иль в море. А тут вдруг зайцем промчался мимо помощник звеньевого Санаха Коткин — бежит, глаза на пустом месте, промчался прямиком в тундру и вскоре присел там, затаился. Пожал плечами Герка, предположил, что живот схватило, так эка невидаль, с кем не случалось, может, морошки обожрался, такой тоже навальный на еду парень.

Герка на берег выметнулся, видит: карбас волною на отмели пружит, а море кипит — страх божий, светопреставление, ад кромешный,— не дай господи, попасть в экую непогоду вдали от берега. Ткнулся Герка глазами в море: тут на миг волна опала, море обмякло, и увидел парень, что на кутовом коле что-то висит. Всетаки далеконько, да в такое непогодье и не разглядишь так просто. Тонко-тонко кричало это «что-то», было вроде сирены с короткими всхлипами, когда заливало водой. Только тут дошло: дядя Миша Чуркин там. Заорал Герка, забегая в волну по самую грудь: «Дяденька Миша!» Кричал, словно криком помочь мог. Схватился за карбас, пробовал столкнуть, да только где там: полон воды он, закидан песком по самые скамейки. Выскочил в гору, лихорадочно и бестолково звал: «Са-на-ха, дядя Миша там! Ты че-о-о, о... я-а?» Снова метнулся к воде и уже не разглядел ни запрокинутой головы, ни обтянутых усильем рук — пустынно было море, даже кутовой кол обломило и выкинуло волной. И никто тогда не узнал, как погиб Миша Чуркин: Гер-

ка молчал, и Санаха молчал. Тот вскоре в Атлантику ушел, но лет через пять, наверное, снова на тоню сел — уж что его сюда приманило? А после и сгинул непутево так...

*
* *

Море под утро так же неожиданно стихло. С нытьем в пояснице, мокрые с ног до головы — нитки сухой нет — вышли парни на берег, якорь занесли повыше, но карбас вытаскивать уж не было сил. Напились холодного чаю, опрокинулись на нары и забылись сном, бесчувственным и здоровым, после которого возвращаешься к жизни как бы из небытия, с легкой ломотой в плечах и желанием плотно поесть. Но выспать свое не пришлось: прошел трактор по берегу и оставил у тони гостей незваных — Гришу Таранина и Ивана Павловича Тяпуева. Правда, незваный гость хуже татарина, но и погнать вон — не погонишь, не в обычаях тоньских, потому хоть и со злостью в душе, но поднялись с нар. Герман окунул голову в озерцо, помутил воду, вернулся с багровым румянцем во всю щеку и папиросной затычкой в зубах.

— Как рыба?— деловито спросил Иван Павлович, припоминая, что вроде бы где-то видел этого парня.

— Да ничего, небольшой процент есть... Сашка, заваривай уху. И ты, Никола, помоги парню.— Сам же расселся на лавке, широко разбросав мосластые босые ноги с расплюснутыми пальцами, грязный заплеванный пол не смущал его.

— Грязновато живете, порядка не вижу,— ровным голосом упрекнул Иван Павлович, отыскивая взглядом, куда бы сесть, потом посунулся на уголок нар, придерживая соломенную шляпу на колене. Герман сдержался, еще не зная, как повести себя, на всякий случай крикнул в сени:

— Эй, База, подмети-ка! Развели свинарник,— и виновато пожал плечами, мол, извините, пораспустились, но исправимся.

— В наше время так не жили. Бывало, порядок-то наведешь,— вмешался Гриша Таранин, сияя розовым замоховевшим лицом и похлопывая по острым коленкам; туда-сюда провернулся вьюном по жилью, глянул

в оконце, заплеванное комарами, в запечье, Сашкино одеяльце встряхнул; что-то завхозовское было в каждом его движении.

— Бывало-то, кони по морю ходили, а лодки посуху. Бывало, телегу с хомутом съедали и не давились,— норовисто одернул старика Герман, и что-то небрежно-приятельское появилось в его голосе.— Ты, дедко, давай сиди, сидишь дак. А то мы мигом,— с явной неприязнью сказал он, вглядываясь в шустрого белого старичка с детским румянцем во всю щеку.

«Вот про него-то люди не соврут, что баб насилил. Тихо стелет словом, да подумать не даст. Самому восьмой десяток, а бабу ревнует, как мальчик. Он-то уж здоровья не порастерял, до ста лет доживет»,— думал Герман Селиверстов, не глядя на гостей, упорно ковырялся в столешне отросшим толстым ногтем, порой бросая взгляд в оконце: «Возятся, как у тещи. Скоро — нет там?..»

— Я ведь здесь сиживал, на этой тоне. Давно, правда... Тут после-то Миша Чуркин сидел, дак потонул,— легко балаболил Гриша Таранин, не забывая при этом поудобнее сесть за стол.— Давно свежатинки не ел. Этой рыбы каждый хочет, из-за нее нынче на преступление идут, дорога дак. Вот как все повернулось. Нашу-то уху подсчитать сейчас, дак семьдесят пять рублей встанет. Во как... А мы не жалеем, мы ничего не жалеем.

— Не есть прикажешь?

— Что ты, что ты, Герман, я так, к слову, да. Уж рыбка така деликатна. Ее каждый хочет.— Тут Гриша уловил, что говорит один, и замолчал.

Иван Павлович сидел, обмякнув весь, спустив рыхлый подбородок на воротник коричневой саржевой рубахи, что-то недовольное было во всем поникшем лице и капризном наклоне головы, словно бы человек готовился сказать что-то умное, а ему не давали. И Герману было невесело: голова чугунная от бессонной ночи, позывало улечься на нары и «придавить» часиков пять до самой кроткой воды; ему хотелось забыться, потому что мучительное беспокойство толклось в душе.

Тут прямо на середину пола, почувствовав долгую тишину в избушке, выскочила мышь, быстро заелозила по полу острой мордочкой, напрягая непроницаемо чер-

ные глазки. Герман наклонился и стал тянуть к зверушке ладонь, а мышь зачарованно вилась подле, не ускользая в нору, пока пальцы осторожно не коснулись ее взъерошенного загривка — тут зверушка словно бы очнулась от наваждения, метнулась туда-сюда и скрылась в норе. Сразу нашлась тема для общего разговора, и все встрепенулись и как бы ожили, отгоняя прочь неловкую скованность.

— Развели гнуси, мышеловку надо,— с отвращением сказал Иван Павлович.

— Загрызут ведь. У нас когда-то в амбаре парнишку загрызли крысы. Долго ли им. Отец его наказал, значит, закрыл в амбаре, думал, пусть повинится. Да и на ночь оставил. Утром пришел, а он уж...— откликнулся готовно Гриша Таранин. Светлые дробинки глаз налились пугливым восторгом и задрожали, и весь вид старика говорил: «Надо же, а! И чего только не творится на белом свете...»

— У нас на корабле-то, бывало, крысы стучат по подволоке, когтями по-худящему стучат над головой. Будто на лошадях едут, так стучат по железу,— поддержал разговор и Герман.— А эту мышь мы приручим, будет по канату ходить.

— И чего только нынь не приручают. Деньги-то как ли надо получать...— вздохнул Гриша.

— У нас на флоте, когда я служил, завелся медвежонок,— оживился Герман.— Пока маленький был, дак терпели, а потом баловать стал. Такой зверина вымахал. Ну однажды с судна сбежал в порт и выпугал всех. Командование постановило — пристрелить. И никто не берется. А один офицер нашелся, увел медвежонка в сопку и пристрелил. Мясо сварили на обед, и матросы отказались есть это мясо. Да... И прозвали того офицера Дантесом. Пришлось ему переводиться на другой флот. Житья не стало.

— Дураки дак,— весело откликнулся Гриша.— При сполнении служебных обязанностей. Мало ли чего не приходится делать. Служба ведь.

— Служба, служба,— снова раздражаясь, грубо оборвал Герман.— Отпустили бы куда иль в зверинец.

— Мя́са ведь... Чего задарма его спускать, понимаешь. Поди стрельни такого в леси. Не каждый решится, а мяса, поди, пудов десять было.

— Палача всегда боятся и презирают,— вдруг подал голос Иван Павлович.— Боятся и презирают. Вот так-то. А ты — мя-со... Ну где уха-то, подавай! Совсем заморили гостей,— оживился Тяпуев. И словно бы в ответ распахнулась дверь, и с большой голубой миской, наполненной с краями, показался Коля База. Легким парком обволокло уху, она золотилась жиром и густо колыхалась, пуская замирающие пузырьки.

— Этой рыбки каждый хочет. Иван Павлович, покушайте,— пригласил Герман городского гостя, а на Гришу и не взглянул, словно того и не было рядом. «Дома наестся, небось уже бочки наворовал,— подумал вскользь.— Бывало, когда в правленьи сидел, так до новой рыбы семга безвыводно жила на столе... А гость городской не частый гость в наших краях, как тут не пригласить... А зло его пусть при нем будет, оно нас не касается, да и было ли оно? Мало ли чего люди накладут на человека, всякого дерьма, да сколько и завидуют, поди проверь сейчас. И время какое было... А если отчима сослали, дак и сам, поди, в чем виновен был. И поныне никогда первым не уступит, уж головы не склонит и мать-то на побегушках держит».

— Вы кушайте, кушайте...

— Не смею отказаться. Почту за честь, право,— легко склонил голову Иван Павлович и, покряхтывая, присел с краешка стола.

А Гриша Таранин, не ожидая приглашения, уже умостился в самом центре застолья и потянулся за ложкой со словами: «Попробуем свежатинки», но словно бы случайно его ладонь наткнулась на литой локоть Германа Селиверстова и споткнулась. Тяпуев приметил эту немую сценку, едва колыхнул осадистой головой, укоризненно и молча кивнул: мол, что же это, братец, как-то нехорошо поступаешь, зачем старших обижать? А вслух сказал:

— Опускаться-то нельзя, право. До положения свиньи... — и заскоркал ногтем плохо промытую ложку.

— Ку-ку, дядя, как вас там кличут?— выкрикнул по-ребячьи Коля База, сверкая всем набором железных зубов.— Не обижайте нас. Мы ведь обидчивы.

Иван Павлович непонятливо пожал плечами, а Герман напружинился весь, налился удушливой красниной.

— Эй ты, не скотинься!— заорал он на Колю Ба-

зу.— Верно сказали. В грязи зарости готовы. Кушайте, Иван Павлович. И ты, Гриша, спробуй нашей ушицы. Пробуй, пробуй, чего стесняешься.

А Гришу Чирка уже не надо было упрашивать, у него только пищало за мохнатыми ушами, и никакой жар ухи не пугал его, словно глотка была луженая, он только шевелил улитками бровей и густо потел. Чудилось, будто с голодного острова явился человек иль запустили его на мгновение сюда с грозной командой наедаться на год, так намолачивал старик, бывший капитан сейнера, наученный долгой жизнью: два раза к столу не приглашают, и лучше переесть, чем недоесть, ибо живот сам лишнего не примет, но от малого затоскует.

— Бутылочкой бы закусить,— примирительно сказал Коля База, лениво волоча к себе ложку и намекая на что-то.

— Не трави душу...

— На той неделе я хорошо побалдел. Напился, и даже на столе осталось,— все не останавливался Коля База, намекая взглядом, что в избе гости, а они пустыми не могли прийти, уж четвертиночка да припрятана за пазухой: все хоть для аппетита размочить язык. Но Коля База был еще наивен и молод, он мерял людей по своей распахнутой душе: если гость в доме, то накорми его до отвала и вином напои, чтобы в застолье свалился; сам в гости отправился — прихвати гостинцем бутылочку, она не заржавеет, не загусеет, да и нечего дармоедом на чужую шею садиться, ведь люди не каждый день при деньгах, а ради гостя будут стараться и входить в затруднения, так зачем их заставлять тревожиться, да и самому страдать от неловкости, если можно запастись напитком. Так обычно поступал Коля База.

Но здесь получилось иначе: Гриша Чирок подумал было прихватить четвертиночку, но тут же решил, что пенсионными деньгами грех разбрасываться, а Иван Павлович — гость городской, он-то уж всяко при деньгах, не с наше получает, да и привальное должон бы поставить — неужели зажмется мужик? Но Иван Павлович, отправляясь на тоню, вслух рассудил иначе: «Идем на производство, никаких магазинов. Нечего людей спаивать». Сказал — словно поймал Гришины

тайные мысли и негромкие желания, а тот даже изумился про себя: «Ну и жмот ты, Ванька, выкрутился, да еще и сыграл!» А вслух, однако, сказал смиренно: «Так-так, одерьгивать себя надо, не попускать. А то нынче без водки рядом не сядут».

— Тебе бы только побалдеть да к бабе,— насмешливо намекнул Герман, тайно подумав однако, что гости могли бы на худой конец хоть четвертинку прихватить, не для пьянки, а для знакомства — не обнищали бы,— коли на дальнюю тоню отправились. Все Гриша жмет, сквалыга такой.

— А ты чего на меня наступаешь? Ты чего в каждой бочке затычка?— взвился Коля База, целя в звеньевого острым хрящеватым носом.

— Эй, парни, парни, подеретесь еще,— хитро, вроде бы одергивая, но в то же время неприметно раздувая угли, окликнул тенорком старик.— Тут ли драться вам...

— Тоже мне, строит из себя прокурора,— темно ворчал Коля База, вылезая из-за стола и устраиваясь на нарах спиной к гостям.— Ходят тут всякие...

— Ну ты!..

— Хватит, хватит, ребята. Кончайте давайте. Не бабу же вам делить.

И только Иван Павлович не слышал этой перепалки, потому что в голове его жила всего одна постоянная мысль, для которой едва хватало места, до того она была огромна, и когда внезапно приходилось хоть на миг отвлекаться, в висках начинало беспокойно пульсировать и ныть.

— До Келий от вас сколько?— вдруг спросил он, подчиняясь своей мысли.

— Но я же вам говорил, Иван Павлович. Шесть километров, а ежели по реки, то тридцать пять. Так ли, парни?

— Два часа ходу,— согласился Герман.

— Мы тут было ходили,— откликнулся с нар Коля База,— сундук искали, говорят, клад захоронен. Быват, врут все...

Сердце Ивана Павловича мучительно сжалось и стало не более еловой шишки. «Сволочи,— с тоской подумал он,— и тут-то обскакали!»

— Легенды выживших из ума старух,— спокойно,

насколько мог, а он-то уж умел владеть собой, наученный жизнью, сказал Иван Павлович и этим поставил себя выше всех.

— Ну уж не скажите, — заторопился Гриша Таранин.— Уж в колодце — это точно. Наклонишься, а там будто колокол: бень-бень...

— Будто в бочонке-то дубовом десять пудов золота, а спрятана бочка в озере, и цепь на берег идет. Кто цепь ту найдет, тот и золотом владеет,— убежденно сказал Коля База.— Там какая-то графиня иль княгиня петербургская все состояние пожертвовала. В Кельях-то монашенки, бывало, богато жили, а после куда-то все золото подевалось. И никто не знает, куда. Не с собой же увезли. Там где-то.

— А никуда и с золотом,— равнодушно откликнулся Герман, прислушиваясь к ровному гулу моря.— Слава богу, без него жили. Ну обстановку какую завести, еще чего... Я уж и не знаю. А десять-то пудов — куда с има? Не солить же.

Иван Павлович глянул на Германа, как на идиота, страдальчески и недоуменно, и что-то больное мелькнуло в пронзительной пепельности глаз, словно там раздули крошечный желтый огонь. А Герман отвернулся к оконцу величиной не более тетрадного листа, занавеской обмахнул раздавленных комаров и приклеился взглядом к флюгарке, которая вертелась на тонкой шее туда-сюда, готовая обломиться — такой уж нынешним летом непостоянный ветер. Море, покрытое белыми гривами, неторопливо катилось в берег, окружая ловушку косыми гребнями, и где-то — чудилось даже, что под самой избушкой,— громово разрушалось, норовило разнести ее по бревнышку и выкатать в воду. Сашка Таранин тоже отвалился от стола на свои нары, там лежал молчаливо, изредка поглядывая на деда, круглые глаза его лихорадочно блестели в сумрачных провалах, верхняя губа нетерпеливо и капризно вздернулась, обнажив лопатистые зубы. Сашка глядел на деда, но мыслями был где-то в себе. И вдруг, словно очнулся, вздохнул глубоко, достал с полки круглое карманное зеркальце и пристально всмотрелся в его глубину.

— Эй, Санаха, хватит охорашиваться!— насмешливо окликнул Герман. — Здесь тебе не танцульки, а?.. И ты, База, а ну подъем!

Коля База молчаливо поднялся, натянул на голое тело, словно отлитое из бронзы, черный потасканный свитер, оправил на вороте неряшливую копну волос и сразу стал совсем нездешним, не с Зимнего берега: плотно облившие ноги выцветшие брючата, широко поставленные зеленые глаза с грустноватой дурнинкой — по ним-то никогда не узнаешь, о чем каждую минуту думает парень. Он так же молчаливо пошел на выход, покачивая плечами, а тут было сунулся вперед Иван Павлович Тяпуев со своим независимым животиком, но Коля База словно и не заметил его, оттиснул довольно грубо, всем своим видом говоря: «Я вас на выстрел презираю». Бытует же нынче такое странное, но емкое присловье.

Вся «божья» троица, оскальзываясь на глинистой тропинке, спустилась вниз, к морю, а Иван Павлович остался на угоре, и Гриша Таранин крутился подле.

— Дурная нынче молодежь пошла. Никакого тебе уважения к старшим,— мягко посетовал он, оглаживая плечо друга-товарища.

— Раньше надо было воспитывать, когда поперек кровати лежал. А теперь поздно. Пораспустили...

Карбасок нырял на пологой, но грудастой волне, она навалилась на берег пугающе молчаливо, порой скрывая за собой посудину, и хорошо было видно с крутизны, как высоко вздымало на переднем уножье Германа Селиверстова; потом он проваливался в черную зыбистую яму, и белое опушье волн стегало парня по плечам и спине. Но дальше было спокойнее, рыбаки довольно ловко подошли к сетчатому котлу и, глуша колотушкой по пятнистым лбам, вычерпали семгу.

— Мною-то половлено было, ой, половлено,— с неожиданной грустью сказал Гриша.— До шестидесяти лет с моря не ушел. На весновку-то походишь на зверя, берешь продукта всякого на шесть недель, а чтобы лишнего места не занимывало, даже дрова обтесывали — куда без дровец во льдах?— и к бортам приделывали. В двадцать первом, помнится, зажало нас в лед: ни ходу — ни езды, ни тяги — ни ляги, ни на веслах — ни пешком не попасть. А на буксире еще тюленье юрово в двести голов. Уж поболтались тогда...— Румянец как-то слинял, и светлые дробинки глаз покрылись паутиной, а может, море отсвечивало в них — и неожиданно Гри-

ша Таранин стал самим собой, семидесятилетним стариканом.— Я ведь еще с «петуханов», малосильных ботишек, начинал. Руки-ти от морского рассола потрескаются, до крови расседаются, дак куска хлеба не можешь взять, до того болькие станут. Не раз и не два белую смертельную рубаху надевал — в такой переплет попадал, не приведи господь кому. Половлено было рыбки, половлено... А мы и сейчас еще ничего, потопчем землю, а?— притопнул Гриша калошей.— Мы еще и сейчас хоть куда, а?

Но Иван Павлович смолчал, как-то косо дернулся плечом, протер лысину свежим платком, сложенным вчетверо, и, поймав взглядом карбасок, который толкался к берегу, стал тоже спускаться вниз. Он всем своим видом старался не замечать Гришу, держал его на расстоянии, как бы брезгуя этим человеком, но старик не видел этих потуг и куликом строчил возле, снова розовея тугими щеками. Тут послышался надсадистый кашель мотора, и, похожий на жука дровосека, выкатился на лукоморье колхозный трактор, бодро побежал по отливу, печатая рубчатые следы. Тележка за трактором была полна мужиков и парней, расхристанных, в просоленных куртках, стоящих на спине колом; у рыбаков продубленные, чуть припухшие от постоянного ветра лица и сумрачные глаза. Парни, увидев, как сидельцы со стана Кукушкины слезы несут навстречу полную брезентуху семги, а потом и еще одну, и еще, сразу понурились, задымили, пряча глаза, загалдели наперебой, словно перед кем винясь.

— Лесу как из прорвы. Будто где запань прорвало...

— Раз десять за ночь-то выскакивал на берег. Хотел уж было глаза на все это дело закрыть, думал, пронесет.

— Какого черта пронесет! Латай потом...

— А мы всю ночь лес толкали. Таки ко-ко-ры,— вклинился в разговор Герман, и глазки его налились хмельным весельем. Он откинул брезент на дне тележки, увидел одну сморщенную рыбинку.— Экая завалящая, будто на берегу подобрали, — еще пошутил и по одной, словно хвалясь и ехидничая, нарочито медленно выложил свой улов, сверкающий серебром чешуи; некоторые рыбины еще дышали, и болотного цвета глаза не успели потускнеть.

— Пришлось ловушку вытянуть. Такая прорва сору, черно лесу-то,— горевал сиделец с дальней тони.

— А мы всю ночь возились,— тянул свое Герман.

— У вас тоня завсе с рыбой. Давай, Герка, сымай ловушку да поехали в деревню, пока магазин не закрылся,— зазывали парни, уже забывшие неловкость и живущие ожиданием того, как скинут мокрые, задубевшие от соли робы, отогреются на банных полкáх и во всем парадном, принарядившись, пройдутся по деревне, а потом до полуночи с хмельным азартом в глазах будут толкаться возле клуба, взглядом и словом задирая девчат.

Гости уселись: Ивану Павловичу, почтительно потеснившись, уступили место в середке, он огрузнул на куче сетей, пряча глаза под полями соломенной шляпы, а Гриша Таранин приткнулся возле, прямой и сухонький, словно воткнули его.

Но не успел трактор шевельнуть своими резиновыми калошами, как Коля База встрепенулся вдруг, заорал, забегая к кабине:

— Стой, стой, чего говорю!.. Герка, поеду я. Завтра утром обратно. Спусти, прошу тебя.— Он умоляюще глядел в лицо Германа, и что-то такое жалобно-щенячье жило в зеленых глазах, что устоять против этой просьбы было трудно.

Герман помялся, взглянул на небо: оно неожиданно прояснилось, на край горизонта выкатилось караваем солнце, сразу раскатив по морю зыбкий розовый половик, и волна тут же осела, стала положе — знать, погода повернула на лето. Герман и не ожидал подобной просьбы — вот загорелось парню, да и после недавней ссоры захотелось как-то уступить, миром загладить распрю, а потому вдвойне растерялся, да еще из тракторной тележки задорили мужики:

— Ты спусти его, вдвоем управитесь. Чего вам стоит, вон какие кобели... Герка, ты поскорей крестись, нам бы того... успеть надо.

Мужики торопили, погода нарождалась добрая, из-под белой осыпи волос глядели умоляющие зеленые детские глаза Коли Базы, и Герман сдался, махнул рукой, мол, поезжай, дьявол с тобой, и, уже не глядя на трактор, повернул к стану. А следом, сутулясь и по-птичьи подпрыгивая, направился Сашка Таранин.

11

Трактор сломался, не доезжая деревни, и Коля База явился к Зинке под самую ночь, словно снег на голову свалился, какой-то необычно похудевший, с радостным проблеском в глазах. Молча миновал Зинку с невысказанными словами на губах, скинул на столешню намокший солдатский вещмешок и сразу вывалил из него несколько звеньев семги с морошечным просветом на срезе, потускневшем от рассола, а сам так и остался возле стола, охлопывая ладони от чешуи и вытирая их о засаленные брючины. Зинка насторожилась и, невольно пугаясь сердцем, не знала, на что и подумать: ведь Колька нынче должен быть там, на тоне, так какой же леший приволок его сюда на ночь глядя? Она даже поискала глазами сыновей, словно просила у них поддержки — ведь мужики растут, но они сегодня рано набегались, захныкали, и тут же опрокинулись на полати спать, и в одночасье замолкли, утонули в беспамятном сне, беспечно посапывая. Зинка посмотрела на часы, и хотя стрелки отметили десять вечера и магазин, конечно, давно на железном запоре, предложила:

— Может, сбегать?..

Коля База опустил голову. Выпить, ну рюмочкой разговеться ради встречи не прочь был, однако промолчал, отказался, наверное, впервые за много последних лет и сразу загордился, зауважал себя.

— Обойдется, что мы, алкаши какие. А чайком бы обогрелся.

— Ну и ладно. Чай подгорячить у меня найдется на донышке, еще в тот раз не допили. Тряпочкой заткнула, думаю, пускай стоит, места не унесет, вот и пригодилось,— зачастила Зинка, растерянно поглядывая влажными черничинами глаз.— Сполоснулся бы с дороги, а? Запылился весь, зачумелый...

И снова Коля База послушно согласился. Зинка плеснула в таз теплой воды, Коля чего-то стеснялся, может, боясь показать свою худобу, но женщина принудила его, сама стянула обтерханный свитер и кинула его в угол: «Завтра постираю». Шершавыми ладошками обмыла широкие костистые плечи и смуглую спину, порой, будто нечаянно, касалась щекой и, отчего-то замирая и томясь, думала заполошно: «Осподи, до чего

же любой...» Есть на свете любовь-то, есть, вот она: ни по первому ухажеру не страдала, ни по второму, наплыли, как текучая вода, да и сплыли, оставив в душе горькую досаду, а в горнице — двух сыновей; но вот пришло что-то такое, когда и плакать хочется и смеяться одновременно, и, словно бы за ребенком, ухаживать за этим костлявым парнем, у которого вниз по желобку спины струится золотистый доверчивый пушок, и по тонкой шее видишь вдруг, что это и не мужик еще, а ребенок, только для видимости строящий из себя мужика. «Коли бросишь, что ли с собой поделаю. Не жить мне без тебя, а детишек государство прокормит», — думала суматошливо, как о чем-то давно решенном, но вслух нарочито сердито прикрикнула:

— Голову-то помой. Скотинку запустишь — не скоро прочь выгонишь.

— Да ну тебя...

— Ах так, ах так, — быстро выплеснула мутную воду, налила чистой, вцепилась шершавыми от стирки и мытья ладошками в выцветшие хрусткие вихры, потянула к тазу. Коля База упирался, немного стыдясь своей послушливости и в то же время необычно желая ее: ему так хотелось, чтобы Зинка копошилась рядом и, принуждая к мытью, легко оглаживала спину твердыми ладонями.

— Ну чего ты, привязка. Хуже смолы, — для виду сопротивлялся Коля База, но домывался уже охотно, плескаясь и фырча. Потом, посветлевший весь, опустился на лавку, растирая махровым полотенцем грудь. И неожиданно легко кинул слова, которые уже не одну неделю жили на губах.

— Я ведь жениться приехал...

Зинка у шкапа возилась, узенькие плечики ее вздрогнули, но она внешне равнодушным голосом, стараясь не выказать волнения, глухо спросила:

— На ком же, если не секрет?

— А есть тут одна, малехонькая, будто воробей, но больно кулаками молотит.

«Вот и дождалась, — подумала, теряясь. — А может, с горячки он? Ну куда я ему с таким-то приплодом — это же словно в тюрьму его привести. Нет-нет, как ли одна проживу. И одной-то не жить-е-е. — Даже заплакала в душе, молчаливо глотая слезы. — Но и его

в петлю пихаю, это же битва сплошная будет, а не жизнь.»

А вслух глухо сказала, унимая сердце и пряча глаза:

— Ты что, с горы сорвался? Что мне, с тобой в прятки играть? Ты как ветер, ищи тебя. Фыркнул и вон.

— Чего ты, Зина? — растерялся Коля База, глуповато распахивая рот, и железные зубы тускло блестнули.

— А меня-то спросил, меня-то спросил, хо-чу ли я? — вдруг заревела в голос Зинка, уткнулась парню в грудь, залила ее торопливыми слезами. — Ты бы, милушка, меня спросил. Хо-чу ли я, — захлебываясь, бормотала она; ей было неловко прижиматься к Коле, а тот, растерявшись, позабыл подняться, и маленькая женщина скатилась на пол, уткнулась лицом в колени. — Глупая я, правда, дура. Мы, бабы, все дуры. Не знаем сами, чего хотим. Ну не дура ли я? — говорила жарко и торопливо, а Колька задирал голову, как уросливый конь, и чувствовал себя необыкновенно счастливым и успокоенным. Ведь по нему плакали, его любили. И второй раз за вечер он возгордился собой.

— Ты, Зина, на меня надейся. Я знаешь какой...

— Знаю, любимый мой. Мне без тебя не житье.

— И мне...

— Да-да, я нынче глупая. Вот мне бы нынче умереть — и не жаль, кажется, нажилась, всего хорошего от жизни взяла.

— Да хорошее-то впереди только. Ты не мели глупости, — басил Коля База. — А парней на ноги поставим. Завтра в сельсовет, паспорта на стол — я ваша тетя, черви козыри. Чтобы люди языками не точилились. И мать говорит: «Любишь, дак веди...»

— Только бы ты был рядом, — не слушала и слушала Зинка. — Был бы ты рядом... Был бы ты...

И забыли о чае. Коля База подхватил на руки маленькую женщину, понес, словно в зыбке, тихо покачивая, но Зинка выскользнула, счастливо смеясь, и скрылась за дверцей шифоньера. Коля База лежал на кровати, опершись на локти, и томился. И мир опустился на колени, готовый зачарованно и бесстыдно подглядывать за влюбленными; серебристо светились окна, словно осыпанные легкой живой пылью, ровно шумело море, и этот накатный постоянный гул, казалось, плавно раскачивал избу и куда-то тайно увлекал.

— Скоро ты там? — нетерпеливо позвал Коля.

— А ты потерпи, слаже буду...

— С горчинкой вкуснее.

— Разжуешь да и выплюнешь, — задорила Зинка. И вдруг вышла, вся омытая тихим неясным светом. Грудь чуть вздрагивала при ходьбе, и сумеречные тени тепло и вызывающе жили в окружьях живота и бедер, словно отлитых доброй рукой мастера, без единого изъяна и крошечной рыхлинки, будто и не рожала Зинка двоих и впервые стеснительно и чисто открылась чужому жадному взгляду. Но так и было это, так и было: все, что раньше случилось, зимой было, в непогодную темень, без света, на ощупь, словно спешили насладиться грехом и разминуться, а нынче Зинка показывала себя не таясь. Знать, сама природа создавала ее для любви и детей. Но только судьба, наверное, часто сильней природы, раз неизбежный час любви уходит, и незаметно стареет плоть, теряя соки и силы. И могло же случиться так, что доживала бы Зинка век свой соломенной вдовой с двумя сколотными, и порой кто-то, распаленный вином и желанием, тайком от жены пробирался бы на ее двор, и она воровала бы крохи чужого счастья, под утро томясь в одиночестве от нерастраченных сил, и желаний, и слез. Так неужели судьба оказалась так милостива к этой маленькой женщине и миролюбиво согласилась с природой, создавшей ее?..

— Ой, стыдуха-то... Бесстыдная я нынче баба, слышь, Коленька, мальчик мой. Ты не гляди на меня так. — Неслышно ступая робкими ногами, шла через горницу Зинка, стыдливо рдея лицом и сдерживая себя, чтобы не кинуться скорее в постель. Она шла и чувствовала чужим, посторонним взглядом, как красива нынче она, и желанна, и любима, и оттого, пусть стыдясь, но хотела продлить это мгновение и оставить в душе навсегда. Бабий век — куриный век: отрожалась, одрябла, оморщинела. И только воспоминания постоянны до самого смертного часа.

— Ты не гляди так-то...

— Ну как «так-то»? — глухо, словно боясь своего голоса, который казался нарочито громким в густой тишине, спросил Коля База, слыша в себе воспламененную кровь.

— Жадно-то больно, ведь проглотишь...

— И проглочу.

...Опустошенные, они лежали рядом, не спали. Зинкина смоляная голова на сгибе Колькиной руки, чуть покалывала жесткими тяжелыми волосами. «За что же она меня так любит? — думал Коля База, ощущая щекой ее жаркое дыхание. — Парень как парень, ничего особого. И грамотешки семь классов». — «И за что только он меня любит? — думала Зинка. — Глупая баба с двумя сколотышами. Всего и богатства, что добрые титьки да коровий характер, кто поманит, за тем и льну. Не утекло бы счастье, не утекло бы...»

Зинка устало и счастливо смежила веки, гнутые ресницы отбросили густую тень, все лицо ее сразу стало детским и доверчивым, маленький круглый нос вспотел, и на нем проступила роса усталости. Но Коля База не мог уснуть, какое-то смутное беспокойство заставляло его ворочаться на перинах, стало жарко и душно, и уже с внезапным легким раздражением он вглядывался в уставшее Зинкино лицо с испариной на вздернутом носу. Но тут же устыдился своей неприязни и удивился ей, затих и уловил тревожное дыхание моря: даже в избе было слышно, как раскачивалось оно и хлопалось о берег, словно ночной сторож колотил в било и сзывал людей на пожар. Подумал: там где-то парни уродуются, может, ловушку вытягивают на гору, а он тут, как тюлень, развалился, сытый всем до отрыжки. «Но отпустил же Герман, чего тебе надо? — убеждал себя Коля База... — Да и не маленькие, сила есть, управятся, а завтра на тракторе прибуду, как новенький пятак, скажу: — Вот и я, женился, можете поздравить...»

Он повернулся к Зинке с новым нарождающимся чувством, уже представляя себя мужем и большаком в семье, оправил смоляную прядь волос, опавшую на глаза, коснулся губами побледневшей во сне щеки, и волна благодарности и нежности к этой женщине затопила его... «Привески — ладно, как-нибудь вскормим, не без рук, слава богу, не на диком острове живем. А там и свои пойдут вдогонку, весело будет, только поворачивайся. Парня надо, парня... Дом придется капитально обновить. Попрошу у председателя тесу на крышу да досок куба два, обошью стены, заживем, чего еще нам надо. И матери радость — будет кого тетешкать».

Тогда что же ему мешало спокойно сомкнуть глаза, дать покой уставшему и сомлевшему телу, чтобы где-то перед самым утром очнуться со вторыми петухами и с приятным изумлением увидеть возле доверчивую Зинку, украдкой будить ее и любить? Но не было сна, как отрезало, хоть зашивай глаза веретенкой, и непонятное жило в голове беспокойство, и вроде бы беспричинное волнение охватывало...

«Ведь не детский сад, обойдутся. Но, знать, беда там, сердцем чую — беда, — наговаривал Коля и травил себя. — Недаром Кукушкины слезы прозвали, на той тоне всегда черт свои грехи кроет. Вот и Санаха же там сидел — какой год был, дай-ко вспомнить, — а что-то стронулось у него в голове, да с ружьем ушел в лес и боле не вернулся. Месяц искали и не нашли — как в воду канул. Это уж я другой весной отправился на охоту, напрямь тони в березнячок зашел, светлый такой березнячок. Слышу, рябцы завозились, пипикают. Одного и положил... Нагнулся, чтобы поднять, а Санаха-то, будто меня дожидался тут, под березкой и лежит, глянуть страшно — лица уже нет и ружье возле. Вот как блазнит на той тоне, истинно слово — блазнит.

Осторожно, чтобы не потревожить Зинку, сполз с кровати, в одних трусах вышел на взвоз; не видел, что жена (жена, конечно, не минутная забава, иначе как назовешь?) открыла глаза, будто и не спала вовсе, и тревожно взглянула в спину. Хотела окликнуть, да постеснялась: мало ли человек по какой нужде во двор пошел, не провожать же его каждый раз, но снова теперь заснуть не могла. Лежала с закрытыми глазами и ждала, когда заново скрипнет дверь и, крадучись, проберется до кровати Коля; а когда начнет уползать к стенке и нависнет лицом, тут и охнет она тихонько, испугает желанного, и станут они потом долго смеяться вместе и радоваться любви.

Но Коля База стоял на взвозе в одних трусах: до утра было еще далеко, деревенька осела в дреме и влажно почернела. А море угрозливо гнало грязные лохматые валы, и белые космы грив мчались впереди волн, выметывались на берег и громово рассыпались, оставляя после себя студенистые озера пены.

«...Упырь, Герка, ох и упырь. Нет бы, как все. Стянули бы ловушки на берег и в деревне переждали непо-

году. Ведь не пехом тащиться двадцать километров, нынче, слава богу, механизация вмиг отвезет под самые окна. Дак тоже такой пень краснорожий, уж вагой не сдвинешь с места, только чтобы все по-евонному, чтобы по одной струнке ходили, — раздражаясь, думал Коля База, уже во всем виня звеньевого и этим пытаясь снять с души тягость. — Вечно ему больше всех надо. Еще будет рыбы, слава богу, сколько спокойных дней впереди. Пойдет ильинская семга — только лови. Показать себя ему надо, чтобы народ его видел. Ну и пускай уродуется, килу наживает. Только Сашку Таранина жалко — совсем мальчишка. Хоть бы до осени досидеть на тоне, а больше из одной чашки ухи не хлебаем, не-е, тут ты, Герка, как хочешь».

В реке вода шла на убыль, часа через два проступят мели и выстанут наружу тупорылые головни топляков, тогда и лодкой не выйти в море до нового прилива. Рыбозаводская дора рядом с берегом вихлясто поматывала кормой, как блудная сука, причальный конец туго натянулся, и казалось, тюкни тихонько канат — и дору даже без мотора стремительно выбросит в море. Высокая будка, крашенная голубым суриком, торчала на суденке, и оно походило сейчас на те корабли, которые рисуют малыши, воображая себя моряками. В обычное время Коля База и глядеть бы не стал на шаланду, которая бродила до Нижи и подбирала на тонях семгу, а нынче эта посудина заинтересовала и приковала к себе, и до рези в глазах парень вглядывался в черный провал окна в рубке: не замаячит ли там рулевой, а вдруг эта братия решила на ночной воде сняться с якоря, кто их знает, они тут от своего начальства в стороне. Когда-то, еще до армии, Коля База ходил на такой доре помощником механика, колхоз тогда не имел колесного трактора, и два года отстоял парень за штурвалом. Среди ночи подыми, попроси только: «Коля, мил друг, пособи до Золотицы сходить, позарез нужно», — как штык встанет. И в любой туман не споткнется, все подводные корги, каменистые отмели обойдет, а по обстановке и в голомень, открытое море, ударится, потому как эта каботажка, словно тропинка от крыльца до калитки, протоптана с пацаньих лет: сначала ходил в качестве нахлебника, а потом и за старшего на весельном карбасе. Ладони-то поначалу подушками распухнут,

кожа лафтаками слезет, а уж потом только задубеют, тверже доски еловой станут...

И тут представил: «Вот смеху-то будет, когда средь ночи к тоне заверну, скажу: — Здравствуйте, я ваша тетя, Николай Малыгин из увольнения прибыл, замечаний никаких не имел. Айн секунд, — скажу, — личный корабель подан, пра-шу всех занять свои места согласно купленных билетов, и под вашим командованием, товарищ Герман Селиверстов, выруливаем на норд-ост без опознавательных знаков... — А что? Вдруг трактор к утру на колеса не поставят? Ждут ведь ребята. А если пешком двадцать километров — не раньше вечера явлюсь».

Сутолока мыслей была в голове Коли Базы, но беспричинное волнение рассеялось, уступив место бесшабашному веселью, которому с необыкновенной легкостью и отдался тут же парень, не затрудняя себя сомнениями, широко поставленные зеленые глаза налились озорной придурью, и, высоко взлягивая мосластыми ногами, он побежал через поветь, ворвался в горницу и с порога свистящим шепотом доложил спящей Зинке:

— Едем, едем, сей же миг...

Зинкино матовое лицо дрогнуло чуть, голубые тени из подглазий спустились в углы вздернутых губ, но женщина еще упорно крепилась, готовая рассмеяться. Она полагала в простоте душевной, что ее Коленька опять что-то выдумал, такой он чудушко, но убедившись, что она спит, по-ребячьи притихнет и, сопя, полезет крадучись к стенке. А тут она его и выпугает.

— Не спишь, вижу, что не спишь. Зина, вставай, едем в свадебное путешествие.

Подскочил, сдернул с нее одеяло — такой дикарь — и тут же смутился и отступил, увидев ее обнаженное, доверчиво раскрытое тело.

— Ты сдурел, да? Ты сдурел? Отдай живо одеяло! Средь ночи добрых людей с ума сводишь, — испуганно запричитала Зинка, притворяясь обиженной. Она ловила ладонью пустой воздух и оттого еще больше сердилась.

— Ма-ма, — неожиданно всплакнул на кухне Толька, но тут же затих, почмокал губами и довольно засмеялся.

— Вот видишь, и парней-то разбудим. Ну ложись

давай, холодно мне. Слышь, Коля, — жалобно попросила женщина. — Ну не балуй, чего сказала.

— А я говорю — поедем, — не уступал Коля База: уже завелся парень и не было ему сейчас удержа. Если бы Зинка сразу готовно согласилась, он, всего вернее, только бы посмеялся и полез в теплую, обжитую перину — так он рассуждал сейчас, уже мрачный душой и лицом. Но раз она в бутылку полезла, уросить, командовать стала с первого дня их семейной жизни, то надо сразу дать ей укорот, чтобы неповадно было бабе и свою половицу знала — по какой ходить молчком. И Коля База заартачился, королем повернулся по избе, отыскивая одежду, а Зина, закрутившись в одеяла, только печально и тревожно водила глазами и думала: «Осподи, хоть бы не насовсем. Чего он закудесил?»

— Ты скажи толком, Коля, куда меня тянешь середка ночи. Ты чего опять надумал?

— На Кукушкины слезы отвалим, ночь королевская, при полных огнях и фанфарах. Вот чего я хочу, — совсем не мирно ответил Коля База, и женщина ничего не могла понять из его слов.

— Ты из кулька в рогожку не выкручивайся, а скажи прямо. А раз не хочешь объяснять толком, то никуда я с тобой не поеду, вот...

— Уж и разлюбила? — вспылил Коля, кряхтя, натянул резиновые сапоги с отворотами, огладил сухие ляжки. — А я-то думал. Знать, бабий век куриный насчет любви.

Но Зинка уже вскочила с кровати, накинула длинную до пят ночную сорочку, сверху на плечи набросила фуфайку, но Коля База не приглашал ее с собой более, и потому тихой сутулой монашкой она скользнула следом и побежала подле, приноравливаясь к его длинным шагам. Он крутил хрящеватым носом, скалил железные зубы, и такой вот, отчужденный и злой, был не знаком Зине. Говорят, он на деревне выхаживается, но мало ли что люди наплетут, мол, дома спокоя матери от него нет, но и Малаша про сына плохого слова не выложит прилюдно, а если что и вспыхнет меж ними, так своя семья и свой сор. Но тут-то, будто урядник какой, только бы саблю ему. Смотри ты, как нос навострил, под ноги не глянет...

— У меня ведь ребята, куда я их кину? — уже

согласная на все и готовая зареветь, повторяла Зинка. — Ты слышь меня, что ли? Давно ли свадьбой грозился, так уж от ворот поворот? Стешил, значит, охотку и след ровняешь. Так тебя понимать следует? Как подумать об таком? Ты не молчи, Коленька, слышь?

Коля База опустил взгляд сверху вниз, где под его рукой болталась простоволосая Зинкина голова, и ответил обидчиво и глухо:

— А этих слов я тебе до самой смерти не прощу. Попомни.

Так сказал, словно ударил женщину обухом по голове, безжалостно размахнулся, и она споткнулась, сбилась с размашистого шага, но, растерявшись, не заойкала, не завыла слезно, отыскивая попутно самые больные и пакостливые слова, которые способны найти и легко выкинуть в гневе только обиженные женщины, а тихо и удивленно сказала, вернее пропела, заикаясь:

— Ты... за-чем... ме-ня... так... Ко-ля?..

А вода в реке стремительно спадала; пена осела на глинистых берегах иль пропала в море, и сейчас река была прозрачно чиста и слегка припорошена легкой пылью тумана, отчего и близкое дно, и песчаные кручи, и дальний лес казались неприветливо черными и холодными. Устье было рядом, в полукилометре, и видно было, как высоко шли по морю валы, они казались отсюда текучей устрашающей стеной, и странным было, как вся эта масса льдистой воды не обрушивается сюда, чтобы скрыть под собой и болотистый косогор, и сутулую деревеньку за ним, и всю громадную травянистую лайду перед лесом. И вот в эту взбаламученную стену, которая стояла выше их лица, Коленька собирался ехать, а значит, лез на самую погибель, и Зинка схватилась за рукав свитера, который так и не успела простирнуть, и закричала:

— Не пу-щу! Ты слышишь меня? Никуда не пущу!..

— Отстань, — капризно дернулся парень, чувствуя в душе торжество, словно за справедливость шел на плаху; корму посудины оттолкнул багром от глинистого кряжа, под которым даже в жару стояла родниковая глубь, и с одного оборота завел мотор. Знать, сам дьявол был у него в эту минуту помощником, и потому

все ладилось, все кипело в руках. Выбрал причальный конец и, каменея скулами, холодно мерцая глазами, ровно повел дору вниз по реке. А позади, на берегу, стояла, сутулясь, Зинка и никак не могла поверить, что так скоро кончилось ее счастье. Все было сном, и все было во сне, и лишь ветер, набегая порывами, путал в ногах белую ночную сорочку.

Перебор мотора просочился сквозь воду и землю — и утонул. Очертания посудины размылись в лиловой колышащейся стене моря, которая поднималась в небо выше головы, и Зинка, не позволяя себе разрыдаться, пошла в избу, зябко встряхивая плечами.

А белая ночь была на самом изломе, тускло светилась она, словно бы облитая жидким грязноватым стеклом. Коля База вымахнул через крутой сулой, резко переложил штурвал, намереваясь выйти в голомень и срезать этот заливчик к самому зимнегорскому маяку. Парень был злой неизвестно отчего — может, ему нравилось сейчас быть злым — и так же зло цыкал слюной, будто кто рядом стоял, и поглядывал, и удивлялся его смелости.

Черт руку свою наложил на Колю Базу в эту ночь — не иначе, а то бы с чего ему удирать из теплой постели, из объятий маленькой женщины и в одиночку тащиться вдоль берега к дальней тоне? Да еще и неизвестно, будет ли рад Герка, может, на рожон полезет; а если до завтра не вернуть дору, то хватятся искать — и что-то тогда будет, ой-ой, что-то будет... Но и не возвращаться же обратно, да и Зинка вся из себя вырастет, королевой ходить будет. «А мы из крутого теста выпечены, а не из мучной дижини, которая по листу ползет-растекается...»

Хотел Коля База обогнуть Клюев нос, но злость — плохой советчик, и позабыл он, что место это урosливое, капризное: сливаются тут две воды — одна с мурманского берега, а другая — из Белого моря, и с давних времен овеяно это место мрачными повериями. Будто бы жили на этом носу огромные черви и проедали в море суда, и очень много погибало тут рыбаков, по сорок рукавиц с одной руки находили на мысу — столько мужиков успокаивалось здесь навечно без божьего благословения. Но говорят, что после приспособились, стали суда перетягивать низменностью, не огибая мыс, и еще

не столь давно, лет десять назад, были приметны катки, поросшие травой.

Забыл Коля База стариковские поверия и старинное правило из головы выкинул: «На море поехал — нужно знать течение воды и поворот земли, а если моря не знаешь — сам на себя не надейся, за людьми иди». Еще раз положил он штурвал вправо, а волна была саженная, с полуночной стороны шла, и не успел вывернуть дору носом, подставил под удар бортовину и, наполняясь испугом, мгновенно подумал: «Рыб кормить придется, в этих сапожищах из сулоя не выплыть». Так думал, но из последней силы выкручивал штурвал, черпая бортом. И накатный вал, задирая корму в белесое небо, чуть не сунул дору на нос, она изрядно черпнулась — в рубку хлестнул поток воды, толкнув Колю Базу в грудь, и не успело суденко выправиться от встряски, как следующей волной его вышибло на отмель, словно затычку из бражного жбана, и неотвратимо поволокло бортом на берег, опруживая набок и забивая песком...

Колю Базу знобило, нитки сухой не было на нем... Вот тебе и уехал, вот тебе и уплыл, кум королю — сват министру. Сгоряча он еще подскочил к доре, уперся плечом, пробовал столкнуть, но где там, разве трактору лишь под силу спихнуть ее в воду. Очередная волна подмяла парня и разом отрезвила: едва выволок ноги, сел на камень, глядя на лукоморье сухими пустыми глазами.

«Засудят, верняк, засудят. Добаловал», — пронеслось в голове.

Он промахнул песчаную длинную гриву, поросшую жесткой бесцветной травой, выскочил на деревенскую улицу — она была пустынна и ожидающе тиха, — зорче огляделся, не подсматривает ли кто, потом огородами пробрался на Зинкин двор и, приподняв плечом ворота, проник на поветь.

Женщина словно ждала его, и даже сама открыла ему дверь в комнату.

— Ты откуда? — только и спросила Зинка, ничем не выдав своей радости, хотя сердце всполошилось и места ему не хватало в груди, будто тело ее сейчас состояло из одного счастливо дрожащего сердца.

— Из верблюда, — буркнул Коля База, пугливо ози-

раясь на дверь, словно остерегался, а не стоит ли кто за притвором. Зинка села на табурет, окунув в подол ночной рубашки маленькие обветренные ладошки, и уже внимательно вгляделась в подсохшее Колькино лицо.

— Иль стряслось что?

— Ну и стряслось... Хорошо, хоть не потонул...

— Да-да, хорошо, что жив остался, — быстро согласилась Зинка, наблюдая, как зябко, по-воробьиному шевеля шеей, стоит посреди комнаты ее суженый, и словно оторопь сошла с нее, когда увидела растерянные мохнатые глаза с немереной тоской в них, спохватилась, стала по-матерински обхаживать и раздевать парня: сапоги стянула, принесла сухие носки, сама же и растерла мокрые ступни ног.

— Ну а как дале-то будешь? — спросила вроде бы спокойно, не поднимая глаз.

— Упекут, засудят. Поди докажи им, что ты не верблюд...

— А ты повинись. И не то ведь прощают.

— Не-не, срок дадут. За хулиганство отвалят...

— Ну и пусть, и пусть, а я тебя ждать буду. Поди, Коленька, к председателю, повинись. Скажи — черт попутал, трудом грех отмою. Ты ведь так работать можешь...

— Дура, чего мелешь? Дурость-то так и прет! — не сдерживаясь, закричал Коля База, уже готовый ударить Зинку: все она, все она виновата, стервоза, околдовала, заманила к себе, не она, дак сидел бы спокойно на тоне. Бешено мясо жгет, дак околдовала небось. — У-у-у, — замахнулся на маленькую женщину. Но та и глазом не повела, только поскучнела и постарела лицом, ровно сказала:

— Тихо ты, детей-то разбудишь...

— Нагуляла сколотышей. Нагу-ля-ла, думала мною прикрыться?

— Уходи, — едва шевеля губами, попросила Зинка.

— Ты чего, чего ты? — сразу растерялся Коля База.

— Уходи, — нерешительно повторила женщина, еще не готовая распрощаться с любовью.

— Ну, Зина, Зина, ты меня... что ты... ну ударь, а? — прижался сначала неохотно, потом потеплел, чувствуя, как под ладонью слабнет и поддается навстречу ее пле-

чо. — Сволочь я, ну ударь... что ты... не молчи только. Я не понимаю, как это... ну ударь в морду...

Подумал вдруг с пронзительной жалостью к себе: «Ведь одна она у меня, никого боле. Даже мать не поймет, а она поймет. И я ее, как собаку...»

— Зина, Зина, — погладил по голове, по смолевым блестящим волосам. «Наверное, дождевой водой моет,— представилось вскользь, — и сердце защемило от этой милой подробности.— Дурак, господи, какой я дурак!»

— Сбегу я, Зина. Страна родная широка.

— А я?..

— Обживусь, забудется все, и тебя вывезу.

— Ой, не то говоришь! Невелик и грех-то. Ну присудят срок иль денег сколько, дак выплатим вместях.

— Нет, нет, не уговаривай. Ты спрячь меня покудова. Днем-то куда я денусь? — как давно решенное, высказал вслух Коля База, стараясь говорить смиренно, чтобы не вызвать у Зинки гнев. — Мне бы до ночи пересидеть.

И Зина, не скрывая слез, провела парня на чердак, там в углу лежал ворох сена, отвалила его в сторону, приказала лечь в самый угол.

— Лежи, не выкуркивай, вдруг ребята который ли заскочит. Я тебе после есть принесу.

...А днем вся Вазица говорила только о том, что Коля База, пьяные глаза, налился опять вином и учудил уж в который раз: нынче вот рыбозаводскую дору вознамерился угнать и разбил ее, окаянный, у Клюева носа.

В полночь, наполнив солдатский вещмешок провизией и полностью простив парню вчерашние нехорошие слова, Зинка провожала из дома Колю Базу.

— Ой, Коленька, как нехорошо-то. Сказали, что и меня привлекут.

— А кто видел? Пугают...

— Может, повинишься? — настаивала Зинка. — Невелик и грех, похуже чего люди делают, и то прощают. Чего ты в голову вбил?

Коля База помялся, во всей его долговязой фигуре уже не было вчерашней злости и решимости, видно, на чердаке он о многом передумал за день.

— Нет-нет, — быстро сказал он, не поднимая глаз. В волосах застряли сенные паутины.

— Ну как знаешь, — согласилась женщина, сдерживая слезы. — Осподи, будто сон. Только вчера все хорошо было, так хорошо. Осподи, будто сон. И неуж так всю жизнь, а?

— Чего про меня ни скажут, не верь. Весточку дам. И никому, что был, матери даже.

Зинка вышла на взвоз, трава у подножья в заулке была белой от росы и обжигала ноги; быстро обежала кругом избу, не таится ли кто за углом, потом тихонько кликнула парня:

— Выходи...

Коля База протарахтел по валежинам сапогами, скользом прислонил Зинку к себе и, не оборачиваясь, огородами пошел в сторону леса.

«Весточку подам, — шептала Зинка, — а на что мне весточка, коли сам нужен. Ой, глупый такой».

*
* *

Бывалый охотник, легкий на ногу, Коля База в приморских суземах жил, как в родной избе, и часа через два, проскочив болото, он уже вышел к Пижме, крохотной лесной речке, где стояла промысловая изба. К двери подошел озираясь, теперь отовсюду поджидая опасность, нашарил под колодой ключ, открыл замок. В нежилой избе долго сидел за столом, ссутулив плечи и положив лицо в ладони. Еще порой чудилось, а не сон ли это, или детское баловство, в котором все можно заново переиграть, изменив роли: быть злодеем надоело, теперь желаю стать героем. Но шли минуты, и ничего не менялось. Пора было уходить.

Из кустов вытащил долбленку, спустил в речку, взял в избе кусок вяленой сохатины и железную банку с пшенкой, сам же и запасался когда-то, словно чувствовал, что пригодится; в схороне достал ружье, старенькое, шестнадцатый калибр, — постоянно держал здесь с тех пор, как купил двухстволку. Еще с порога оглядел избу, а остальное случилось само собой — снова как бы окунулся в игру, подумал: «Пусть пострадают, пусть поищут». И только рано постаревшая мать почему-то не пришла на ум в эту минуту. А уж кто любил на свете Кольку больше, чем она, Малаша, живущая на свете

лишь ради сына, пусть и непутевого, но родного — своя кровинушка; пестовала-то как, на сенокос пойдет страдать и его с собой, у копны положит, траву горбушей бреет, а спиной-то все ждет, не заревет ли сынок.

Как бы со стороны представил все Коля База: как люди наткнутся на избу, а искать-то наверняка станут, и прочитают записку, в которой написано будет: «Не ищите, меня нет», и у всех обалдело отвиснут челюсти. Вот смеху-то... И Коля оторвал от газеты клочок и углем нацарапал: «Не ищите». Подумал и добавил: «Жить не хочу».

У берега бросил кепку и свитер, вроде бы приметы для людей, что здесь утонул, водой прошел до лодочки, оглянулся, вспоминая, все ли так сделал, и, толкаясь о бережину шестом, пошел вверх по Пижме, оттуда решил волоком перетянуться в Вазицу выше порогов и уж той рекой зайти в Кельи, а там и переждать время в сенокосной избе...

А днем позже сюда действительно нагрянули искальщики, их навел на след Гриша Таранин; они сразу обнаружили в избе записку и стали баграми шарить у берега. И только Гриша, покрутившись вокруг избы, вдруг сказал участковому:

— Покойники-то пшеном не запасаются, бат. Еще с зимы полная банка стояла. Да и лодки в кустах нет.

— Искать будем? — спросил белобрысый участковый, чувствуя душою враждебность леса.

— Чего искать-то, не барин. Побродит, надоест — и вернется, — подсказал Гриша, подхохатывая. — Думал, умней всех. Хи-хи. А народ не проведешь, не-е. Побегает и придет, сволочь такая, отсюда ему не деться. Молодежь пошла, а? Пакостить могут, а отвечать за свои поступки у них смелости нет...

Сыновью прощальную записку принесли матери. Малаша Малыгина, рано постаревшая от вдовьей жизни, прочитала каракули, ойкнула испуганно и, вспомнив похоронку по мужу, сразу поверила всему, что начеркано было на газетке, и в голос завыла так, что мороз пробрал всех, кто оказался возле:

— Ой... и на кого ты меня спокинул, зачем мне дале-то жить, сиротине горькой, не к кому боле головушки приклонить...

12

Вечером, как уговорились, зашел Гриша Таранин: на ногах легкие охотничьи поршни, перевязанные под коленом, на плечах брезентовая куртка, подбитая с исподу толстой байкой, на голове почтовая фуражка с синим верхом — уже срядился старик в лес. В семь вечера уходил по берегу за семгой трактор, и надо было успеть на него, чтобы добраться до тони Кукушкины слезы, зря не мозолить ноги, раз попутье есть.

— Нашли баламута? — спросил Иван Павлович о Коле Базе.

— Побегает и вернется, куда ему деваться?

— Лопаты не забыл? — сразу перевел разговор Тяпуев.

— А закоим?

— Не твое дело. Я спрашиваю, лопаты взял? Ты мне смотри, Гриша. Ух-ух, — вроде бы шутя, но с грозным прищуром глаз протянул Иван Павлович. — Сунь в мешок, а черена на месте насадим.

— А закоим? Не гряды же копать. Иль червей? Дак есть полная банка, — не унимался Гриша, не понимая, зачем же другу-приятелю понадобилась лопата. Но тут, видимо, нечего было и понимать, потому что Тяпуев вспыхнул и побагровел лицом.

— Все-все, — замахал руками Гриша Таранин. — Беспутый я, без пути мелю. Ну дак выходите навстречу.

И когда он потянул ногу через порог, Тяпуев вдруг спросил вдогон:

— Уж голос знаком, не выходит из памяти. Сознайся, ничего не будет, слово даю. — Тяпуев помолчал, словно примерялся, как спросить точней и неожиданней. — Ты был тогда? Ну-ну...

— Вы чего, Иван Павлович? Опять загадку заганули? Иль злой умысел на меня таите? — обиженно зачастил старик певучим звенящим голосом.

«Он был, он», — утвердительно подумал Иван Павлович.

— Помнишь, в тридцатом-то кто-то покушался на меня? — в упор глянул на старика, но тот заслонил взгляд щетинистой завесью бровей.

— И неуж? Впервой слышу. Ой-ой. Как же так?..

— Иди, собирайся! — грубо прикрикнул Тяпуев и от-

вернулся к окну. Ему было видно, как Гриша, часто семеня, перебегал улицу, штаны его парусили, и сапоги емко подбивали дорогу. Старик ссутулился, и белые перышки волос по-птичьи топорщились на морщинистой шее.

...Тогда, в тридцатом, Осипа Усача раскулачили и увезли. А дня через два подстерегли вазицкого милиционера Ваню Тяпуева на вечерней улице, набросили на голову вонючую дерюгу, повалили в осеннюю грязь и стали пинать. Может, грязь, густое месиво мешало размахнуться ноге — это и спасло парня.

— Убей его, Иуду! Скольких еще продаст, — кричал кто-то разбежистым звонким голосом, и сквозь растерянность и боль милиционер подумал, что голос ему знаком, словно бы недавно кто-то винился перед ним певуче, по-женски. До этого возгласа Ваня старался только уберечь себя, сжимаясь в комок и пряча голову; дерюга душила горло, и парень задыхался, теряя сознание и жизнь. И снова кто-то звонко и сладостно, слегка тая голос, закричал:

— Убей его, убей, падлюку!..

Этот крик возмутил Ваню Тяпуева, и, упираясь в месиво, он поднялся, и даже шагнул навстречу, тупо, до боли в скулах размахивая кулаками в пустоту. Тут раздался топот многих ног, придушенный всхлип, чьи-то руки стянули с Вани дерюгу, и в этот миг в его голове прощально мелькнуло: «Ну вот и все, вот и конец». Но при жидком лунном свете разглядел Мартына Петенбурга. Тот стоял около, похожий на копну сена, тяжело дышал, опираясь на кол.

— Жив, что ли? Слышу, будто пороса режут. Значит, вовремя поспел. Ребра-то целы?

— Целы, кажись, — тупо откликнулся Тяпуев, сгоняя рукавом кровь с лица. — Я им покажу кузькину мать, — бормотал ошалело, не чувствуя под ногой надежной дороги: Ваню качало и тошнило. — Я их всех по шеренгам рассчитаю, кулацкие выродки.

— За что тебя так?

— Иду — мешок на голову и кольем по спине. Враг из берлоги наружу лезет. Ты хоть признал кого?

— Да в темноте разве кого приметишь...

А наутро явился в сельсовет Гриша Таранин, тряхнул бараньей шапкой волос и певуче, по-женски сказал:

— Я за революцию всей душой, Иван Павлович. А тестю даю полный отлуб и с бабой своей Малашкой разбегаюсь. Ну ее вместе с кулацкими замашками, темным наследством прошлого. — И Гриша ловко просунул на стол широкий лист из амбарной книги, исписанный убористо.

Ваня Тяпуев читал заявление и думал: «Он был, голос по всем приметам егов. Но вот допри, возьми за рупь пять...»

А в бумаге было: «В 1928 году я вступил в брак с Маланьей Корниловной Тараниной. После того уехал в Мурманск и находился в государственной работе два года. За эти два года выслал сапоги, отрез на платье, тридцать штук белья, несколько простыней, рубашек, кальсон и т. п., и еще посылал соли и часть сахару. После того, как прибыл на родину, в согласьи с Маланьей находился два месяца, после чего стала она меня гнать, но я все равно работал на ейных полях и пожнях, но в конце концов мне Маланья сказала, что ты мне не нужен и уходи из моего дома и ко мне ничуть не касайся. Но я не захотел ссориться и ушел к матери. А когда я вышел, то у ней попросил что-нибудь за два года, но она мне сказала, что тебе ничего не будет. А потому я убедительно прошу народный суд разобрать наше дело, а я хочу взять за два года совместной жизни как-то: нижнюю боковую избу и скот, или скот и швейную машину. Но еще, что посеяно на 1930 год из овощей и хлеба, это все пополам. Когда я пришел к ней в дом, то я принес с собой металловый самовар и двухлетку кобылу. Но когда я жил на лесозаводах, она прожила мой металловый самовар, а деньги употребила неизвестно куда и на что, и не могу узнать, а за этот самовар я хочу взять ее металловый самовар, каковой находится в ремонте разогретый. Но я еще взял у нее два медных таза за то, что когда пришел домой, то принес несколько штук белья, и это белье сейчас находится у нее еще неизрасходовано, но она мне ето белье не отдает, и за то я взял у нее эти тазы, покуда не отдаст неизрасходованного собственного белья.

А еще прошу учесть народный суд мое полное несогласие с гражданкой Маланьей Корниловной по причине политического вопроса».

Читал Иван Тяпуев заявление, а из головы не выхо-

дило: «Гришка, подлец, был. Мстит за что-то. Но как допрешь?» И весь остаток дня ходил милиционер по Вазице и украдкой норовил все выспросить про Таранина, но все в один голос твердили, что мужик был тем вечером в Инцах, ездил за товаром для потребиловки. А потом сошли синяки с Вани Тяпуева, как с гуся вода, но в памяти тот вечер не стирался.

И вот нынче судьба так неожиданно вновь столкнула их, связала узелочками на одной нити...

Трактором они без особой нервотрепки добрались до тони Кукушкины слезы, по морскому отливу без тряски прокатились, будто то асфальту. Гриша намерился было свернуть к тоньской избушке, где маячил внучонок, высматривая в бинокль приезжих, но друг-приятель неожиданно остановил за локоть и кивнул на торфяную тропу, которая едва приметно завязывалась меж болотных кочек.

— Может, чайку, душеньку согреем, а? Куда нам торопиться, не гонят нас, — пробовал возразить старик. Ему бы хотелось, чего греха таить, посидеть за столом да похлебать свежей семужьей ухи, а может, и малосольной рыбкой угостит парень: как-никак внук сидит на тоне, не какой-то посторонний человек, можно бы и в дорогу пару звенышек взять, да и ночь эту по-человечески выспать на постели — ведь и годы не те, чтобы корчужкой под кустом свалиться. — Слышь, Иван Павлович? Внучонок там, навестить бы. От бабки гостинец передать, — пробовал еще схитрить.

— Время — деньги, ты что, парень? Другого времени тебе не будет, или сто лет не видался?

— Да как не будет другого времени, но внучек ведь, — вздохнул жалостливо Гриша Таранин, понимая, что ничего не выгорит, уже прощально всмотрелся в Сашку, беспонятливо маячившего на угоре, и ступил на тропу.

— Ушицы бы свежей. Не каждый день и едим, — бормотал старик, уже настраиваясь на долгую ходьбу, и кривые стоптанные ноги поволок неторопливым лесовым шагом.

У Ивана Павловича горело сердце, раскачивалось колоколом, рождая нетерпение и суматошливость: ему хотелось бы побыстрее бежать на место, и он, подгоняя старика, даже несколько раз пнул его в пятку, на что

Гриша Таранин оглянулся и посмотрел на спутника сурово. Но болото подавалось под ногой, хлюпало, приходилось выдирать сапоги из вязкой торфяной каши, а сосновый бор синел где-то далеко впереди, как мираж, полусонное наваждение; в животе начинало поуркивать, болело в пахах, и сердце больно огрузло, навалилось на ребра, плохо разгоняя кровь. Вскоре азарт пропал, замолчал в душе колокол, и Тяпуеву показалось, что старик нарочно спешит и хочет его, Ивана Павловича, может быть, и кончить в болотах. Подозрительность опалила мозг, и Тяпуев уже пристально вгляделся в узкую ребячью спину с выпирающими лопатками, изрубленную морщинами шею с белыми перьями волос — и, захлебнувшись одышкой и неловко сминаемым страхом, он закричал вдогон:

— Слышь, эй ты!.. Куда ведешь?

«Э-э, недолго покоптишь, друг-приятель, — подумал старик безо всякой жалости, замечая набухшее кровью лицо и налитые желчью глаза. — Наверное, смерть чует, вот и поволокся в Кельи помолиться. Захотел в остатний раз взглянуть на родные места. Не нами сказано: где гриб родился, там и погинет», — размышлял Гриша, спокойно поглядывая прозрачными бусинами глаз.

— До боров-то дойдем, а там уж рукой подать. Зато сколько срежем, чуешь?..

Наконец они ступили в лес, под ногами захрустел белый курчавый мох, пахнуло густой духотой, и от сосновых рубчатых колонн, подпирающих небо, их обволокло нагретым смолистым дурманом.

— Господи, благословенно-то как! — настраиваясь душой на отдых, воскликнул старик. А Иван Павлович сразу опрокинулся в мох, устало раскинулся всем телом, забывая недавнюю подозрительность и страхи, вгляделся в мерное колыхание дальних вершин, меж которыми слюдяно проблескивало небо, и впервые за всю прожитую жизнь пожалел, что так поздно навестил родину. «А может быть, не так уж и плохо жить здесь? Никаких тебе забот, и мир в стороне, и тревоги его не слышны. Слиться бы вот так с природой, чего уж лучше», — подумал случайно прочитанными где-то фразами. Но тут комары обступили его, повисли черным непроницаемым гудящим облаком — на болоте продувало ветерком, а здесь, в духоте, комар осатанел.

— Ну и комара — прорва, — очнулся Иван Павлович и сразу вспомнил, для чего он здесь. Подумал: «Пора, наверное, рассказать старику, подготовить его к мероприятию государственной важности».

— Слыхал, в Ленинграде недавно клад нашли? — сказал будто между прочим, отмахиваясь от гнуса.

— И неуж еще находят? — удивился Гриша. — Я думал, врут все. А сколь велик-то?..

— Двенадцать золотых кирпичей. В стену замурованы были.

— Ну!

— Вот и «ну». Женщины ремонтировали, они золота и в глаза не видывали в такой форме, чтобы вот так. Вывалили кирпичи да и ходят по ним. А прораб и схватился — так писали в газете — схватился за голову.

— Смотри ты!.. Двенадцать золотых кирпичей. Это же с ума можно сойти. А бабам-то много ли дали?

— Я уж не помню точно, но большую цифру печатали в газете. Тысячи...

— Повезло, вишь, — уже остывая, сказал Гриша, понимая, что только в городах, среди большого скопления разных людей, можно находить клады. А тут что: болото, тайга да медведи. — В городах-то порыться, дак чего только и нет. Убегали тогда, всего наоставляли... Ты не слыхал? Мы юрьевский-то дом уж без тебя ломали, дак тоже револьвер нашли. Уж заржавел, правда.

— Что ты говоришь? — искренне удивился Иван Павлович. — Чуял я, когда его к ногтю прижали, — гад, и все, а улик нету. Ну не попользовался он. — И сразу без перехода повернул разговор: — Слушай, а ты про клад не врал?

— Какой клад? У нас дикость, а не клады, — сразу-то и не понял старик.

— А в Кельях?

— А, тот-то, — облегченно вздохнул старик. — Ну дак тот-то, бtouват, и есть, почто нету-то, — с легкостью согласился он, сразу наполняясь восторженной болтливостью, ибо про тот клад, в который никто не верил на деревне, но любили посудачить, старик был наслышан. — Тот-то что... Быват, и не один даже. Сказывают, есть, в озере спрятан в дубовом сундуке, а от сундука к берегу цепь. Но будто бы та цепь заколдована. Правда ли, нет, про то сказать не могу.

— Шум на пустом месте не растет...

— Дак вы, значит, а? — протянул Гриша, уже смутно догадываясь, на что намекает Иван Павлович, но еще боясь поверить этому. Ведь одно дело болтать сказки и даже смутно веровать в них, восторгаясь только от мысли одной, что клад этот где-то есть и можно при случае пойти и разыскать его. Но когда кто-то всерьез поверил небылице и решился на розыски, значит, человек не в своем уме, у него не все дома. «Дурак, рехнулся на старости лет», — сразу решил старик, уже более пристально вглядываясь в оплывшее лицо друга-приятеля. Но Иван Павлович был прежним, может быть, чуть более просветленным и веселым.

— Старик, старик, — сказал он. — Ну кто из нас еще может быть чище душой, как не мы? А шум на пустом месте не растет.

— Нет-нет, люди, конечно, зря болтать не будут, — заикаясь, протянул Гриша. «Не дурак этот человек. На такой бы вышины не числился. Значит, что-то пронюхал и затеял», — про себя подумал старик, уже незаметно волнуясь и настраивая душу на что-то необычное. — Слушай, друг-приятель. То, что в колодце, то — правда. Вот те крест. Даже видно, что на дне укладка чернеет. И оттуда звон идет. Колдовское место. Но я покажу, я покажу, — заторопился Гриша, словно Иван Павлович угрожал ему, но тот по-прежнему молчал, сосредоточенно вглядываясь в лицо старика, в его младенческую розовость щек, белую навесь бровей и легкую снежную челочку, опавшую на лоб. Взгляд был пристален и пугающ своей холодной немотой, потому старик поторопился выговориться:

— И еще клад есть. Это уж точно. Я сам было собирался искать, да все как-то не с руки. Там одна могила есть, где настоятельница захоронена, ихняя большуха, слух-то идет, что в той могиле клад, ба-а-льшие деньги. А еще поговаривают, что тот... — Гриша Таранин уже зашептал, прислонившись к большому вялому уху Тяпуева, словно кто расслышать мог их разговор,— ну тот-то, помните, Иван Павлович, с района человек, который реквизировал на деревне золото? Так он ведь сбежал. Его потом с милицией нашли, но в краже он не признался, и при нем ничего не было, говорит, в район вез и дорогой у него воры забрали. Дак не воры,

не-е, он хитер был мужичок, я его сразу раскусил. Поговаривают, что он здесь и схоронил, да. Парни было искали, плиту гранитную сшевельнули — вот тоже варвары,— а их тут как выпугало: кто-то ну завопит в лесу, они и разбежались. Разбежались и с той поры на кладбище — ни ногой. А ведь до последнего лета каждый год на сеностав ходили, подолгу на острову жили.

— Слушай, Гриша, словно ты и капитаном на веку не был. Разводишь мне всякую мерихлюндию. Сказки церковные, — приветливо улыбнулся Иван Павлович, еще более уверовав в государственного значения дело и окончательно прощая старика. Может, что и наврано, наколесил старик сто верст до небес, сразу и не размотаешь, но хворост без огня не горит, тут что-то есть. — Ну, старик, до времени молчи. Но мы прославимся, о нас заговорят еще.

— Хитрые вы, Иван Павлович, — заискивающе пропел Гриша Таранин, подсчитывая уже, а сколько ему отвалится да как бы при этом не продешевить.

— Не время засиживаться, — подтолкнул Тяпуев старика.

— Теперь уже скоро, почитай, рядом. Ух вы, Иван Павлович, — подмигнул, тоненько рассмеялся. — Великий вы человек.

— Ну распетушился, топай давай, — снисходительно, сдерживая в душе радость, снова подтолкнул Тяпуев и подумал тут, что все будет хорошо. Нет, он просто так не ляжет в землю, и вместе с его костьми не потухнет память о нем и всеобщее человеческое уважение к нему. Пожалуй, на эти деньги, из расчета двадцать пять процентов от клада, можно шикарный Дворец культуры отгрохать, а то все еще в бывшей церкви ютятся. По морю мимо корабли пойдут, издалека виден будет белый дом с колоннами, спрашивать станут, что это? Захочется сойти на берег... Нет-нет, пожалуй, заплюют, захаркают, парням только биллиард подавай, стены испишут гадостями и за год в свинарник превратят. А что если дом отдыха? Это идея! Воздух-то какой, море рядом, дыши озоном, наслаждайся, со всего Союза поедут — дом отдыха имени И. П. Тяпуева. А что, это здорово! И деревне рост, какой рост: люди наедут, захотят лишнюю денежку оставить тут, чтобы с собой не увозить, вот и создавай всякие производства.

«Ох, черти, бес им в ребро, а хорошую я штукенцию выкину, не какая-то там мерихлюндия!..»

*
* *

В это же самое время в Кельях Коля База играл роль беглеца. За эти дни он осунулся и в широко поставленных глазах родилась постоянная растерянность. Дошло до него, наконец, что большую глупость сотворил, убежав от людей, и долго будет не отмыться ему, и не один год теперь станет вспоминать Вазица Колино чудачество. Честное слово, хотелось сейчас парню, а порой просто нестерпимо хотелось, сбегать на тоню Кукушкины слезы и повиниться перед ребятами, и та прежняя жизнь с нудной болтанкой в море, с монотонным лежаньем на нарах, с дымной ухой и короткими ленивыми перебранками казалась нынче блаженством, чем-то туманным, далеким и несбыточным.

Озеро дышало истомой, порой опаловую грудь его морщинил легкий ветер, дудки-падреницы источали дурман, запах их мешался со сладкой малиновой прелью и кружил голову. Часто плавилась рыба, и от тугих коротких всплесков шли круги, вздрагивала осота, словно зеленым мшистым щукам уже надоело жить в прогретых солнцем заводях и хотелось забраться в прохладные ивняки. Всегда чего-то хочется и зеленому клопу, повисшему на остром пере травины и сомлевшему от солнца, и ондатре, хитро взбаламутившей тупым хвостом маленькую темную корчажку, и сытой ящерке, приникшей лысым животом к замоховевшему пню... Все в природе жило желанием и ленью и словно говорило: «Я хочу и томлюсь, но сладкая сонная вялость переполняет мое существо». Всем чего-то хочется, но никто, кроме человека, не переступает через дозволенное природой... А где-то в разливе тайги и желтых провальных болот, источающих гибельный чад, затерялось свинцово-тяжелое озеро, у закрайки которого вспучился изумрудной зелени островок, слегка повитый кустарником, а посреди его крошечной пороховинкой лежал в густом травостое Коля База и тоже томился.

Бывало, он с диковатым наслаждением вырывался в леса и жировал там неделю, две, обгорал до черноты,

кочуя по темному зимнему суземью, порой заваливаясь в снег, как зверь, если не хватало сил запалить костер-нодью, а назавтра снова бежал по куньему следу, и всегда рядом с нетерпимой усталостью и азартом жила крохотная радость от самой пустяшной мелочи: вот он затравит кунку-то, потом в зимовке хорошенько выспится и поест горячего — это разве не радость? Вернется в Вазицу и хвастанет промыслом — снова радость; отпарится в бане, потом разговеется винцом и, разгоряченный, с устало-счастливой душой, отправится к Зинке и будет молчаливо ласкать ее. Господи, сколько радостей приходится на одну душу человечью, когда ее не тревожит совесть! И как это разумно все-таки, что природа, создавая человека, отличного от зверья и способного переходить дозволенное, поместила в его душу незримую совесть.

И вот лишь по этой причине не было нынче в Коле Базе ничего, кроме постоянной неприкаянности. До синей мороки надоело все парню. Он знал, что его ищут, и поджидал погоню в стороне от сенокосной избы, затаившись у тропы. В избе он только ночевал иногда, а еду варил на костерке в матером лесу, чтобы не оставить следа, и крохотная лодочка всегда была наготове под южным берегом острова, чтобы в случае чего тихо сплыть протокой в другое озеро. Косари теперь не страдали, второй год пожни запущены, и сейчас, на изломе июля, рекой в Кельи тоже не попасть — вода в Вазице опала, обнажив в пятнадцати километрах от деревни два переката, и единственный путь сюда до осени лишь седкой тропой через плоское болото.

...Уже завечерело, а он все лежал, как вчера и позавчера, возле тропы и ждал, когда за ним придут. Случайным взглядом чиркнул по замшелой колоде, что лежала рядом, как мертвое тело, но церковные письмена прочитать не мог: дерево затрухлявело, и буквы оплыли, покрывшись зеленью, но год он разобрал — «1676»... Говорят, великая была деревня для Поморья, не триста ли дворов, и на остров было не просто попасть: мосток висел над протокой, где сейчас лежат две валежины, и мосток тот поднимался цепями, и караульщик постоянно стоял и окрикивал людей, кто едет и зачем, а уж только потом опускал переправу и разрешал проехать. Когда в строгости жили, говорят, и деревня копилась,

может, на страхе держалась, кто знает. Но потом исчезли старики — которые померли, которые ушли в пустынь, отрешившись от мира, — и так стала рушиться деревня, и за двести лет истаяла она. Потом завелся здесь скит, и монашенки тропою через плоское болото тайком ночами бегали к мужикам на семужьи тони и баловались грешком. Куда от мира денешься?

Есть хотелось, пошел Коля База к огнищу на дальний мысок — там у него верша стояла, из свежины сварил уху, безо всякого интереса поел — в одиночку какая еда? — в сенокосную темную избу раздумал идти, сыро там и гнильем пахнет, а прямо на охапке завядшей травы и завалился спать, подложив под скулу толстенный кулак. Золотистое уголье костра подернулось пеплом и затухло.

А проснулся неожиданно, словно и не спал, по-звериному втянул широко врезанными ноздрями воздух, уловил запах чужого кострища и еды. Над сенокосной избой чуть маревил дымок, и на острове запахло жильем. Подумал — это за ним пришли, остановились на отдых. Коля База сразу насторожился, но какое-то любопытство удержало его на мыске, он не вскочил испуганно в лодчонку и, таясь в прибрежных зарослях, не исчез в протоке, а, держа ружье под мышкой, пошел меж стволами и у самых валежин, ведущих на остров, затаился, всматриваясь в избу. Там кто-то входил и выходил, к чему-то готовились, потом выплеснули из миски остатки еды. Решил: если бы искали его, то не тянули бы резину, а эти будто на курорт прикатили. Еще издалека показалась знакомой соломенная шляпа. Шляпа потопталась и исчезла в дверях, а парень, уже невольно поддаваясь игре, которую затеял несколькими днями раньше, решил вдруг продолжить ее, и в широко поставленных зеленых глазах зажглась злая ребячья дурнинка.

Он проскочил валежинами через мелкую протоку, и, низко пригибаясь в жирном травостое, пробежал в сторону кладбища, и залег за крайним могильником. Тут из дверей вышли двое, и он сразу их узнал. Иван Павлович Тяпуев был в легкой безрукавке, на голове шляпа, он сыто икнул, осмотрел на свет острие лопаты и погладил деревяшку; видно, черен был новый и царапал ладонь, потому мужик еще ногтями поскоблил по

дереву, снимая задиры и шелуху кожицы. А Гриша Таранин, посвистывая, оправился по малой за спиной Тяпуева и вдруг радостно засмеялся, может, от легкости во всем естестве, и сбил на затылок форменную синюю фуражку.

Первая тревога, а за нею и радость от встречи с людьми померкли, и Коля База решил вдруг, что от этих двоих нужно прятаться, хотя и понимал, что больше месяца-двух здесь не высидит — зима выгонит голодной метлой, а отсюда, как из тюрьмы, никуда ходу, ибо путь из Келий один — к берегу моря, а там его обязательно выследят, возьмут за шиворот, как паршивого кутенка... Хорохорился Коля База, но душой где-то уже понимал, что чудить хватит, довольно наломал дров — пора кончать с этим делом. «Ну дадут год, — думал, — отсижу в колонии, там тоже люди — не звери, до смерти не заедят, зато потом таиться не надо. Видно, нет ничего хуже, как таиться от людей».

А те двое, посверкивая лопатами, прошли мимо, и Коля База даже разглядел порыжевшие кожаные поршни на ногах Гриши, и его длинную мотню до колен, и острые лопатки под синей ситцевой рубахой, и тощую шею в глубоких морщинах, словно бы покрытую еловой корой, и легкую косичку сивых волос на затылке... «Куда они собрались, чудики тоже? — подумал с интересом. — И этот мешок с дерьмом, гли-ко, тоже за лопату взялся, наверное, и забыл уже, с какого конца держать, килан. И чего они тут копать норовят?»

Гриша Таранин скрылся в траве, разгребая там что-то руками.

— Ты подь-ко сюда, друг-приятель. Здесь и копнем. Тут плиту искальщики тогда вывернули. — Гриша показался из травы, как из зеленой заводи, но вдруг сморщил бровастое замоховевшее лицо с черным околышем фуражки над глазами. — Да ладно ли делам, Павлович?

— Ладно, ладно, — решительно приказал Тяпуев. — Все ладно. Они свое отлежали.

В голосе его была такая правота и непоколебимость, что Гриша Таранин отогнал прочь все прежние сомнения и, шаря по лицу друга-приятеля дульцами глаз, подумал: «Больно уверен Ванька. Не замешан ли тогда и был в том воровстве? Уж больно ловко тогда золото пропало. А сейчас будто клад — и все шито-крыто.

Ой, ловок Сосок, а кабы не ловок, разве на такую вышину бы попал? Велит копать, значит, знает...»

— Дак здесь? — еще переспросил, щупая взглядом лицо Тяпуева, его пористый толстый нос с каплями пота, опущенные на ворот рубахи желтые щеки и суровые пронзительные глаза.

— Раз говорю — копай, значит, копай! — раздраженно оборвал Иван Павлович.

Сквозь стену травы был слышен весь разговор. Могилу эту когда-то пробовал раскопать Коля База с Артюхой Коткиным: наслушались от его бабки Агриппины всяких сказок насчет кладов в Кельях, и загорелось им тогда всю деревню удивить. Но только плиту вагами повернули, как раздался над самыми головами жуткий пронзительный крик, — тут и душа в пятки провалилась, дай бог ноги унести от этого места. Мчались без передышки через плоское болото до самой тони Кукушкины слезы. Колька тогда еще с неделю, наверное, бродил по Вазице и болтал всем, как они с Артюхой могилу монашенки раскопали и ларец с золотом нашли, но только намерились достать его — тяжеленный такой, сволочь, — их тут и выпугало, завопило над головой страшенно, едва ноги от страха унесли.

Слышно было, как мужики кряхтели, отодвигая надгробье подальше — мраморная плита над манатейной монахиней была тяжела и хорошо прикрыла суровую начетчицу; потом полетели вверх белые коренья травы и черная, хорошо удобренная земля. А Коле Базе надоело лежанье в траве, тоскливо было. Ружье под ладонью отпотело, стало горячим; понюхал ладонь — она отдавала кислым железом. «Старое ружьишко, чего говорить, уж года два как не пользовался, наверное, ржавчины толсто, надо будет вечерком почистить». Еще полежал, томимый бездельем и любопытством: так хотелось подойти и хоть одним глазком подсмотреть, чего делают там мужики, а вдруг действительно откопают клад. Но просто так появиться перед людьми был не в силах, он даже помыслить не мог, как пойдет сейчас на холмушку, чиркая о траву сапогами, и четыре любопытных глаза станут прощупывать его и смотреть, как волк на бердану. И вдруг опять вспомнил давний августовский вечер, промозглый и темный. Как они тогда бежали, как бежали, век не забыть; а если подумать

нынешним умом, то, наверное, попал под угол плиты камень, и его протяжный всхлип всполошил и ополоумил.

«...А что как их выпугаю, а? Пусть неповадно будет чужие могилы зорить. На старости лет совсем ума рехнулись. Гриша Таранин совсем старик, а туда же лезет. А вдруг что есть?..»

Но дальше Колькино воображение не сработало. Он поудобнее перехватил ружье — шестнадцатый калибр, выскочил из травы и дико вскричал, как будто кому-то перехватывали горло и медленно пилили ножом, это был не крик даже, а скорее вопль, который трудно передать, и, наверное, у самого закаленного и смелого душой человека от ужаса бы отделились от темени волосы и сердце застряло в горле. Коля База бежал с этим нелепым криком и потрясал ружьем, а потом как-то сразу увидал трясущиеся щеки Ивана Павловича, его синие инфарктные губы и белые пустые глаза старика Гриши. Об эти мертвые глаза парень словно бы споткнулся и застыл, еще переминаясь с ноги на ногу и не зная, куда девать ружье. Он собрался было сказать грубовато: «Ну что, в штаны наклали с испугу?» — и это, в его понимании, выглядело бы, как просьба о прощении, но Гриша Таранин опередил и визгливым фальцетом закричал:

— Придурок, харя арестантска! Глаза-то отвори пошире. — Он с плеча замахнулся штыковой лопатой, и если бы Коля База не отпрыгнул, то срезал бы его по самые колена, ибо лопата была по-хозяйски направлена накануне.

— Эй ты, соплей зашибу! — с веселой злостью закричал парень, приходя в себя и уже оправдывая свой поступок, потому как еще мгновение назад, глядя в мертвые глаза старика, испугался, наверное, больше мужиков. — А ну, руки вверх! — подбросил незаряженное ружье к плечу, но кладоискателям было невдомек, что патронник пуст, они завороженно смотрели на черный зрачок дула и снова опадали сознаньем. Иван Павлович молчал, но синие губы что-то шептали, и пальцы шарили по воротнику рубашки. Потом он с удушливым хрипом выдавил:

— Под суд пойдешь...

— Да-да, под суд! — кричал горловым голосом Гри-

ша Таранин.— Брось ружжо, сволочуга! Иначе из тюрьмы не выползти. Сгниешь там.

— Молчи ты, дерьмо на палочке. Руки-руки,— входя в азарт, уже приказывал Коля База, и зеленые глаза наполнились отчаянным нахальством, словно парень уже махнул на все рукой и отринул последние надежды: а, все одно пропадать, так хоть повеселиться остатний денек.

— Отдай ружье. А то — под суд за покушение, — уже твердо сказал Иван Павлович, напрягая суровый взгляд и внешне становясь самим собой, осанистым, прочным на ногах, умеющим тихим голосом поставить человека на должное расстояние.

— А я тебя в упор ненавижу! Да-да,— запальчиво заговорил Коля База, в душе пугаясь птичьих немигающих глаз и механического голоса Ивана Павловича.

— Последний раз повторяю, отдай ружье.— Видно, по колена в могиле неловко было стоять, и Тяпуев решил выбраться наверх, чтобы не таким до обидного низким выглядеть перед этим дураком.

— А ну, не балуй,— щелкнул курком.— Думаете, я с вами шутки шутить буду? А не-ет. Я ведь тебя, фруктика, еще на тоне раскусил. Фуфыра, пальчик нарастопырку, вишь ли, грязь ему, будто и не в навозе родился. Вон мозоль-то наел. Гробы тревожить задумал, останки. Как это называется, по какой статье, а?.. Он мне еще угрожает, хорек вонючий. Да это же мародерство, таких расстреливать надо. Что, молчишь? То-то, и правильно делаешь, что молчишь, потому что нечего сказать — кругом виноват. Припечатают статью, видит бог, припечатают, на старости лет закукуешь, вместе сядем. Наказал, чтобы старуха сухари сушила, нет?

Коля База говорил медленно, с сипотцой, резиновый сапожище выдвинул на край осыпи и, пошевеливая им перед самым лицом Ивана Павловича, наслаждался собственной властью. А Тяпуев оказался в роли униженного и страдал от собственного бессилия. Гнев душил его, захлестнул с краями, казалось, что Иван Павлович состоял сейчас из одного только гнева, порой мелькала взбалмошная мысль кинуться на бандита, а там будь что будет, но тут же крохотный сторож в мозгу окрикивал: одумайся, перед кем стоишь — этот идиот спокойно может пальнуть. Тяпуев никогда еще

не был так унижен, горло мучительно сжалось, спазмы мешали дышать, и слеза просилась вон. Не хватало еще заплакать, нет-нет...

— Ну веди, куда поведешь?— освободившись от затычки в горле, глухо сказал он и, не обращая внимания на ружье, пыхая грудью, полез из ямы.

А солнце уже стояло над самой головой, комар скатился от жары в тенистые места, осел в траву; озеро, полное воды, прогнулось в берегах, и там залегли черные тени, но по самой середке плавилась мелочь, тускло отсвечивая серебристыми стрелками сквозь верхнюю воду, золотые круги рождались и вспухали словно из ничего, и чудилось, что из безоблачного неба идет солнечный дождь. Какое благословенное место на земле; нет, знали все-таки наши предки, где осесть, срубить избу, заполнить ее детьми. Но тогда чего же не хватало им, коли они разрушили потом с таким трудом разогретый очаг, покинули жальник предков своих и выстраданные мучительным потом пашни? Ради чего? Неужели им не хватало того мира, из которого их изгнали и от которого веками было суждено таиться им? И накинув личину смирения, они вернулись в мир, суровые староверы, и растворились в нем, сохраняя в душе прежнюю веру. Странные люди, странные люди...

— Ну веди, чего стоишь?— уже приказал Иван Павлович, чувствуя свою незыблемую правоту и честность.

— Да-да, веди,— поддакнул старик.

А куда же он мог увести их, чудаковатый парень, страдающий от собственных желаний и силящийся понять их только голосом сердца и оттого запутавшийся еще больше? Но он не в силах был просто так явиться к людям, от которых бежал, и повинно склонить голову. Роль отчаянно-безрассудного человека нужно было доиграть до конца, и Коля База, непокорно клоня крупную голову и разжигая в глазах зеленую дурнинку, прикрикнул:

— И поведу, да. А ну — шагом марш, красавчики!..

13

— Не ходил бы ты, Мартынушко. Куда опять ладишь? Кто тебя из дому-то гонит, ты скажи мне,— тонко плакалась Анисья, бродя за мужем, будто пришитая, и все норовила удержать его за плечо, а Мартын — ноль внимания на нее, только раскатывал по кухне, бурча под нос, отыскивал бумазейную рубаху да котелок из консервной банки — опять жена куда-то спрятала — и старинный пестерь, сшитый из бересты.

— Ты бы не толкалась под ногами, а наладила мне чего в дорогу. Слышь, да отвяжись в конце концов. Может, я потому и живу еще, что в силе себя считаю.

— Видно, не с той ноги сегодня встал. Какой тебе лес, какая морошка! Сдурел, дедко, ты хоть скажи толком, чего тебе надо?— не отставала Анисья, морщась скуластым лицом и не зная, на что подумать. Правда, и раньше-то Мартын не больно сговорчив был, отмахнется только, скажет: «Брось ты меня к подолу вязать»,— и убредет в лес. Сутки-другие нет, уж не случилось ли что, а он вдруг и является: худой, как заяц, задымленный. Тогда с ним и по-человечески поговорить можно, потому что на кровать падет и мается, криком кричит: «Анисьюшка, пособи, что ли, с ногами!»— «Вот тебе, так и надо. Эко выдумал»,— бормочет она со слезой на глазах, распаривая Мартыну ноги да намазывая бараньим салом и кутая в овечью шерсть. «Ой, не буду боле, Анисьюшка. Век слушаться стану».— «Ну то-то»,— довольно соглашается жена.

А сейчас вдруг почувствовала, что зря слова тратит: у Мартына посторонние глаза, словно в себя смотрят, и брови взъерошены, подняты на лоб, будто спешит куда человек, торопится вырваться на волю, а его держат, и оттого он досадует, готовый вспылить.

— Тогда хоть скажи, где тебя после искать?— пошла Анисья на попятную, поняла, что отступиться нужно. В последний год он все такой. Нынче и в город часто приглашают, к пионерам в гости иль по берестяным палагушкам своим; прилетит, а с самолета до города три километра катится на своей тележке, колотится батогами по земле. Уж не снимет телефонную трубку, урод такой, не брякнет в учреждение, мол, товарищи дорогие, это я, Мартын Петенбург, из Вазицы, вы меня

приглашали, дак я и приехал. Все знают старика и с добрым бы удовольствием пригнали машину, так гордыня обуяла человека: не хочу досадить людям, не ребенок, как ли сам доберусь. А три километра — это тебе не шутка, да по грязище крутой; когда только и дорогу сообразят, уж пятый год три километра не могут замостить. Там и с хорошими ногами едва выбредешь, выломит все, а он, сердешный... «Ну и пусть петается, урод такой»,— порой с досады брякнет Анисья, а потом уж так казнит себя за такие слова, готова выреветься и мужа на руках носить...

— Мне что, тебя на цепи привязывать, да?— еще раз попробовала урезонить Анисья старика.— Ну какая тебе морошка! Да принесу я с болота, ешь сколько душа примет. И неуж на двоих-то мы не соберем? Много ли нам и надо, господи.

— Слушай, Аниска,— строго взглянул Мартын на жену, и по этому посветлевшему взгляду поняла она, что накалился ее дедко и сейчас самое время отступиться от него. И не знала она, не ведала, да и откуда ей было знать, что прошлой ночью видел Мартын Петенбург святой сон. Будто летал он по какой-то огромной светлой зале, пронизанной солнцем, кружился, как сильная птица, махал руками, будто глядел на себя со стороны и весело кричал: «Как хорошо-то мне! Осподи, как хорошо!» Он проснулся средь ночи и долго не мог прийти в себя, призрачно кружилась голова, и сонные глаза не могли поймать пространство горницы, примятое к плечу лицо жены, светлую прорезь окна. Все кружилось в нем, сияло и звало, и хотелось бесконечно летать, замирая сердцем. «Осподи, к чему бы это?» — прошептал он посиневшими губами и потом долго не мог уснуть снова, крепче прижимался к Анисье, впитывая тепло ее тела,— так вдруг стало страшно и одиноко ему. «Знак это, знак,— внушал он себе утром, не в силах отвязаться от сновидения.— На старости лет — птицей!.. В детстве ни разу не летывал».

И захотелось Мартыну в лес, до сердечной тоски захотелось окунуться в лесную прохладу, пронизанную запахами и звуками, остаться там одному и послушать себя. Этого никогда не хотелось, об этом никогда не думалось: жизнь кружилась колесом, все по рытвинам и ухабам; кажется, остыл страстями и оскудел сердцем

за колченогим столом счетовода, даже костяшки на счетах поистерлись до самых прутьев — так может ли сохраниться, не замшеть душа? Ан нет, полетела вдруг, и Мартын Петенбург кричал во сне по-ребячьи весело и суматошливо: «Господи, как хорошо-то! Ну еще, ну еще!»— и захлебывался воздухом и смехом.

«Ну ладно, пусть смирит охотку»,— думала Анисья, зная повадки мужа. Не впервой ему пихаться в самое суземье, куда и здоровому вазицкому мужику нет хода; идет Мартын старинным прадедовым путиком на светлые озера, на сухие боры, меж которыми в низинах лежат богатые ягодой болотца. Чужой ноге нет туда доступа, и в путанице распадков и урочищ не устоит не знакомый с этими местами глаз, начнет слабеть и теряться он, пока не устанет случайно попавший сюда человек и, сидя на моховой валежине, с горечью не забранит себя: «Леший меня за руку тянул!»

Первое время, как обезножел муж, еще побаивалась Анисья отпускать его: «Сгинешь ты эдак, это леший тебя поманывает, там и здоровому в тягость»,— а потом надоело зря уговаривать, только язык натирать, да и привыкла, что вернется всегда с пестерем грибов и ягод, намотает с берез большие связки берестяных рубашек. Но отчего-то сегодня тосковало сердце у Анисьи, словно какой-то знак подавало, а может, и сам Мартын взволновал и обеспокоил ее. Тот собирался, как всегда, долго, оглядывая себя и охлопывая, не забыл ли чего, чтобы потом не ворачиваться в дом, разве только не сказал обычное: «Не успеешь очухариться, как я за столом», не хлопнул шутливо жену пониже поясницы, а молчаливо покатил на своем самокате прочь из кухни, бесшумно, как тень лесная, миновал поветь и даже весла не попросил стащить в лодку.

Мотор завелся с легким надрывом, закрутил воду и ровно потянул стружок вверх по реке. Накатистый гул моря скоро остался позади, и только через лесные угорья еще долго сочился великаний вздох, и мелкий березняк отзывался на него беспомощным и робким колыханьем. Мартын мостился на заднем уножье, сосал пустую вересковую трубочку и все ворчал, не мог успокоиться:

— Глупая баба, задумала меня у подола держать. Арсений-то безногий вон и на зверобойку ходил. А

смерть — она одна, где ли настигнет. Где положено, там и найдет.

Мартын Петенбург уж много раз за свою жизнь мог умереть: и когда копал Беломорско-Балтийский канал, и когда шел по дорогам войны. Он должен был умереть, чтобы своею смертью смыть позор с себя и своих родичей — так наставляли его. А он взял да и не умер, а остался жить ровно и монотонно, не делая никому зла, а на большее не то чтобы не хватало его, а просто не было прежней деятельной душевной страсти. Так уж случилось, что, не признаваясь себе в том, Мартын угас еще в тридцать третьем, когда вели его на ботишко под конвоем, и люди, которым он обещал сделать светлую жизнь, вдруг прятали от него глаза, норовили вовремя уйти за дверь, за оконные занавески, чтобы только не встретить его взгляда. Какие молитвы, какие слова шептали печищане, кто знает, когда шел по деревне под конвоем их председатель артели, сутулый, длинношеий парень, а потом, держа на весу тяжелые башмаки, забродил в карбас, и кто-то из конвойных окрикивал его и торопил, подталкивая в плечо. А после он стоял в карбасе, плотно упершись в телдоса, покрытые рыбьей слизью, и с тоской и недоуменной растерянностью смотрел на отходящий берег, на опадающую за песчаные холмы деревеньку и думал, что это все недоразумение, где-то кто-то ошибся, а завтра же разберутся во всем, извинятся и выпустят. Но только отчего-то на душе лежала каменная непроходимая тревога, от которой было невозможно отвязаться.

После войны он вернулся в деревню, хотя мог бы остаться в любом другом месте, где не знали его. Но словно какое-то лихо гнало его сюда, и отныне с постоянным любопытством вглядывался он в деревню, наблюдая течение жизни. Он уловил вдруг, что если бы погинул тогда на чужбине, то деревенские бабы вспоминали бы о нем с жалостью и слезой, как о страдальце, а раз он вернулся обратно, то и слава богу, словно ничего и не случилось, раз выжил. А что было с ним, как пережил те годы — кому теперь интересно?

Дела в артели шли ни шатко ни валко: море оскудело, озера полонила сорная рыба; но появились траулеры, они пошли в океан, артель разбогатела, копилась деньга в избах сельчан, и только сама Вазица не хоро-

шела, не разгибала сутулые плечи, не вырастали новы дома с голубыми оконницами и конями по охлупням. Вазица не просто старела, она припадала к земле и дряхлела, как древняя женщина, кренясь в пояснице, изнемогая от собственных костей. Крыши мшились и прорастали травой, повети и взвозы раскатывали на дрова, потому что коров не держали нынче, значит, сено не нужно хранить во дворах, тогда зачем и взвоз, и поветь — только лишняя заваль, стареющая под дождем, так не проще ли извести на дрова, пока бревна совсем не поел грибок. Мартын Петенбург наблюдал за деревней и не мог понять это течение жизни, это умирание Вазицы при богатых сундуках. Деньги не приносили отдачи, сами деньги оставались просто красивой бумагой: правление колхоза обитало все в том же кулацком доме, которому вроде бы не было износа, клуб — в бывшей церкви, школу через три года закрывают совсем, потому что в первый класс пойдет только один сынишка экономиста Вити. Парни не женятся, потому что нет девиц, а живут как бог на душу положил, не обзаводясь гнездом, не рубят своих домов, не сеют детей, словно бы отбывают принудиловку на этой земле. А когда молодым парням не хочется строиться и продолжать род, значит, деревня истлела, еще продолжая доживать,— теперь ее не вернуть.

Прошлое вспоминалось туманно, но когда оно возвращалось вдруг, Мартын Петенбург раздраженно отгонял виденья и с особенной злостью катал на счетах костяшки, изредка приглядываясь к сдобному лицу главного бухгалтера. Мартыну порой странно чудилось, что это и есть главное зло деревни, какой-то чудовищный нарост, и стоит только спихнуть его, как все переменится к лучшему...

Мотор ровно нес лодочку по кривулинам реки; за девять верст нужно попасть, а там войти в протоку, для постороннего глаза не видимую, да еще с версту пройти вверх по ней. Мартын сосал свою пустую вересковую трубочку, кидал по сторонам равнодушные взгляды, природа обтекала его, не тревожа сердца, и уходила прочь. Как с дедом своим еще мальчонкой попадал сюда, так с тех пор все и осталось прежним, только вот он, Мартын Петенбург, оскудел здоровьем и подошел к своей границе жизни, под самый корень истоптав ноги.

Вот и последний заворот. Мартын погасил мотор, отвязал с культяпок свой самокат — теперь он не нужен, ковыляй, как можешь, пока хватит терпения. Забросил якорек повыше и моховой ручьевиной не торопясь заковылял в лес, вступил на путик, ведомый лишь ему, по которым, почитай, уж целый век ходит Петенбургов род, ставит петли на боровую птицу да кляпцы на жирового зверя. Бор пахнул терпко и пьяно, и словно бы пошатнулся Мартын, ошалело повел головой, и сосны сомкнулись над ним, стремительно выстрелив в стеклянное небо... «Осподи,— подумал вдруг,— как благословенно все, не умирал бы, век тут жил».

Словно кто со стороны сказал эти слова, даже оглянулся Мартын, не чужой ли кто молвил, не судьба ли стоит за плечами. Было тихо и молчаливо, как в заброшенной баньке, птицы уже отпели свое, комар ныл над лицом, да дремотный лес истекал зноем. Холмушка, распадок, холмушка... Ковылял привычно, похожий на старого барсука, волосы сивой метлой, лицо обрызгано потом, костыль спешит за костылем, легко постанывают связанные швами остатки ног, и что-то плохо с грудью. Впервые вот так, чтобы зашлось вдруг сердце и воздуха стало мало, хотя его столько, что даже самые крепкие легкие лопнут, пробуя забрать крошечную толику его: ну ковшик разом выпьет богатырская грудь — а уж Мартыновы ли «мехи» не кузнечные,— ну ушат разом опрокинет, но от бочки густого пьяного воздуха захмелеет и падет навзничь самая удалая ненасытная душа. Закружилась у Мартына голова, и с сердцем стало дурновато, как бы споткнулось оно, а потом зачастило, беря разгон. «Ерунда,— подумал,— просто поспешил чуть, нагрузку дал без подготовки, тут и любой двигатель забарахлит».

Но постепенно разогнался — нечего зря время переводить,— забылась недавняя слабость, примечал путик по едва заметным пометам; вспомнилось, что когда-то этим лесом в последнюю свою охоту шел дядя Коля Петенбург. Уже в годах тоже был, но еще медведя брал наодинку; кажется, в двадцать восьмом и случилось то: пала в деревне скотинка, он еще подквасил ее и поволок в суземье, чтобы приваду сделать. Обещал вернуться, а сутки нет и другие нет его, а на третьи только хватились, пошли искать всей деревней — и Мартын Петен-

бург среди искальщиков был — и по следам разглядели понятливые охотники, какая страшная история приключилась с Коляней Петенбургом.

Шел он своей дорогой, а за плечами в пестерьке мясо с душком, и медведь издалека, знать, учуял запашок и все скрадывал охотника, как тать лесной, выжидая минуту. Зверь зверь, а хитер, однако, недаром, словно человек, на задних лапах ходить может, оттого, знать, у него и повадки человечьи. Долго крался животина за Коляной, пока тот не приустал, а как отяжелел на ноги, так решил подзакусить: сел на пенек, ружье подле дерева прислонил и только намерился пестерек снять, тут зверина и навалился сзади, подхватил охотника лапами и давай волочить да о деревья хвостать. Так и отдал Коляня душу свою не за понюшку табаку. Под кучу хвороста спрятал его медведь, чтобы после, когда оголодает, прийти. Вышли искальщики на полянку, а ружьишко так и стоит возле дерева прислоненное, и мох порван когтями — это когда зверь Коляню трепал,— а вскоре и самого охотника нашли под валежинами: уже почернел и распарился от жары.

...На все воля своя. Вот и над человеком свой зверь нашелся, а уж, кажется, сколько медведей взял Коляня Петенбург, при нужде и с топором хаживал наодинку, а тут сплоховал от звериного коварства.

Ельник помельчал, заскорузло разбежался в стороны, открывая мшистую раду, в лицо дохнуло сыростью, культи стали проваливаться по самый пах, и кочкарник, повитый голубельным кустом, хлестал Мартына в лицо. Сначала морошка была редкой, прятала свои загорелые личики под толстый мохнатый лист, а чуть далее, где голубельник притих и склонился к самой болотине, словно бы смиряя гордыню,— там будто солнечный луч пролился на кочки, густой и ядреный, да так и застыл. Столько было морошки, что и ходить не надо — садись и собирай, да такая крупная, что твой грецкий орех, и сквозь нежную мякоть уже янтарно светилось обрадевшее жизни зерно. Такую морошку не едят — ее пьют, прохладную, как погребной квас, и терпкую, словно брага, которую льют в себя стаканами и поначалу не пьянеют вроде, а только все больше и больше отчего-то хочется пить ее, и незаметно шалеет голова, идет кругом, и ты уже не знаешь себя, не чувствуешь,

но видишь, что все вверх тормашками кругом, и тогда успокоенно понимаешь, что ты лежишь где бог постлал — там и смыкай глаза. Другой как на болото вырвется, так сначала сам от пузы наестся, навалится на ягоды, а уж потом вспомнит и про дом, и про наказы жены или матери, да только собирать-то уж не та охота: пьян, сыт, нос в табаке; посидит на кочке, посмаливая табачок, и морошки снова не прочь отведать, ибо эта ягода не приедается, она впитывается в тебя, будто солнечный свет.

Но Мартын не из тех мужиков: редко когда на болоте ягоду бросит в рот — тут словно бы кто озадачивает его, план дает: вот к такому-то сроку заполни посудину, и он, сердешный, рад стараться, язык на плечо, и хоть трудно тянуть ягоду заскорузлыми пальцами — иная и лопнет, обливая ладонь липким соком,— но многих искусных собиральщиков настиг бы он, если бы оказались рядом. Кажется, одному куда спешить, никто не гонит, никто ягоду из-под носа не выдернет — собирай себе как бог на душу положит. Но Мартын вывернул из пестеря ведерный туес, костыльки воткнул, где повыше было, на них сверху брезентовый кожушок накинул — получилось вроде флага, и пошел, вернее пополз по болоту строчить морошку — только медвежье сопение прокатилось по еловой раде. Мартын ничего лениво делать не умел, Мартыну нужен азарт, ему нужно себя раззадорить, чтобы любая работа, даже самая занудная, стала удовольствием, чтобы тело отмякло, душа не томилась и кровь легче струилась по жилам, а для того и надо сначала заспешить-заспешить, чтобы пóтом насквозь прошибло, тогда и забыться в легком угаре.

Словно с похмелья очнулся, когда увидел, что туес полон, зрелая морошка осела под собственной тяжестью, и внизу сейчас наверняка с ладонь густого сока, и влезло в посудину не ведро, а добрых полтора. Придавил туес сверху крышкой, просунул в пестерь, приладил удобнее к спине и снова почувствовал, как странно сегодня слаб он, и такого вроде бы с ним еще не приключалось. Пот, холодный и липкий, омыл спину, рубаха прилипла, и стало как-то не по себе, противно и страшно: почудилось, что делает последний шаг и последний вздох. Даже простонал неожиданно для себя,

словно подрубленное дерево скрипнуло от боли, и, глубоко проваливаясь в моховину костыльками, поволок изношенное тело.

С долгими перекурами, сося вересковую трубочку, добрался Мартын Петенбург до лодочки, с туманной головой и гулким, куда-то пропадающим сердцем, оттолкнулся от берега, вяло дернул шнур. Мотор чихнул и замолк, и тогда, свирепея на себя, на свою усталость, на раскисшее сердце, на нетерпимую боль в пахах, Мартын рванул шнур — мотор дернулся, забурлил, толкая легкую лодочку, пестерь с ягодами пополз и упал на днище, где тусклыми блестками скопилась подкисшая вода.

Голова была словно бы забита ватой; непослушными руками неловко снял обороты, наклонился, чтобы поднять пестерь, и невольно как-то правой рукой убрал газ. Мотор поперхнулся и подавился. Мартын еще ругнул тоскливо себя, мол, вот разварня какая — ничего теперь толком и сделать не может, и права была Анисья, что не пускала в лес: сидел бы старый хрыч у порога, да не совался вон, людей бы добрых не смешил.

Так чертыхался в душе Мартын, подволакивая к себе тяжеленный пестерь, а было неловко тянуть, култышки оскальзывали по нашивам бортовины, и не во что было опереться. Петенбург, досадуя, рывком подал пестерь к себе, и что-то так мучительно и нетерпимо зажгло в груди, и воздух загустел — не продохнуть, не напиться им. Брови удивленно вздернулись, открывая поголубевшие печальные глаза, и с этим удивлением в лице Петенбург осторожно обвалился на заднем уножье, удобнее приладив голову и словно бы собираясь уснуть тут. «Ничего, ничего,— успокаивал он себя вслух, шевеля деревянным языком,— тихо-тихо — до дому, там Анисьюшка вылечит. У нее добрые руки — вылечит... А умирать-то бы и погодить нать... Вот и сон... Пожить бы еще, не нажился... Вот и сон в руку... Анисьюшка подымет... Анисьюшка подымет...»

Лодочка тихо скатывалась вниз по реке, небо закручивалось — и вдруг, стремительно сорвавшись, косо пошло вниз: все закружилось в голове Петенбурга, и ему почудилось, что он взлетел свободно и легко, раскинув руки. Он летел вдоль голубого купола, словно привязанный к спасительному концу невидимой нити, воз-

дух стремительно обтекал лицо и оставался где-то далеко позади крошечными прозрачными облачками, будто там застывало его дыхание. «Господи, как хорошо-то!.. Как хорошо!»— закричал Петенбург, видя под собой такую знакомую и милую его сердцу землю.

Тихо скатывалась вниз лодочка, губы Мартына еще шевельнулись и затвердели на выдохе, а глаза под удивленно вздернутыми бровями сохраняли еще недавнюю радость, и что-то живое напрочно закрепилось за остывшей стеклянной голубизной.

Тихо скатывалась вниз лодочка, потом ее засосал прибрежный осот, листья куги обволокли смоленые бортовины, и река, похлопывая о днище, бежала все дальше. Рука Петенбурга свалилась в воду, и меж пальцами, похожими на коренья вереска, засновали серебристые прозрачные мальки.

14

Герман был непривычно задумчив и скучен. Он сидел, опершись спиной о теплую бревенчатую стену, словно бы дремал с открытыми глазами; потом через силу стянул резиновые, отпотевшие изнутри сапоги и с видимым удовольствием раскинул по земле ноги.

— Где База-то?— наконец, спросил Сашка. Ему надоело играть в молчанку.

— Паразит он...

— Может, еще ничего? Он ведь хороший.

— Паразит он... Ты иди лучше уху завари.

Герман ушел в избушку, повалился на нары, закинув за голову бугристые тяжелые руки, сторонне оглянулся вокруг и снова подумал: «До осени досижу на тоне и уйду в море — тоска тут». Прямо перед глазами, позади нар, стоял деревянный тесаный столб, подпирающий потолок. Столб за многие годы был изрублен и исписан, на нем оставили пометы свои все, кто когда-нибудь сидел на стане Кукушкины слезы. Есть среди них и подпись Санахи Коткина, вырезана ножом угловато и глубоко, до самой срединной мякоти; сейчас она побурела от времени, словно окрасилась луковым настоем: САК — Санаха Коткин. Знать, расписался еще до той страшной истории, ибо и подпись звеньевого

Мишки Чуркина тут, сбоку, наискосок оставлена карандашом и сейчас едва видна — какая-то мелкая канцелярская завитушка. И вот уйдет Герман Селиверстов на СРТ, и уже никто не будет знать, что случилось здесь много лет назад, никто, и подписи эти станут странными непонятными письменами... Попробуй разобрать, что САК — это «Санаха Коткин».

Пять лет плавал на СРТ, деревню не навещал, но вдруг вернулся совсем, молчаливый и угрюмый; люди поговаривали, что, когда Санаха пришел с рейса, то по дороге в Архангельск, дескать, его ограбили — взяли большую сумму денег, и после того он стал якобы заговариваться. Первое время к нему приглядывались, в разговоре старались не вспоминать море, не касались заработков; но в речах Санаха был как все, сам и напросился на тоню Кукушкины слезы, сел туда звеньевым; а Герка Селиверстов в том году промышлял на соседнем стане, самом дальнем, и когда приходилось бежать домой, то невольно останавливался у Санахи Коткина.

Санаха заискивающе глядел на Германа, он как-то похудел и обородател по самые скулы, и глаза в темных провалах лихорадочно светились. Герман изредка поглядывал за Санахой и чувствовал себя в чем-то повинным, словно бы это он обокрал мужика, или чем-то обидел, или отнял свободу, которой не вправе распоряжаться. Он не мог выносить заискивающего Санахиного взгляда, и потому старался бывать реже на соседней тоне, и, возвращаясь в Вазицу, стал обходить Кукушкины слезы ночью, чем удивлял своих напарников. Оказалось, что тайну, которую взвалил на себя Герман добровольно, не так-то просто хранить. Но вскоре все разрешилось само собой: в тот же сезон, на переломе лета, Санаха Коткин ушел с ружьем в лес, а нашли его уже следующей весной. Но Герман и поныне, порой задумываясь над странной гибелью, не мог понять, а что же понудило мужика вернуться сюда, на тоню Кукушкины слезы, и рядом с нею, в березовой рощице, уйти из жизни, ничего не сказав никому и ничего не объяснив. Теперь два загадочных человека поселились в памяти Германа — Санаха Коткин и отчим Мартын Петенбург, он поставил их почему-то рядом, таких разных, непонятных и не понятых им...

А ночью пробудил шум дождя. Ливень катился по крыше с порывистым шумом, и Герман еще сквозь томление и сон понял, что дождь перемешан с ветром и идет с полуночной стороны. Темно было, как декабрьской ночью, в черное оконце едва сочился тусклый свет, более похожий на плесень. В первый момент Герман еще не понял беды, потому что не расслышал шума моря: ливень был так силен, что затопил в себе и накатный гул волны, и порывы ветра. Там за стеной все смешалось: и дождь, и ветер, и рев воды, создавая мрак, вызывая растерянность и страх.

— Сашка, эй ты!— крикнул Герман в полную темь, потом пошарил в изголовье и зажег спичку. Казалось, что волею колдовства очутились они в октябрьской безысходной ночи в самом конце промысла, когда на стане доживают последние дни, смиряясь с теменью и осенним непогодьем. Сашка лежал скрючившись, как малое дитя, поджав колени к подбородку, и в желтом провале короткого света выглядел мертвым. Спичка зашипела, обожгла пальцы и погасла. И тогда Герман пришел в себя, вздрогнул, а мысли уже беспорядочно метались, и каждая клеточка тела настораживалась, готовая к работе. Вскоре он привык к сумраку, и оказалось вдруг, что в избушке не так уж и темно, как показалось спросонья. Герман толкнул Сашку в плечо, тот оторопело вскочил, пугаясь и по-рыбьи разевая рот.

— Чего тебе, ты чего?

— Послушай,— почему-то шепотом попросил Герман, но слушать не дал, а тут же заорал: — А ну, собирайся живо! Чего расселся, не у тещи в гостях!

Они надели желтые роканы и рыбачьи резиновые штаны, сапоги сразу растянули на всю ногу до самых пахов и кинулись на берег. Ливень стегнул по лицу и заставил отвернуться: сначала показалось, что воздух выкачан, а осталась вокруг лишь эта секущая бесконечная вода, потому что ветер забивал рот, дождь хлестал по лицу, даже больно стало щекам, и нечем было дышать. С болота в море хлынули темные ручьи, спуск от избы размыло, и рыбаки скатились вниз на седалищах, скользя резиновыми штанами.

У моря было светлее, и оттого казалось еще страшнее. Мутная волна катилась с накатистым ревом и гро-

мово рассыпалась на берегу. Только безумец мог покинуть сейчас спасительный берег, ибо что значит человек, эта жалкая тля, перед наполненной безумной яростью плотью, каждая мышца которой взрывается, повинуясь фантастической неуправляемой силе, и вскидывает в мутное небо клокочущие потоки воды. Тут неожиданно стекла по небу молния, словно бы по оконному стеклу царапнули мелом, и следом на своей грохочущей телеге прокатился Илья, высекая из небесных булыг искры. Казалось, дождь сразу запах гарью, потяжелел и присмирел.

А Герман не рассуждал, он не видел этой навальной волны и злого, вздыбленного под небеса моря — краем глаза он заметил только, что тайник стоит, значит, не проспали, и, глядя лишь на эти черные маковки и моля бога, чтобы они не пропали, Селиверстов надрывно толкал карбас, и по сопению около он понимал, что Сашка рядом, а значит, все в порядке. Три раза они пытались завести в прибой тупорылый развалистый карбас, но суденко на россыпи забрасывало боком и заливало, и только на четвертый раз, забредя по пояс, Герман сдержал посудину, а Сашка, лихорадочно работая гребями, вытащил лодку на голомень, где волна была хоть и выше, но не столь частая и дробная.

Если бы их было трое, все получилось бы проще: один сидит на веслах, другой сметывает сети на телдоса и держится за колья, а третий отвязывает веревочные хвосты, за которые крепится ловушка. Но сейчас на веслах сидеть было некому, и рыбаки тянулись за тетивой; очередной волной карбас то и дело заносило в стенку, разворачивало в сетях, и Сашка, хватаясь за колья деревянными негнущимися ладонями, с трудом удерживал посудину около ловушки. Когда карбас проваливался вниз, волна молчаливо и коварно подкрадывалась сзади, как бы становилась на цыпочки и заглядывала со спины — а что здесь делают люди? — потом беспощадно накрывала их сверху, словно бы могильной плитой, поэтому, пробиваясь головой сквозь толщу воды, трудно было продышаться.

Но, знать, судьба была милостива к ним, потому что рыбаки скидали ловушку на телдоса и уже дошли до самого кутового кола; тогда Герман позволил себе несколько расслабиться, чтобы прийти в себя, — остава-

лось лишь снять крайнюю сетчатую стенку. И тут у него даже появилась мысль, а не оставить ли ее здесь, тем более, что потеря невелика? Дождь к тому времени скис и едва сыпал, но воздух был насыщен влагой и ветром. Порой Германа вздымало на вершину наката, и чудилось, что он так и будет взбираться с гребня на гребень в самое небо, пронизанное багровыми прожилками зари, но тут карбас словно бы лишался опоры и стремительно проваливался вниз, в черную пустоту, и думалось, что догонная волна сомкнется над ним и умчит в себя. Сашка хватался за бортовины, распялив крестом руки, и на глянцево-влажном лице глаза его выглядели черными провалами, полными бессмысленного недоумения.

Но крестьянская обстоятельность смутила Германа, да и к тому же эта возня со стихией волновала и будоражила его, душа наполнилась азартной злостью, волосы расползлись сосульками по обширной голове, обнажив просторный розовый череп, лицо задубело и стало багровым от морского рассола и ветра, и только крохотные глазки под крутыми надбровными дугами были снова полны веселого отчаянного хмеля. Ему стало жалко оставлять сетной отбой на произвол шторма, ведь еще через полчаса колья раскачает и выбьет, значит, через день-два надо будет снова где-то смекать сетки и грузила, которые на берегу не валяются, и придется идти к председателю, чтобы выписал, а там разговоров не оберешься. «Нет уж,— подумал,— раз такая повезуха, надо собрать ловушку полностью — и дело с концом».

Одной рукой цепляясь за кутовой вал и чувствуя, как лодка уходит из-под ступни, Герман потянулся к хвосту, которым был привязан отбой, но веревочный конец просолел и задубел, был сейчас упрямей и тверже железа, о него можно было сломать ногти. Обычно хватало рывка, чтобы раздернуть узел, потому что в рыбацком деле каждое действие проверено вековым опытом: штормами, сорванными ногтями и сбитыми в кровь ладонями, морскими купаниями и утопленными неводами, слезами вдов и сиротством — здесь закоренелые привычки предохраняют от несчастий.

Хвост не развязывался, и Герман только сейчас вспомнил, что, когда ставили ловушку, этот веревочный

конец оказался покороче, и он прихватил его на обычный узел, думая, что на следующей воде заменит, но потом все забылось, забылось... Герман выхватил из ножен финку и резким взмахом разрубил веревку, не разрезал, а именно разрубил, и, отпихиваясь, опираясь ладонью о кол, на какое-то время ослабил тело, размяк, словно стоял на берегу, а не на носу карбаса.

Накатная волна молчаливо подобралась сзади, подняла посудину выше кутового кола, и, потеряв равновесие, Герман плашмя упал в воду, однако успев схватиться за оттяжку; карбас смело́ к берегу, а на россыпи повернуло бортом и опрокинуло, едва Сашка успел вывалиться и выскочить на отмель.

Герман висел на коле мешком, пудовые сапоги тянули вниз, волны подхватывали намокшее тело и старались оторвать от зыбкой опоры. Ресницы слиплись, и сквозь студенистые натеки на глазах он с трудом разглядел, как хвостало о берег карбас, как, подобно загнанному зверю, бегал по песку Сашка, запинаясь сапогами. «Вот и все», — подумал Герман и закрыл глаза. Им овладели усталость и безразличие. Стоит лишь отпустить руки, и море поглотит, заполнит водой, он разбухнет, как пинагор, потом его покатит по дну и оставит где-нибудь на отмели, жидкого, в синих пятнах, и чайки будут ходить около и клевать босые ноги. Вспомнился дядя Миша Чуркин, его отекшее черное лицо, и вздутый арбузом живот, и ворон, с хриплым скрипом снявшийся с плоской груди. Герман ойкнул, и его кисло вытошнило. Он вдруг испугался этого видения, и ему страшно захотелось жить.

— Саш-ка-а!.. Ну что же ты!.. Так-рас-так!.. Карбас толкай!

Герман кричал, ветер срывал голос с губ и уносил в сторону, но Сашка, наверное, расслышал испуганные обрывки слов, потому что принялся вычерпывать из карбаса воду.

— Гера...жись!, — расслышал Герман, а пальцы уже слушались плохо и растекались по скользкому дереву, казалось, они лишились костей и силы. Он попробовал содрать с ног сапоги, это ему удалось, и на миг стало легче. Тут Герман совершенно пришел в себя и уже рассудительно и холодно огляделся словно бы со стороны, почему-то представил свои желтые мозолистые

пятки, как они будут лежать на песке, друг от дружки врозь, а чайки уставятся сначала подозрительно, а потом станут клевать мозоли. Он представил это и усмехнулся. И сразу испугался своей усмешки, потому что способности смеяться над собой не знал раньше: «Вот они, Кукушкины слезы, дьявольская тоня... накуковала, сволочь... ну погоди... ружье возьму и стукну... ты допоешься у меня!» Тут очередная волна накрыла его с головой.

Герман уже перестал материться вслух, потому что рот разъедало морским рассолом и нетерпимо жгло. Он протер глаза и вдруг с отчаянием увидел, что Сашки возле карбаса нет, но откуда было знать ему, что парнишка лежит на песке и горько плачет от собственного бессилия.

«Падлюка... дерьмо на палочке... размазня!» — ругал Герман Сашку, а может, и себя заодно, обжигал душу калеными словами и горько травил ее, ведь так не хотелось умирать, и воспаленный мозг мучительно напрягался в поисках выхода. «Нет-нет, пустое... уж мне босиком по дну,— сумасшедше подумал он.— Я по волне, как рыба... говорят, по двести метров под водой... волну поболе дождать — и на гребне... покрепче ногами... ногами лупить... только бы не сдали, не подвели... вовсе заколел... спасусь, научусь плавать...»

Сколько прошло, час или два, Герман не знал, но только по-прежнему оглядывался он, выбирал волну покруче, с белыми пробежистыми барашками по гребню; волны настигали рыбака, скручивали руки, рвали сухожилья ног, но странная звериная цепкость появилась в жилах, они словно бы приросли к кутовому колу, слились с ним и стали просоленной плотью самого дерева. Герман выныривал, отплевывался и снова подстерегал взглядом волну, черную и покатую, с вихревыми струями по склону, встречал ее тяжелым мужицким телом, но рук разжать не мог. Мертвой была хватка задубевших ладоней.

В какой-то миг ему почудилось, что на берегу появились люди, много людей, они суетились на песке, раскачивали карбас и толкали в море. В глазах стояла розовая пелена, в голове студенисто переливалось, и каждая волна выжимала из тела силу и волю... Потом он вроде бы услышал, как кто-то громко позвал

его, над самым ухом раздался весельный бряк, заныло плечо, и Герман куда-то стремительно покатился по скользкому твердому склону, ломая ключицы, голову, спину. «Вот и все»,— прощально подумал он, стискивая дыхание и стараясь выкинуться головою поверх волны...

— Оживет, чего там... Во боров-то, — неожиданно раздался хрипловатый сдавленный голос Коли Базы. Герман разодрал слипшиеся ресницы и, трудно приходя в себя, понял, что лежит распяленный на телдосах посреди карбаса и кто-то ровно толкает его сапогами в череп. Он задрал глаза и увидел Сашку и Колю Базу, которые мерно гребли, наваливаясь на весла. На заднем уножье маленьким королем восседал Гриша Таранин и правил карбас на волну.

Перед самым берегом на отмели посудину резко развернуло бортом, но рыбаки прыгнули в море и, упираясь грудью до ломоты, затянули карбас на песок и кинули якорь. Суденко подкидывало на гребне, волна резко хлопалась в корму, голова у Германа болталась по днищу, словно отделенная от шеи, и больно стукалась затылком. Он упрямо и ненавистно смотрел в сутулую напрягшуюся спину Коли Базы, на слипшиеся волосы, почему-то хотелось кричать и бить парня. А Коля База вдруг повернулся к нему подсохшим смутным лицом, в глазах была тревога и недоуменный вопрос.

— Помочь тебе?

— Иди ты, знаешь! — шевельнул Герман опухшими губами, сам встал на коленки, цепляясь пальцами за бортовины, и тут его снова вытошнило. Коля База подскочил, пробовал поднять, но Герман увернулся и ткнул парня головой куда-то выше колен.

— Ты чего, а?.. Не я бы, дак рыб кормил...

Опираясь о нашивы карбаса разбитыми ладонями, из которых уже не сочилась кровь, Герман поднял восковой бледности лицо с черными подглазьями и устало глянул на Гришу Таранина, на Тяпуева — они виделись как сквозь туман, расплывшиеся, с зыбкими серыми лицами. Согнутым пальцем он поманил Сашку, тот готовно подбежал, склонился, подставляя мокрое плечо. Герман крючковато и больно схватил парня за ухо, подтянул к себе и шепнул:

— А ты, дурочка, боялась, а?— и в болезненной гримасе раздвинул губы.

Потом Герман распяленно лежал на нарах, а Сашка суетился у плиты, готовил чай. Коля База, поникший и встрепанный, сидел в ногах у звеньевого и с убитым видом канючил:

— Ну прости, Герка. Не назло ведь. Ну погорячился, сглупа все. Дору угнал, пусть засудят, но как хорошо хотел...

Герман молчал, невидяще смотрел в потолок табачного цвета глазками, и казалось, что на них лежали белесые студенистые бельма. Багровое лицо опухло и одрябло, походило на избитый кусок говядины, волосы колтуном засохли на голове от соленой воды.

— Мы это дело так не оставим. Засудим, уголовник проклятый! Он еще ружжом стращать,— сулил Гриша Таранин, беря инициативу в свои руки. Он уже готов был схватить ружье, стоящее у двери, и под конвоем вести парня в деревню.

— А ты замолчи, Чирок,— огрызался Коля База.

— Припаяют статью, попрошу судью, чтобы поболе дали...

— Гробокопатели... Еще посмотрим, кому припаяют. Я-то отсижу, а вам без жалости отвалят. За это хорошего не сулят.

Иван Павлович молчал, рыхло отвалившись к стене, и было непонятно, о чем думает он, стеклянные глаза осоловели и тупо глядели на скомканную волосню Германа Селиверстова. И неизвестно, чем бы кончилась эта перепалка, но тут неожиданно подкатил под берег колхозный трактор. Из деревни привезли известие, что умер Мартын Петенбург. Сначала все недолго молчали, тупо переглядываясь,— весть о смерти не воспринималась и казалась надуманной.

— Собирайся, идол!— прикрикнул Гриша Таранин на Кольку.— Ой, как же так, а?— запричитал он.— Только что жив был, такой человечище, а помер. Царство ему, страдальцу... Это тебе погинуть-то надо бы,— бросил он Кольке. Тот, растерянный и бледный, тупо улыбаясь, стоял возле порога, не зная, на что решиться.

— Будь здесь,— буркнул Герман, проходя за порог, и никто не посмел перечить ему.

Только у деревни, обдутый встречным морским ветром, Герман чуть пришел в себя. Он так и не спросил у тракториста, отчего умер отчим и как это случилось, а подумал мельком и с некоторым облегчением, что, слава богу, нынче матери хоть полегче станет, а то замучилась, вовсе извелась с безногим: и то ему неладно, да это не так — уж больно капризный стал.

Он пробовал представить отчима живым, но прошлый облик его как-то стерся из памяти, чуть помнилось лишь, как раздевался он, войдя в избу: длинную офицерскую шинель высоко подвешивал на деревянный крюк возле порога, почему-то осталась в памяти медная цепочка вместо вешалки. Запомнилось, как проходил в красный угол, сразу закидывал ногу на ногу и затягивался трубочкой. Обычно сидел молча, уйдя в себя, с детьми был не то чтобы неласков иль недобр, но как-то безразличен; мать суетилась подле, стараясь угодить ему, таскала на стол еду, и ел он всегда в одиночестве и потом сразу же уходил на работу. Герман не помнил уже, был отчим добр или скуп, угрюм или весел,— осталась в памяти лишь эта отчужденная постоянная молчаливость. И только в старости, когда обезножел и колесная тележка привязала к себе, Мартын стал говорлив и нервен, порой смеялся, всхлипывая и топорща котовьи усы. Но к тому времени Герман уже повзрослел, потом и вовсе отделился своей семьей, и отчим оставался ему по-прежнему далек. Но он видел, что старик и нынче был неразлучен с обидой, какое-то глухое печальное воспоминание постоянно жило с ним...

Дома — просто на удивление — мать не вопила в голос, вся ссохлась и закаменела, коричневая кофта обвисла на вялых плечах и бесплотной груди, словно и не выкормила четверых, и впервые Герман увидел, какая ныне мать крохотная и кособокая. Знать, подкосили ее ветры, подточили дожди, не долго и ей осталось топтать землю: еще год-другой походит на могилу к дедку своему и тут же покорно ляжет рядом.

Жалость шевельнулась, горько запершило в горле, и, забывая на миг каменную телесную усталость и боль, он прислонил мать к себе, неловко погладил плечи. Анисья подняла пустые глаза, на дне которых хоронилась слеза, и сказала болезненно и глухо, словно бы винясь:

— Я во всем виновата. Не сберегла Мартына, ой, не сберегла.

— Брось ты, мать. Чего на себя...

— Сердце тосковало. Почто бы не удержать...

— Где?

— В лес направился по ягоды. Набрал, полный туес набрал, а сам-то ни одной ягодки не спробовал.

Казалось, что мать вот-вот заплачет, лопнет и прольется душа долгой обжигающей слезой, и горечь отмякнет в горле, не так станет надсадно жить, и тогда можно будет подумать с толком, как проводить Мартына в последний путь да как людей обиходить, чтобы не стыдно было. И опять слеза не покинула набухший глаз.

— Ты посмотри, Гера, сколь он розовый. Может, живой?

— С сердцем, наверное...

— Аха, с сердцем,— безвольно откликнулась Анисья за спиной сына.— Дак како тут сердце выдержит. Железно надо...

Герман прошел в горницу, отчим был уже обряжен, лежал в гробу и казался плоским, только голова с непослушным сивым волосом, который так и не смогли прибрать, казалась отдельно лежащей и живой — за двое суток не увяли щеки, побитые толстыми морщинами.

«Вот и я так же мог лежать»,— внезапно подумал Герман и озяб спиной.

— Может, живой?— снова со странной надеждой сказала за спиной мать. Герман очнулся, вздрогнул, внимательней пригляделся к отчиму, и даже померещилось на миг, что отчим моргнул неплотно прикрытыми глазами, а сквозь коричневые веки сочится живая голубизна.

— Да не...— саму себя опровергла мать.— Фершалица Дуська обследовала, говорит, от сердца.

«И я так же мог лежать»,— снова подумал Герман и, насильно отвлекаясь от навязчивой мысли, спросил, не отрывая взгляда от отчима:

— Что делать-то, скажи?

— Могилку бы надо, Герман. Могилку...

Анисья говорила монотонным ватным голосом, словно и сама готова была лечь и тут же умереть, и от ма-

териных покорно-равнодушных слов у Германа еще больше мерзла спина. Он повернулся и пошел прочь, но еще слышал, как стонала у гроба Анисья:

— Меня бы казнить, боженька. Ты пошто святого человека забрал? Это меня бы, беспуту, господи...

*
* *

Мартына Петенбурга хоронили тридцатого июля. С утра накрапывал дождь, деревня намокла и казалась траурно-черной. Мартын плыл в воздухе, на плечах людей. Старухи, как грачи, неутомленно и покорно шептали:

— Экого человека господь прибрал...

— А уж не обидел. Не, никого не обидел.

— Все бы эки, дак не так бы и жили.

— Анисьюшке-то каково. Жила как у Христа за пазухой.

Главный бухгалтер шел за гробом и нес войлочную подушечку с орденами. Вызвался сам, а сейчас страдал, клял себя и покойника. Сверху назойливо капало на голову, стекало по щекам и неприятно холодило шею. «Поскорей, что ли, зарыть, да и дело с концом. Все одно...»— подумал главный бухгалтер, не испытывая к покойнику особых чувств, но устыдился таких тайных мыслей и в собственное оправдание добавил шепотом:

— Того свету не обойдем. И нас когда ли...

Руки затекли, и он поправил подушечку, задирая ближе к подбородку, будто хотел закрыться ею от дождя. Красные звезды, омытые сыростью, темно побагровели, словно налились кровью. Подушечка была белой: никто не догадался обшить ее красным материалом, а когда хватились, было уже поздно.

— Настрадался, сердешный...

— Наробился... Бывало, в председателях-то бежит по деревне в опорках на босу ногу, только штанины завиваются. «Бабоньки, бабоньки,— кричит,— не осиротите! Работа киснет».

— У них у всех к работе руки лежали, такой уж род. И Парамон-то экий же был.

Тут огибали дом Тяпуевых, на мостках — все семейство, а чуть обочь сам Иван Павлович, похожий на рас-

трепанного воробья, какой-то помятый весь, словно бы больной. Бабы шептаться перестали, загляделись, натолкнулись на Анисью, та подняла голову и встретилась глазами с Иваном Павловичем. Тяпуев отвел взгляд, и когда процессия миновала, пристроился с краешка. Люди не шли навстречу похоронам, а поджидали возле своих изб, и черная грустная толпа втягивала их в себя, разрастаясь и тучнея; дождь перестал, но набухшие тучи волоклись по самым людским головам.

Иван Павлович отряхнулся, натянул шляпу потуже на лопухастые уши, бабьи плечи оттянул назад и прогнулся в пояснице. Неприятно-пронзительным взглядом он прострелил толпу насквозь и пристально вгляделся в того, кто плыл над людьми. Что-то суеверное кольнуло в груди, и Тяпуев вдруг смутно забоялся смерти, представив, что когда-то и его вот так же вознесут над головами. Да нет, пожалуй, не вознесут: шишка по третьему разряду — вот кто он, да и в городах, ежели по совести сказать, и самое большое начальство не таскают, нынче все на машине, чтобы поскорее спихнуть. И что-то, похожее на зависть, шевельнулось в душе.

Иван Павлович оглянулся, прошелся взглядом по лицам: хотелось знать, не наблюдает ли кто за ним. Снова вспомнил недавний, такой сумасшедший день. «Урод проклятый сунулся, кто и взрастил такую заразу — голова не на том месте!» — честил Тяпуев Колю Базу.

А голубой городок надвигался; он выстроился когда-то на вершине сухого холма, поросшего можжевельником, и был виден издалека. Строился он не враз, а многие столетия. Сначала был белый от крестов, потом — посеревший от веков и дождей; нынче каждую могилу обносили оградкой, которую покрывали в небесный цвет. Люди ложились сюда навсегда, но — странное дело — кладбище не разбухало, не разбежалось по склонам, а по-прежнему умещалось голубеньким гнездом, многоэтажным поселением.

Герман шел вслед за гробом и придерживал мать: она опала сыну на плечо и едва волочила ноги, сразу обессилев и одрябнув телом. Поднимались в затяжную гору, гроб накренился, и Герману было хорошо видно усохшее лицо отчима. «За что же мать любила его? Неуживчив, раздражителен, все-то ему выложь да по-

дай, безногий... А она: «Ой, лучше бы мне помереть!» — подумал Герман о матери. Вспомнилось, как однажды с Мишкой Качеговым вытрясли чужую рюжу, и об этом как-то мигом узнали на деревне — разве здесь скроешь что? Тогда отчим первый и последний раз поднял руку на Герку. Герка вертелся так и сяк: «Не я, это Мишка Качегов подначивал». И тут что-то стряслось с отчимом; он побледнел весь, и затрясся, и стал страшен. Пугаясь этого опустевшего лица, Герка покорно спустил штаны, и Мартын офицерским широким ремнем безжалостно выходил парнишку, приговаривая сквозь зубы: «Не за воровство порю, а за подлость. Говори: я украл, я украл... На чужих слезах счастье не вырастишь. Ишь, падленок, на чужие плечи грех свой валить. На-на, получай. И только зареви, еще пуще высеку... На чужой хребтине в рай задумал. Напакостил — отвечай».

Тогда Герка вырвался из рук отчима, заперся в кладовке и стал кричать на всю избу: «Ты мне не отец, не трогай меня!» — «Дурень ты, ой дурень», — только и сказала мать, подойдя к двери, а потом зашлепала калошами прочь. Все от него отступились. Герка, тихо выплакивая в совершенной темноте свою горесть, соскучился от одиночества, вернулся на кухню и, лежа на полатях, еще долго сопел носом и оглаживал горящий зад. Отчим сидел у окна, крутил лохматой головой, досадуя на свою горячку, смущенно подглядывал за Анисьей, и жена, чувствуя его виноватый взгляд, успокаивала тихо, почти шепотом: «Ну успокойся, чего ты... Ну выпорол, эка невидаль».

Но Герка слышал эти слова, и ему казалось, что мать предала его, и он еще пуще горевал, заливаясь молчаливыми слезами. А отчим говорил матери во весь голос, наверное, для того, чтобы слышал Герка, и этим как бы просил прощения у мальчишки: «Нехорошо как-то, вишь вот... Но в море-то дно золотое, а в людях земляное. Все может родиться — и хорошее, и дурное, смотря, что посеешь да как присмотришь... А он на чужой хребтине в рай...»

Вечером, когда отчим уже спал, мать забралась к Герке на полати и, прижимая его к теплому животу, шептала в самое ухо: «Ой дурак ты, за что отца так? Он ведь добрый, молиться на него надо, а ты?» — «Да, «добрый», — тянул Герка, не забывая обиды, — даже за

стол вместях не сядет». — «Ой ты, глупыш! — захлебывалась словами мать. — Оттого и не садится, чтобы вас не стеснять. Сам-то лишнего кусочка не съест, все для вас. А ты, у!.. Это ж счастье-то какое, что он с нами»...

Черная толпа залила голубой городок, можжевеловые кусты набухли от влаги и пряно пахли. Небо посветлело, откатываясь в даль немыслимую потончавшим дождливым пологом, а море вроде бы приблизилось и, набухшее, лежало подле холма, наполняясь глубинным светом. Редкие пологие волны, отороченные пенными воротниками, накатывались на песчаную отмель и рассыпались, медленно и беззвучно опадая желтоватой пеной. А уж только потом доносился громовый хриплый раскат.

Гроб еще покачивался над головами, потом на какое-то мгновение застыл, словно люди не решались отдать его земле, и в последний раз Мартын Петенбург еще глянул на море, где освобожденный дух его белокрылой чайкой-поморником тянулся над прибрежной зеленой отмелью, унося с собой черную короткую тень.

15

Тамара на поминки пришла, немного помогла свекрови собрать на стол, но посидела недолго, где-то с краю застолья, почти с мертвым меловым лицом и коричневыми пятаками под глазами; мужа словно и не заметила и первой покинула поминки. Герман тоже поспешил следом, почти трезвый, но нагнал жену только возле своей избы: Тамара будто убегала, понуря голову и сильно размахивая руками, однако дверь перед носом мужа не прихлопнула, оставила настежь, точно чуяла, что он идет следом.

Герман дома еще не был с той самой ссоры, он както сторонне оглядел кухоньку и перемен не уловил. Тамара остановилась у окна, спина ее была отчужденно равнодушна и зла, словно женщина с нетерпением ждала, когда же этот посторонний человек покинет дом, но Герман так и остался близ ободверины, и на отсыревшем мятом лице глубоко провалились потухшие капель-

ки глаз. Голова казалась каменной, и выпитая поминальная рюмка водки только усилила опустошенность души, а ему так хотелось сейчас мира и покоя, и, браня себя за прошлое, Герман ждал, что жена откликнется на мучительный голос его сердца и все забудется, обойдется без визгливых бранных слов и истерик, вскомканных волос и белых от бешенства глаз.

— Тамара, ну чего ты? — спросил едва слышно и сам удивился рыхлости голоса. Плечи жены вздрогнули, но она так и осталась стоять лицом к окну, за которым лежала пустая на отливе река с черными головнями топляков и рыжими проплешинами мелей, и даже не верилось сейчас, что река может быть радостной и мускулистой, бросающей завитые волны на низкие травяные берега, когда над ней, располневшей от воды, стремительно раскачиваются чайки и уходят в сторону с серебристой добычей в клювах. Сейчас река была пустой, и столь же пусты были безрадостные Тамарины глаза, на которых лежала тусклая плесень света.

— Ты вот скажи, Тамара, если ты все понимаешь... Ведь зрелого-то возраста совсем мало жить, а почто мы миром не можем жить, все чего-то делим? А зрелого-то возраста так мало...

И Герман сделал несколько шагов навстречу безмолвной и сиротливо одинокой женщине возле окна, наполняясь жалостью и состраданием к ней, топча и проклиная в душе себя, словно бы только сейчас услышал сердцем всю одинокость обиженного человека.

— Ну прости, забудь, что было, — хрипло попросил зажатым горловым голосом. Тамара обернулась резко и зло, углы губ брезгливо опали, что-то хищное и неприятное было сейчас в побледневшем лице.

— Уходи, видеть тебя не хочу!

— Ты скажи, что от меня надо...

— Уходи, — повторила тупо.

Герман взглянул в ее застывшие глаза, в которых не было ничего, кроме упрямства и раздражения, и, безвольно пожав плечами, пошел прочь... «Что еще надо ей? Тоже мне принцесса на горошине! — наполняясь ответным раздражением, думал Герман. — Все есть, заработок всегда в дом. Детей нет, дак саму винить надо. Ну когда выпью, дак не столь и часто, совсем небольшой процент, ума-то не пропью. С жиру бесится баба.

Ну и пусть живет, ищет себе ровню, на кого можно сесть верхом и погонять».

Герман никогда еще так не страдал душой, и это страдание было для него непонятным: он услышал в себе жалость к женщине, которая случайно стала его женой, и этой жалостью был удивлен.

Откуда же было знать Герману, что даже великое благоденствие и сытость не освободят человечество от страданий?

«...Задумала на плечи сесть да погонять. Забраковала меня, дак можно и погонять? А ведь когда хомут трет, даже лошадь сбесится. Чего еще надо? И в доме все есть: давно ли живем, а завели и холодильник, и стиральную машину, и шифоньер барахла всякого... Ничего, перебесится, мягче будет, сама прибежит». — И уже ни жалости, ни сострадания не осталось в его душе — все потопила и захлестнула мужская самовлюбленность...

Гости разошлись, Анисья с дочерью Галькой сидели обнявшись в красном углу, уставясь мокрыми глазами на разоренный стол, в комнатах пахло едой и тем сиротским и печальным запахом тлена, который еще долго живет в доме после покойника.

Мать взглянула на сына и промолчала, только обежала пальцами кофточку, словно забыла застегнуть ее. У Гальки глаза были опухшие, и, даже перед братом стыдясь своего зареванного лица, она отвернулась, опершись щекой о материно плечо.

— Мать, прости, я, пожалуй, поеду на тоню. Кому-то ехать надо, — сказал Герман, быстро коснувшись ладонью ее руки. Мать равнодушно качнула головой, дескать, что поделаешь, поезжай, а я уж тут как-нибудь сама обойдусь.

Вечер был тихий, море успокоилось и не ворочалось более угрозливо, розовый половик раскатало солнце по едва сморщенной глади, и блики света, похожие на больших разомлевших зверей, легко колыхались на воде. Тихо было, и, утомленно шелестя, накатывалось море на песок, истончаясь до прозрачности, сочилось в желтую зернь и чуть слышно шипело. И даже не верилось сейчас, что еще несколько часов назад над почерневшей деревней накрапывал занудливый дождь и над головами людей свою последнюю дорогу совершал Мар-

тын Петенбург. Знать, природа почувствовала миг большого страдания и сама понурилась в скорби, набухла слезой и уронила ее на мертвое лицо человека; но долгое страдание изнуряет, живым надо жить, и траурное покрывало спало с откровенно сияющего неба. Живым нужно солнце, ведь его и так-то мало в этих местах — так пусть же порадуются люди ему, единственно достойному поклонения, родящему дух и плоть.

Чайка с протяжным выкриком прошлась над самой тракторной тележкой и печально вгляделась в мужиков черными человечьими глазами...



БАБУШКИ И ДЯДЮШКИ

1

— Чудик ты, чудь белоглазая, — сказали вчера ребята. — Ну чего ты мучаешься? Иди к нам в фонд, две сотни всегда в кармане. Раз ушел с завода, пора его и забыть, да-да...

— Но вдруг я бездарный?

— А это, парень, всегда риск. Никто не знает, кто он и что он, пока не случится это... ну это, — сказал Каменков из комбината рекламы, и все отчего-то согласно вздохнули, невольно и пристально вглядываясь в себя.

Праздновали Гелину «свободу» в крохотной его комнатушке с прокуренными стенами, сидели до утра с окуневыми от выпитого вина глазами, но хмель не брал, только была усталая горечь под горлом. Потом пробовали что-то петь, протяжное, с выносом, на старинный манер, но тут же скомкали песню и пошли в сонный город.

И осталась на стене картина: возле длинного гнедого коня стоит на коленях женщина с раскинутыми руками, похожая на крест, у нее розовые раскосые глаза; когда Геля просыпался порой средь ночи, он даже в густых осенних потемках знал, что в него вглядываются эти тревожные глаза. Ребята у него спрашивали: «Это что за прокурор?» — «Моя душа», — словно бы в шутку отвечал Геля. «Тогда ее нужно залить водой, а то она сгорит. Может, вызвать пожарную машину?» — «Для этого не хватит воды». — «Конечно, не хватит: душа твоя промаслилась на заводе, и вода теперь ее не возьмет — нужно промывать спиртом».

Они шли сонным серебристым городом, он был по-

хож на седого доброго старика, потому что рождалось утро и крыши домов были белыми, а улицы потеряли свою настороженную угрюмость, отмякли и звуки неожиданных шагов легко и гулко раздавались по всей длине дороги. Река курилась: казалось, она прокипела до дна и скоро можно будет снимать с нее пенку, вода отступила, обнажив желтый ребристый песок. Вода была ласковой, она окутала Гелю и понесла. В легком тумане поскрипывали боны: видно, только что прошел буксир — его хриплый гудок еще не истаял над рекой, — и когда косая волна легко толкнула Гелю в грудь, он нырнул и за серым, как городские сумерки, верхним пластом разглядел мрак, какой-то настороженный бездонный провал; Геля невольно вздрогнул и, быстро теряя воздух в груди, вышел на поверхность. В такую рань он еще никогда не нырял и потому не знал, что у воды тоже есть свои утро, день и ночь. Испуганный мраком, Геля плыл на спине, чувствуя кончиками провалившихся ног холод реки, как будто чужое неживое прикосновение, но в душе его зарождалось уже что-то детское и восторженное — от парной воды, белесого потрескавшегося неба с луковичного цвета закрайками, сонного звончания бонов; он скосил глаза влево и увидел расплывчатые сиреневые скопища домов, похожие на декорации, серый волнистый пляж и друзей, отсюда казавшихся совсем крошечными.

— Гелька-а, давай хватит! — настойчиво кричали с берега, но Чудинов все так же полусонно покачивался на упругой воде, едва пошевеливая ладонями и всей душой чувствуя свою слитность с неутомимо бегущей рекой, утренними вздохами призрачно-сиреневого города, плавным звончанием бонов. Матовое небо серебристо спустилось к самой воде и как бы подъяло Гелю, лишая его плоти. Друзья на берегу еще покричали-позвали, потом махнули рукой и ушли. И только тогда Геля вышел на плотный ребристый песок и с ощущением чуткого покоя в душе отправился домой...

Потом он лежал на кровати, слушал в себе покойную умиротворенность, боясь нарушить, разбить ее невзначай, хрупкую и неустоявшуюся, и даже опасался шевельнуться резко или подумать о чем-то стороннем. Сквозь тяжесть набухших век Геля равнодушно и сонно глядел на бесплотную женщину на холсте, в ее розовые,

прожигающие глаза, похожие на две рыбы, на повитые узловатыми жилами сухие раскинутые руки и против собственного желания настораживался душой. Простыни нагрелись, и прохлада тела исчезла. И словно бы вместе с духотой откуда-то поднялось далеко спрятанное чувство одиночества.

«А вдруг я бездарен?» — неожиданно и испуганно спросил себя Геля и окончательно выплыл из легкого дремотного покоя. И уже с раздражением вгляделся в холст, невольно отмечая неясность образа и неточность цвета...

Геля еще помаялся в жарких простынях и, поняв, что не уснет, оделся и вышел на улицу. Он сразу поразился угрюмой мрачности города: пыльный серый полуночник шел со стороны моря и гнал по небу низкие хвостатые тучи, похожие на стадо быков. Сразу родился холод, пробирающий до костей, словно бы всю неделю и не калило солнце.

Геля спустился на пляж, здесь ветер был еще пронзительней, река пенилась, и, тяжело опадая в провалы волн, сиротливо шел черный крошечный буксир. По пляжу, белому от подвижного, снятого с места песка, разбегались последние купальщики, и следом за ними перекати-полем катились вороха газетной бумаги и объедки. Ветер забивал горло, валил с ног, и, чтобы удержаться, пришлось прочно ухватиться за стойку зонта. Круглое полотнище, распяленное на железных толстых прутьях, гулко надувалось, потом опадало, всхлипывая, и вновь трещало от воздушного вихря; казалось, что сейчас пляжный зонт оторвется от песков вместе с Гелей Чудиновым и, подобно семени одуванчика, скоро промчится над городом, пронзит толстую ворсистую тучу и исчезнет совсем.

Но ветер неожиданно стих, стал теплым и легким, как дыхание, небо на западе очистилось и огненно загорелось, все пронизанное длинными сиреневыми дымами, и, как отражение заката, струилось в реке багровое облако; порой его пересекали неторопливые буксиры, они казались черными странными рыбами. Река не то чтобы успокоилась — волны ходили по-прежнему высоко, — она как бы надулась от пришлой морской воды, выгнулась меж берегов, и дальние острова с маленькими деревеньками сейчас были едва видны, чудилось,

что острова скрылись под водой: наружу торчали только крыши изб и вершины деревьев.

Геля постепенно отогрелся, озноб прошел, и только в душе не успокаивалась тревога, как отражение недавнего возмущения природы. Он закатал штанины и вошел в мелкую воду — она оказалась теплой, как парное молоко, и когда он вернулся на берег, ноги сразу покрылись пупырками дрожи. Тут что-то заставило Гелю Чудинова оглянуться, но душа его не взволновалась, когда он увидел, как вдоль реки, с покорной точностью повторяя извилистые очертания берега, бежит собака, вся вялая и какая-то опущенная: мало ли этих животных, бездомных и вечно голодных, с сиротской печалью в слезящихся глазах, болтается по городским закоулкам — и Геля безразлично отвернулся, разглядывая огнистый закат. Но пути их пересеклись со странной закономерностью, и собака не захотела уступить человеку. Геля обернулся в то самое мгновение, когда, подобно электрической искре, ударила пониже лодыжки внезапная боль: собака прокусила ногу, и то ли она сделала шаг в сторону или Геля испуганно отскочил, но только они оказались друг против друга. У суки была длинная острая морда с желтыми бровями над дымчатыми печальными глазами, а челюсть широкая и уродливая, с неровным прикусом и слизью в черных бархатистых углах губ. Лишь на какое-то мгновение встретились их взгляды, и собака тут же равнодушно повернулась и мерно побежала дальше, поджав хвост и неряшливо разбрасывая тонкие кривые ноги. Геля опомнился, хотел схватить палку или камень, но под руку ничего не попадалось, и он с досадой бросил вслед пригоршню сырого речного песку — сука так и не обернулась и вскоре скрылась за поворотом. Геля осмотрел ногу, увидел след двух клыков и крохотную капельку крови, быстро смахнул ее, раскатал штанины и пошел через пляж в город, все прислушиваясь к ноге. Но кроме тонкого нытья ничего не чувствовал и потому вскоре успокоился и, когда оказался на улице, почти забыл о происшедшем.

А ночью Геле снилось что-то фантастическое: будто он едет верхом на тракторе и хотя не видит его, но знает, что это именно трактор. Потом оказалось вдруг, что он

позабыл, как остановить его, а потому спешно привязал к изгороди, а трактор оборвал веревку и скрылся в чьем-то доме. Геля, схватившись за голову, со страхом думал: «Господи, куда же лезет эта бездушная тварь?!» И тут на крыльцо вышла женщина, вся в слезах, и, качая укоризненно головой, стала показывать рукою на дверь, где скрылся трактор, и Геля понял, что случилось что-то непоправимое...

Неимоверным усилием воли он заставил себя пробудиться, ужасаясь реальности и жуткости сна. Ночь, наверное, кончалась, и по высокому потолку скользили тусклые блики света. Геле отчего-то было страшно, и он, обливаясь холодным потом, с необъяснимой тоской представил, что его действительно укусила бешеная собака, а значит, он скоро умрет... «Нет-нет, бред какой-то! Бежала по пляжу одинокая голодная бродяжка, я заступил ей дорогу, и она рассердилась и укусила. Что с собаки спросишь?»

И тут тонко до самого колена заныла нога, и снова вспомнилась темная, как ночь, сука с желтыми бровями. С холодной расчетливостью, как о ком-то постороннем, Геля стал предполагать, сколько осталось ему жить: «Неделю, наверное, иль две, потом будет меня душить... Глупо, как глупо, только новая жизнь открылась. Столько всего хотел сделать, прочувствовать... Рок какой-то иль судьба. Один как перст — вот неприятность. Хватится ли кто?.. Домой, домой надо! — вдруг ухватился он за эту спасительную мысль, лихорадочно вскочил с кровати и распахнул чемодан. — Как же я раньше-то, дурило? Ну конечно же, домой! Мать выходит, поставит на ноги, а если и что, так — дома, своя земля. Приду, скажу: «Мама, здравствуй!» — и никаких телеграмм, как снег на голову... А может, еще обойдется? Ведь не может же так просто — дико даже: раз — и все...»

2

Геле подумалось, что он вроде бы и не отлучался из родных мест: тот же крошечный аэродром, в дальнем конце которого паслись коровы; тридцать серых ступенек вверх на угор, мимо провинциального вокзальчика

с большим плакатом по фасаду, больше похожего на деревенский амбар с тремя мутными оконцами, вросшими в землю. Геля обошел встречающих, ожидая, что его окликнут, будут расспрашивать, но его не узнали, и Геля подумал, что он теперь вроде бы чужой здесь. Но запах родины витал в воздухе, свой, какой-то особый: пахло иван-чаем, пылью и бензином, луговыми травами и еще бог знает чем. Геля не стал ждать попутного автобуса и, прихрамывая, отправился глинистой тропинкой в Слободу. Окраина была розовой от цветов, и даже в самом городке нынче пророс вокруг иван-чай, угловатый и дерзкий, как подросток; он сиреневыми сосочками протыкался сквозь белые зонты пахучих корянок и частые оспины тысячелистника, отбивал к заборам пыльную крапиву и, подставляя недолгому солнцу ожерелье негромких прозрачных колокольцев, бросал вокруг себя непостоянный розовый отблеск, от которого и становилось так радостно и немножко грустно.

Геля шел в верхний конец городка, и его обтекали какие-то громоздкие волосатые парни с обветренными лицами, они оттесняли его к самому краю мостков и топотали по скрипучим мостовинам, как подкованные лошади, руки их были тяжелые, в черной смазке, а от сальных, словно кожаных, брюк шел знакомый аромат соляра и бензина. Встряхивая общипанными головами, обгоняли плечистые девицы, они порой невнимательно оглядывались на Гелю, но смотрели безразлично, как в воду, — да и что можно было разглядеть в этом веснушчатом скуластом парне с коричневыми тенями под глазами? Девчонки обманчиво хихикали и, сразу забывая о нем, спешили дальше, ступали они твердо, по-мальчишечьи, на всю рубчатую подошву дешевеньких вельветовых тапочек, и легкие платьица легкомысленно открывали длинные ноги. Шли какие-то пожилые люди, лица в рыжем неровном загаре, больше похожем на ржавчину, в усталых глазах, в сетке морщин угадывалось что-то смутно знакомое: вот в этот щербатом лице, и в том утином угреватом носу, и в этих круглых, сливочного цвета щеках...

Было жарко, даже пекло сквозь рубаху, будто по плечам водили горячим утюгом, голова затяжелела в затылке, захотелось в тень. В душе мутно шевельну-

лась неясная досада на этих людей, которые куда-то спешат, чему-то смеются, размахивая руками, будто есть чему радоваться, и уже брезгливо смотрел Геля Чудинов на оплывшую усталую женщину, которая катила ему навстречу коляску. Волосы черным кулем лежали на ее голове, едва прибранные белым пластмассовым гребнем; женщина катила коляску, низко пригибаясь к белому конверту, и что-то сюсюкала, собирая в трубочку толстые губы, и, когда она проходила мимо и подняла безразличное лицо, что-то неуловимо знакомое, почти родное мелькнуло в черемуховых близоруких глазах и неровно посаженных бровях. Геля навязчивым взглядом уцепился за эти неровные бровки, и женщину, наверное, обидел неприличный осмотр, потому что она неловко мотнула головой и досадливо бормотнула что-то, протаскивая коляску между Гелей и кромкой мостков. А Чудинов еще долго смотрел на неровный подол платья, словно изжеванный снизу, на икры ног, повитые синими набухшими венами, — видно, неудачно рожала. У женщины спина была тяжелая, почти горбатая — ногам, наверное, тяжело нести такое тело, даже каблуки дорогих лаковых туфель скособочились, — а шея под кулем черных жестких волос виднелась белой и чистой. Геля еще долго и завороженно смотрел и на тяжелую спину, и на покатую шею, почти физически ощущая ее гладкость, и ему вдруг почудилось, что он когда-то мимолетно гладил эту молочную кожу, едва слышно прижимаясь к ней робкими губами, — от этого воспоминания парень мучительно покраснел, и легкий холодный пот скатился по ложбинке спины.

А женщина внезапно обернулась, чуть снизу, косящим взглядом посмотрела на Чудинова и круглым движением руки поправила что-то на плече, видно, бретельку от рубашки; и по тому, как она глянула, сразу вспомнилась Талька, его первая давняя любовь, его постоянное сновидение. «Господи, неужели это она, когда-то тоненькая, как солнечный луч, девчонка?» — и Геля растерянно отвернулся, пугаясь своих воспоминаний.

Неужели тринадцать лет прошло с того дня?.. Помнится, он тогда возвращался на пароходе домой, он уже курил, и курить ему нравилось; от табака, а мо-

жет, от сонного шевеления моря кружилась голова. Лениво колыхались густые волны, похожие на огуречный рассол; музыкой обеда гремели в ресторане ножи-вилки; капитан в белом кителе с заштопанными локтями прошелся по палубе, рассеянно оглядывая людей. С моря наносило прохладу. Талька стояла рядом, обхватив правой рукой смуглое плечо, твердые маленькие губы потрескались от ветра и солнца — у девчонки была привычка часто облизывать их. Геля влюбился в нее сразу. Они говорили какие-то пустяки, захлебываясь дурашливым смехом, а ночью, когда корабль стоял на рейде в ожидании приливной воды, украдкой целовались, затаившись за брезентом шлюпки. Талька то игриво отпрядывала от Гели, упираясь пухлыми ладошками в его плечи, то неожиданно вновь припадала к груди, словно у нее отнимались ноги, и тогда Гелю всего обносило жаром рано заневестившегося тела. Парень пламенел и, зажмурив глаза, по-щенячьи все тянулся к ее неожиданно прохладным губам, испытывая доселе неизвестное блаженство и любопытство.

Добравшись до Слободы, Геля на следующий день подкараулил Тальку под ее окнами. Она вышла в коротком штапельном сарафанчике с широкими бретельками, обшитыми бордовой тесьмой («Боже мой, как помнилась каждая любопытная шероховатинка их встречи, каждый оттенок ее!») Лямки, наверное, были великоваты, часто спадали, обнажая покатые плечи и крохотную незагорелую ложбинку на груди, и Талька медленным запоздалым движением поправляла их, подсматривая за Гелей исподлобья и чуть косяще.

Тогда они долго гуляли у Инькова ручья, придорожные поляны были розовыми от иван-чая, он тогда рано отцветал, и ватные шапки его липли к шерстяным штанам. Геля все приглашал посидеть в разнотравье: он еще не забыл запаха ее поцелуев — они тревожно жили на его губах, — и Гельке хотелось, чтобы все продолжилось как можно скорее. А Талька не соглашалась: в ней уже жила мудрая женщина, зорко поглядывающая за собой как бы со стороны, и эта женщина чего-то страшилась и оттого настораживалась. А может, было все куда проще, может, этот рыжий мальчишка с неровно обгрызенными ногтями, просто не нравился ей, рано открывшейся для любви со всеми ее же-

лаииями и запретами? Кто знает, кто знает, но только девчонка скучно стояла в стороне, а Геля пьянел от цветов и воспоминаний, кусал травину, припадая к зарослям иван-чая, глядел на старинные кресты недалекого кладбища и чувствовал, как в нем созревают и тихо копятся слезы.

Приближался вечер, легкий ветерок накатывался с реки, становилось прохладно, и какая-то горькая печаль, похожая на предчувствие нежданного расставания, поселилась в Гелиной душе. Он гнал от себя грусть, стегал Тальку пучком травы по голым ногам, неловко посмеивался, а девчонка капризничала, задирая верхнюю губу, и просила: «Отстань, ну чего пристал. Гелька, отстань, а то уйду».

И вдруг Гелька вскочил, предложил идти на кладбище, понимая, что девчонка не решится, но она неожиданно согласилась и пошла вперед, все так же скучая. Уже вечерело, и дальние поля на угорах посинели, черная туча наискосок перечеркнула то место, где недавно было солнце, птицы притихли, и душная тишина, предвестник летней грозы, родилась на луговых полянах. Ветер вверху, в самых куполах понурых кладбищенских деревьев, тосковал и шуршал жестяной от жары листвой, цветы на могилах казались черными, что-то незнакомое и жалостливое было и в этих, заросших травою холмиках, и в железных, травянистого ядовитого цвета венках, и в тесовых крышах старинных крестов, и в белой пирамидке недавней детской могилы. Геля потянулся к Тальке, нашаривая ее влажную ладошку и не понимая, зачем они тут; сладковатый запах прогретых могильников вызывал тошноту; парню чудилось, что Тальке столь же тоскливо и потому ей особенно желанно в эти минуты живое человеческое тепло. Но Талькину руку Геля не поймал, девчонка закричала: «Фу как страшно! Ну и кавалер!» — и побежала меж могил, а тут и молния беззвучно и ярко стекла по черной, уже ближней туче.

Они тогда успели забежать под мосток, в густую прель, где пахло плесенью и тленом. Иньков ручей подсох, и только в редких бочажинах, покрытых зеленой ряской, жили пупырчатые лягушки. Сейчас в воде лежало отражение тучи, и хотя ноги то и дело сползали по отпотевшей глине, ступить в воду было страшнова-

то, да и лягушки то и дело натыкались на босые пальцы и отпрядывали в душный сумрак. Потом, будто парное молоко, хлынул июльский дождь, он сразу пригнул траву обочь канавы, и толстые пузыри, похожие на лягушиные глаза, родились на белой от воздуха воде. Тонкие язычки ее подточили густую отцветшую крапиву, затопили комкастую глину и просочились под босые ступни, щекоча кожу подсохших пяток. И тут волнующая близость мгновенно родилась в обоих сердцах. Геля, робко оглаживая ладонью повлажневшее Талькино плечо, зашептал что-то глупое, потянулся к прохладной коже детскими простуженными губами, боясь коснуться ее рта, и словно посторонним слухом уловил ее тихие непонятные слова. Талька шептала что-то хорошее, и ее литые титешки под намокшим сарафанчиком оттопырились и потянулись к Гелькиной распахнутой груди.

Но это было лишь мгновение, потому что Талька по-женски уловила опасность в этой душевной близости, отпрянула от парня, подхватила его ладонь и нырнула в грозовой дождь, как ныряют в знакомую речку. Дождь стегал их по губам, по глазам, а они целовались сквозь скользящую воду, но уже по-детски, не испытывая томящего душу нетерпения.

Они расстались лишь на час, только чтобы переодеться и встретиться уже на садовом пятачке. Талька махнула прощально рукой, но глаза ее показались Геле незнакомыми и холодными, как тогда, близ кладбища, и опять неясная грусть посетила сердце и еще жила недолго в нем, пока парень бежал к дому.

А потом как-то само собой вышло, что, оттягивая радость встречи, он зашел к новой свояченице, где догуливали свадьбу, поздравил молодых и незаметно для себя очутился за взбаламученным пьяным столом. Тут Гелю стали усиленно потчевать брагой, а она была светлая, как дождевая вода, и лишь едва уловимый желтый электрический отсвет падал на граненые стенки стакана; она была пряной, как морошечный сок, и прохладной, как погребной квас, — ну как тут было не разговеться? Геля выпил четыре стакана один за другим, посматривая на часы: ему хотелось появиться на площадке неожиданно, но уже хмель незаметно завладел им, и даже какое-то время Геля чувствовал леность

во всем теле и желание еще посидеть за этим вольным столом. Но, вспомнив Талькины поцелуи, словно бы вновь ощутив их на своих губах, он встал и, заглушая хмель, чуть пошатываясь, вышел на влажную, промытую дождем улицу.

В саду было знобко, деревья впитали в себя дождевую сырость — запаслись на случай жары — и сейчас набухли влагой, с глянцевых листьев часто и тяжело капало на смородиновые кусты, и по всему городскому саду пахло сладко и грустно. Частые парочки, захватившись в охапку, скользили на глинистых тропинках, гармошка сочилась сквозь прорезь черемухи, парни толпились у деревянных перил пятачка, ненасытно смоля папироски.

Геля вышел на свет и неожиданно среди танцующих увидел Тальку. Ее голова утопала на широкой распахнутой груди Шурки Калинина, парень улыбался и, неуклюже переставляя ноги, клонил к девчонке свою цыганистую крупную голову в мелких угольных завитках, широкие красные ладони небрежно и сильно лежали на Талькиных плечах. Геля неожиданно растерялся, не зная, как поступить, замялся у входа и, скрывая обиду, сразу же отвернулся, будто бы не заметил Тальку.

Вальс кончился, и она с загадочной улыбкой на круглых губах прошла мимо Гельки, шепнула, коснувшись плеча: «Пристал, охламон, отвязаться не могу»,— но тут начался новый танец, и Талька снова не отказалась от Шуркиного приглашения, глаза ее наполнились живым любопытным блеском, и девчонка часто и коротко смеялась, порой оборачиваясь к Геле.

Ее радость больно отзывалась в его груди, захотелось оборвать музыку и драться с нахальным горбоносым Шуркой. И Геля действительно пошел наискосок, мешая танцующим, и дернул Шурку за короткий рукав. Талька растерянно отвернулась, а Шурка трезво и коротко сказал: «Чего тебе, по соплям захотелось? Сейчас получишь!» Геля молча пнул Шурку ниже поясницы и в тот же миг почувствовал, как неумолимая сила влечет его со ступенек, по отсыревшей сочной траве меж кустов, затрещал воротник новой полотняной рубашки, лопнула левая штанина, и больно заныло колено, распоротое черемуховым суком. Геля цеплялся за Шуркины толстые запястья, еще пытаясь оторвать

их от воротника, потом обессилел и сдался. Шурка даже бить не стал, а лишь поставил к смородиновому кусту и коротко и несильно толкнул. «Если зубы лишние, то пересчитаю», — сказал только и ушел, оставив Гелю в высокой загрубелой траве.

Геля лежал в ней, словно в озере, рубашка намокла, холодный озноб охватил тело; падая с черемуховых сизых листьев, звонко дончала капель. Геле стало трудно дышать, пекло в горле и чудилось, что он сейчас кончится здесь и никто не найдет его. Этой мысли он испугался неимоверно и, цепляясь за скользкие корневища, выполз на глинистую тропу. Сквозь вязкое сознание, как сквозь стену, услышал музыку, чей-то возбужденный смех и разгоряченные крики. Геля попытался встать, скрежеща зубами, но злая торжествующая сила опрокинула его на землю. Он еще ощущал, когда прояснилось сознание, что его тащат по мосткам две девчонки-соседки и ноги его, почему-то босые, тянутся по деревянным плахам и цепляются за каждый выступ, как ноги покойника. На себя Геля смотрел будто со стороны, словно на другого человека с его обличьем, и этот, другой, вдруг начал плакать и жаловаться девчонкам: «Я ее люблю, а она меня нет. Я люблю ее, вы слышите?!»

...И вот через тринадцать лет после того позора он встретил Тальку снова. Раньше как-то все не удавалось увидеть ее, да и не было особой охоты. Правда, Чудинов из десятых уст знал, что Талька вышла замуж за Шурку, он, кажется, начал пить и даже частенько бил жену, и, говорят, что Талька будто бы засадила мужика на пять лет, а потом подала на развод. И сейчас, увидев ее, Геля ничего не испытал в душе кроме некоторого любопытства, неловкости от встречи и смущения.

Но зато до боли пронзительно почувствовал Геля, как стремительно идет время, и впервые за многие годы его посетила внезапная мысль, что все неизбежно стареет и уходит напрочь и безвозвратно: вот и деда Спири нет, и бабы Мани, и бабы Натальи, и может случиться однажды, что, подойдя к знакомой двери родного дома, увидит он на ней ржавый от дождей замок, а на трех узких оконцах — косые почерневшие доски.

Геля только подумал о матери, и сразу же будто услышал явственно ее голос и почувствовал вину перед ней, наверное, совсем остаревшей и маленькой. И стало неловко и стыдно, хоть поворачивай назад, на аэродром, чтобы не попадаться на глаза, не выслушивать справедливые упреки, да что говорить — сам-то он каков: хоть бы в месяц десятку матери послал, а нынче и телеграммы не дал ей. А надо бы, ой как надо хоть платьице в подарок иль тапочки какие: вон теперь сапоги резиновые с байковой подкладкой в моде, хорошо бы ей осенью в город ходить, а то грязища непролазная. Иль, на худой конец, ну раз забыл подарок купить, так деньгами бы на стол положить, мол, это мама тебе на конфеты, траться, не жалей, но и этого позволить себе нельзя, потому как поистратился за последние дни, сколько денег ухлопал. «Но ничего, ты подожди еще немного, мама, только наберись терпения, и все будет иначе...».

3

Геля не пошел угором, а свернул через улицу к тропке — мимо дома Калининых да через огороды (этой дорогой куда ближе) — и неожиданно натолкнулся на дядю Кроню Солдатова: тот сидел на крыльце хлебного магазинчика, весь распаренный, почти бурый, и растирал босые ноги. Рядом с дерматиновой хозяйственной сумкой лежали новые лакированные туфли с круглыми носами. Геля неделей раньше видел подобные в городе и прицenялся даже, но смелости не хватило взять, вернее недостало денег.

— Дядя Кроня? — еще не веря глазам своим, радостно и растерянно воскликнул Геля.

— А, это ты, — сказал дядя Кроня Солдатов, словно вчера только расстался с племянником. — Вот грех-от какой. Баба заставила туфли надеть, прямо принудила. А с има много не наговоришь: ты ей слово, а она тебе десять в ответ, да еще в слезы кинется, тюх-тюлюх. Вот пристала: «На люди едешь, не назем возить, большие начальники тебя на бюро будут заслушивать, а ты как гопник с большой дороги». Теперь и смучился с ее башмаками, тюх-тюлюх, — почему-то виновато, словно

перед большим начальством стыдясь своего расхристанного вида, оправдывался дядя Кроня, незаметно пряча бурые от жары ступни с разросшимися, сплюснутыми пальцами в прохладные расщелины мостков.

Он так и стоял перед Гелей, перебирая, будто взвешивая, пыльные туфли, а парень словно впервые увидел дядю, и до того показался он родным и солнечным, что захотелось обнять его и прижаться к колючему серебристому подбородку. Геля ухватился за дядю Кроню, как за спасительный якорь, и поволок его глинистой тропкой меж картофельной ботвы, а тот упирался, но мешали ботинки, да дерматиновая сумка, да вельветовая куртка на сгибе руки — все это куда как мешало дяде Кроне, и он невольно подчинился племяннику, повторяя растерянно:

— Да постой ты, постой, куда ты меня волочишь? Ух ты какой горячий, тюх-тюлюх. А не знаешь того, что автобус без меня убежит. А меня в деревне ждут, наряды закрывать надо и сена́ метать некому. Думашь, как про меня скажут? Вот, скажут, князь тоже выискался: подошло самое горячее время, а Кронька Солдатов ви́на распивает.

— Ну что вы, дядя Кроня. Нет-нет, в кои веки увиделись, да и мама обижаться будет. «Даже родной брательник гнушается бедной сестрой», — грустно передразнил Геля свою мать, уж и не зная, как еще упрашивать дядьку; но что-то, видимо, в Гелином голосе смутило Кроню Солдатова, потому что упираться он больше не стал и только спросил:

— В отпуска иль насовсем?

— Не пойму что-то. Там разберемся, — уклончиво ответил Геля.

— Ну, у вас, городских, какие заботы: от квартирки уехал, в квартирку заехал — ни воды, ни дров запасать не надо. Эка благодать жизнь-то, — польстил Кроня Солдатов. Геля не ответил, только пожал плечами, испуганно высматривая свои окна в потрескавшихся голубых наличниках. Возле мостков ходил с топором мужик, похожий на подростка, и Геля его сначала не признал в этом прошитом зелеными нитками коричневом ватнике без рукавов и ватном колпаке. И только когда мужик взглянул на него, Геля по черным сросшимся бровям, похожим на гвардейские усы, да по

птичьим глазам узнал дядю Федора Чудинова (брата отца) по прозвищу Понтонер. Дядя всадил топор в неровно обкусанное дерево, снял ватный колпак и вытер распаренный лоб — белые волосы сбились хохолком над мелким морщинистым лбом. Дядя Федя смотрел ласково, но словно бы раздевая гостей круглыми гнедыми глазами: в черных глубоких зрачках зажглось сладкое любопытство, похожее на радость, и в тонких губах скользнула улыбка, а сам дядя Федя склонился в поясном поклоне и сказал неожиданно женским текучим голосом:

— Я вас приметил, как вы еще огородами спускались. «Чьи это? — думаю. Вроде бы не наши. А опять же и чужие огородами не ходят. Выходит, это не чужие, так кто же это может быть?..» А это, значит, Геласий Андреевич в родные пенаты прибыли. Долгонько у нас не бывали...

Геля поставил чемодан, поправил на ремне этюдник и собрался было смущенно отрапортовать, мол, все дела, дела, но дядя Кроня, стоявший в стороне, молча дернул племянника за рукав и кивнул на окна: там, словно в черном зеркале, увидел Геля туманное лицо матери, ей, наверное, было плохо видно, потому что она еще и еще отдергивала на стороны коротенькие вырезные занавески. Потом слышно было, как захлопали одни двери, потом другие, мать выскочила на крашеное крыльцо в легком бумазейном халатике; наверное, старые веснушчатые ноги держали плохо, потому что мама Лиза цеплялась одной рукой за косяк, а другой гладила сердце.

— Геля, уж телеграмму не подал! Неужели так тяжело было забежать на почту да матери телеграммку подать в два слова: «Еду, Геля»? И всего сорок копеек. Значит, на матерь сорок копеек жалко затратить, вот вы ее как любите! А другой раз приедете — и матери вашей не будет. — Неожиданно морщинистое лицо матери размякло, веки покраснели и набухли и небольшие пепельные глаза налились непрозрачной слезой.— Вот вы как, значит, любите свою мать. А она-то о вас думает, ночей не спит, все перебирает, как-то вы там да не случилось ли что. — Мать тыкалась мокрым лицом в Гелино плечо, и он невольно касался подбородком ее поредевших русых волос, которые знакомо пах-

ли земляничным мылом, и у Гели непослушно запершило в горле, он почувствовал себя маленьким, глаза защипало.

Геля отвернулся, заметил виноватое выражение лица дяди Крони, который смущенно колупал ногтем трухлявое дерево под самым окном. «Значит, и эта деревина вытлела, менять бы надо шесть рядов и не меньше», — вскользь подумал еще, потом увидел лицо дяди Феди, его кривую непонятную улыбку. А мать уже просохла, мимоходом ткнулась лицом в плечо брата и только сказала ему:

— А ты-то, Кроня, тоже хорош. Нет бы когда на часок заглянуть. Не убавилось бы. Иль свою жену не можешь на минутку бросить?.. Так не украдут, не бойся, никому и нужна раскоряка этака.

— Мама, ты что?

— Да я так, к слову. Красивая у тебя женушка Клава. Я уж не завидую, Кроня, живите, бог с вами, раз счастье пало.

— А меня вот Геласий Андреевич затащил. Пойдем да пойдем, тюх-тюлюх... Да и ты не больно в частых гостях, — дядя Кроня неловко топтался у порога, не зная, куда сунуть дерматиновую сумку. — Тут, ишь ли, подарок Клаве купил. Все кофеварку просила, достань и все. А что, я рожу, что ли? По мне бы ничего лучше молока нету. А она кофей всё, и девок-то приучила к баловству... Ну как ты, Лизавета, поживаешь? — участливо погладил он сестру по остренькому плечику, меж кроватью и столом протиснулся на диван, и поверх столешницы выросло его лицо, обоженное солнцем: и без того светлые бровки совсем выгорели, кожа шелухой сползала с короткого, как у сестры, носа, но глаза были налиты пронзительной синевой.

— А ты все такой, Кронюшка. И время тебя не берет.

— Да как тоже не берет. Молоды молодятся, а стары старятся. Молодых-то вперед везут, а старых на погост несут. Средь ночи как потянет грудь-от, будто щипцами кто дерьгат. — Неровными пальцами он быстро просчитал пуговки на рубахе, и они будто сами собой выскочили из петелек. — Тут и свербит. Нынче и к погоде свербит, а к непогоде ноет. — На белой молочной груди пониже коричневого соска —словно боль-

шой паук: стянуло не знающую загара кожу рыжеватыми неровными рубцами. — Как говорится, берешь корову, бери и подойник. Сосет меня паучок-то, сосет.

— В нашем роду у Солдатовых все како ли несчастье. Будто все на нас отомщается. Вот и мой Андрюша писал в последнем письме, мол, окружили нас немцы большим числом, да едва Днепр мы переплыли, а кто не переплыл, то, значит, на дне остался без православного покаяния, без могилки. А еще в письме том было — дак ты, Кронюшка, читал, быват, как не читал-то: как с фронта ты пришел, давала читать, — было в письме, что от полка ихнего не двадцать ли человек осталось. Посчастливилось, пишет. Эко счастье. На сегодня спаслись, а на завтра, однако, и поубивали. Вот она, война-то. Упаси боже кому такое испытать. Пришло последнее писемушко, а больше и не было. Все ждала: и похоронка нашла, а все одно—ждала. А после и устала ждать. А ныне по новой жду. Глупа баба дак.

— Сколько ему по годам-то?

— Мужику?.. Да чего там, разовы́ года-то, еще жить да жить. На рождество шестьдесят. С этими годами еще жить можно. Я нынче все во сне его вижу. Вот писем почитаю, на подушках-то разлягусь, одна-одинешенька, на диванчик гляну, нет ли кого из моих детушек, все чудится, будто кто спит там. Гляну, а на диване пусто, дак сердце зайдется, пореву, писем почитаю, а потом во сне Андрюшу вижу. Все будто с горки с ним катаемся. Уж больно он шибко катит меня, воздух в груди спирает, я поближе норовлю к Андрюше, а он — от меня да будто, как вожжами, санками-то погоняет. Сано́чки махонькие, с железными полозками, еще ты, Гелюшка, катался. И сегодня опять видела. Спрашивала, мол, когда к себе заберешь. А он и говорит, когда все деньги проживешь, тогда и заберу. Охти мне, да какие у меня деньги, велика ли пензия.

И опять пепельные глаза налились быстрой непроглядной слезой, сердито загремела мать самоварной трубой, кофтой прошлась по глазам, пышкнула-дунула в березовый огонь, и быстрые алые струйки потянулись в дыроватом железе, загудело в трубе. Геля нехотя слушал мать, ее надсадный голос, нетерпеливо хмыкал, пытаясь оборвать ее, потому что было трудно и досадно слышать такое в сотый раз.

Геля взглянул в окно и увидел, как на заулке дядя Федя Понтонер примерялся к бревну. Он неловко кружился у дерева, высоко задирая ноги в шерстяных носках и ступая резиновыми калошами так, будто месил глину, — это с войны у него такая болезнь. Но все же решился: набросил на комель веревочную петлю, для прочности наступил на бревно блестящей калошей, потом ватным колпаком вытер сопревшее лицо, положил эту странную шапку на плечо, под лохматую толстую веревку, и попытался сдвинуть дерево. Видно было, как силился Федя Понтонер, порой оглядываясь по сторонам и словно ожидая подмогу: ноги оскальзывались на выгоревшей траве, ватная поддевка задралась, и темно-синие галифе с кожаными заплатами на ягодицах надулись — знать, тяжесть для Феди Понтонера была непосильной. Но тут с угора вывернулась голубенькая коляска с белым бордюрчиком по защитному козырьку, и появилась присадистая низкорослая женщина.

Геля удивленно смотрел и не верил самому себе. Откуда-то взялась Талька или похожая на Тальку вялая женщина с небрежным ворохом черных волос на голове. Она что-то сердито говорила Феде Понтонеру, а что — не разобрать, только доносилось задышливое «буль-буль», потом подпряглась сама, лениво подвинулась под натянутую веревку, легко сдвинула дерево, и Федя Понтонер, покачиваясь, будто канатоходец, медленно поволок его. Со стороны казалось, что он поминутно решает, а не бросить ли затею эту к чертовой матери, и бревно тоже с видимой неохотой подвигалось вперед, натягивая веревку и откидывая Понтонера назад. А Талька больше не взглянула на мужа, круто завернула коляску в заулок и исчезла за домом.

Мать сопела Геле в затылок, порываясь что-то сказать, и лишь хакала — «ха-ха», — что означало, будто смеется она, потом пошла и плюнула в таз.

— Чего он бревна таскает? Делать нечего? — спросил Геля у матери, но та будто не расслышала сына и заговорила быстро сухим раздражительным голосом.

— Вишь, идет? Королева на голом месте. Сама в себя не влезат, шире широкой. Как развезло! А все ходила, как кошка худая. Он ведь подобрал, с ребенком взял суку такую, да она нынче посередке мостков хо-

дит, людей за людей не признает. Дак и пошто не жить, если на всем готовом, людей в столовке объедает да домой ведрами волочит свиньям. Бесстыдница, тридцать лет бабе, а на какого мужика позарилась! Хаха... С робенком взял, килан несчастный, живут красуются. Вот людям удача, им война не война. Таким война на радость... Это все она, все она, королева! Не успела в дом войти, как всяко меня обкастила, с ног до головы дерьмом обмазала, что я така-растака, дармоедка да распутница. Это я-то распутница? Тридцать лет мужа с войны жду, а за мной тоже бегали — присватывались... А недавно в воротах так прижала, что в подреберьи хрустнуло, и три дня я подняться не могла с кровати...

Мать все говорила, Геля скреб ногтем оконное стекло, а дядя Кроня совсем утопил лобастую голову в подстолье, и только торчали седые от солнца волосы; он смущенно потирал лопатистые обгорелые руки с траурной каймой под ногтями да хмыкал каким-то своим тайным мыслям. Потом неожиданно встал из-за стола, чуть не свернув самовар, а мать сразу испуганно замолкла, кинулась, распялив руки и загораживая выход, запричитала:

— Ты куда, Кронюшка? Хоть заночуй, не в частом бываньи и заходишь.

А дядя Кроня рассмеялся рыдающим смешком, коротко и мелко, будто ему не хватало воздуха, прижал Лизавету к груди, похлопал по спине и сказал:

— Ну что ты, сестренюшка, тюх-тюлюх.

Из дерматиновой хозяйственной сумки достал что-то длинное, похожее на колбасу и завернутое в тонкую белую бумагу, размотал, будто куклу, и поставил подле самовара бутылку коньяка.

— Хотел женку обрадовать, а она тут ближе к делу. Тюх-тюлюх.

— Не смей так поступать! — кинулась мать, суя бутылку обратно в руки брата. — Не к нищим пришел в кои-то веки, и сами в силах поставить. Ну-ко, Гелюшка, там в кладовочке холодненькая, вас и дожидалась.

— Ладно, ладно тебе. Вот уж прямо, как переполох. Пусть стоит, места не унесет, а там, глядишь, и распечатаем. Ну, Лизавета, неси черепушки, пить будем. Разговоры поведем, тюх-тюлюх.

— Что за причет выдумал, Кронюшка? Будто ране так не говаривал. Еще ненароком обзовут «Тюхой-тюлюхой». Больно красиво будет!

— Все мы, Солдатовы,— Житники. Ты, Лизка, небось бабу Лампею забыла?

— Да где — «забыла», бабушку Лампею разве забудешь? Уж такие колобы с житней муки пекла, мастерица была! Масла-сметаны не жалела. Кто ни приедет, — а помнишь, изба какая была, и без гостей никогда не жили, — дак только и нахваливают: ну бабка, сколь ты удала, твои колобы житни отмениты от всех, их ешь и будто не ешь, сами катятся. Так и стали мы через бабушкино мастерство на все деревни Житниками... Ох, Кронюшка, сиротеем мы. Вот и мамушки нашей не стало. Вот и мамушке Натальюшке годовщинка, надо бы в Снопу вырваться, на могилку сходить, да и папушку понаведать. Так рядышком и лежат, как две куколки. Мамушка-то добрая была, это она тебя, Кронюшка, от смерти выходила, знать, ей на роду написано было такое добро сотворить. А сама, вишь, легла-повалилась и боле не встала. И что за гриб, эдака болезнь выискалась? Откуда ли иностранцы завезли? С буковками всякими «г», да «ц», леший ее знает, как и назвать, а только все осложненья от гриба идут. Подумать только: на две стороны по легким выстрелило. А уж какие у мамушки были легкие на старости лет — вся изжилась тоже, стольких-то на ноги легко ли было поднять... Да вы пейте, пейте, заморозили все. Вот как я гостей потчую, старая колобаха. Разговорами-то занялась, дак все обязанности свои забыла. Да и то, Кронюшка, скажу: вот детишек ростила, а сиротой живу, не с кем словечушком обмолвиться. Да пейте вы, на меня не глядите, я уж вроде вина пьяней, столь напилась. Геля, а ты-то как там у себя в большом городе? Все пошто-то холостой. Если задумал жениться, то женись, но осмотрительней будь. Живо окрутят вертиголовые. Ведь ныне как сходятся: тысячу на свадьбу ухлопают, два дня поживут да и разбегаются. Понеси их леший, этих девок, глаза бы мои на них не смотрели: папироски курят, винцо пьют, только подливай. У тебя-то все ладом, Гелюшка?

— Конечно, конечно. О чем разговор, —ответил Геля, давно ожидая этого вопроса, но, как ни ждал,

вздрогнул внутренне и сразу растерялся, пригибая голову к столу. Но мать, счастливая от неожиданных гостей, не заметила сыновнего смущения.

— Ну и ладно, раз все по-хорошему. Ехал бы только домой, чего на стороне околачиваться. Парни-то, твои погодки, вон как живут, только птичьего молока нету. По двести рублей зарабливают и более того... Вон и дядя твой, Федор Максимович, сколь хорош: уж Федька своего не упустит, у него меж пальцей не вытечет,— кивнула на стенку. — С работы идет, дак чурку дров, иль колодку, иль кирпич на стройке прихватит, в газетку завернет да в дом принесет... Ну пейте, гостеньки дорогие, не ждала вас, так что не обессудьте: что на столе есть, то и ешьте. Тесто затворю, да завтра пирожков с луком испеку.

— Ну держи, держи давай, — тоже встрепенулся дядя Кроня.

Выпили по рюмке, сразу вторую опустошили, чтобы на другую ногу не охрометь, а с пути-дороги водка, хоть и сивушная, дрянцо, но пошла соколом. Геля сразу посоловел, разгорелся, на стуле откинулся, голову гордо держит: «А кого тут стыдиться, ведь все свои, сейчас и жизнь блаженна и легка. Дядя Кроня, добрый человек, я люблю тебя, мне бы слова такие найти да высказаться красиво. А мамушка, ой мамушка, ты еще хоть куда! Просватать тебя, что ли? Волосы под кружевной платочек закуделила, бровки подвела черным карандашиком, по губам прошлась помадой... Страшно, мамушка, стареть, я ведь понимаю, что страшно. Я не бестолковщина, я все понимаю, только слов во мне нет...»

— «По муромской до-рож-ке...» Запоем мою любимую, дядя Кроня, мать! — Геля еще глуповато улыбался, лица ему казались далекими, будто смотрел он сквозь мутное стекло, но уже заворочалась в душе бессонная тоска. Украдкой потянул штанину, посмотрел на синее пятнышко, представил, как бешеная кровь льется по его телу, и сразу помрачнел.

— Гелюшка, споем, как не спеть-то... Худой ты нынче приехал, вон подглазья какие. Ты больше не пей, не пей, Гелюшка, — попросила мать.

— С дороги устал. Намотался на самолетах, нервы для самолетов тоже железные надо иметь. Тут у стога с вилами день-то проендаешь и то, как наломаешься,

рук-ног не слышишь. А на самолетах, я слыхал, смена давления, тут здоровье надо иметь большое,— сказал дядя Кроня.

— Како лешево здоровье. Наши бабки каждую неделю в Архангельско готовы слетать, а то и подале куда. Весь Союз обскачут, их нынче и дорога неймет.

— Я-то не летал. Уж больно от земли далеко. Я только во сне вылётываю. За день-то нароблюсь, руки-ноги гудят. В балаган пойдешь да падешь — вот ночью во сне будто в пропасть какую и летишь, аж дыхалку спирает, тюх-тюлюх.

— Да брось ты свою присказку. Скажут еще в Сноле, что управляющий с ума посходил. «Тюх» да «тюх». Давай споем лучше... Сам-то мог бы и не стоять с вилами. Жалуешься, что грудь болит, будто и замены тебе никакой нет. Некогда и руководить будет, чего ли и пропустишь вовремя сказать, угоришь с работой этой,— уже сердито наставляла Лизавета. Ей все казалось, что приветила она гостей плохо, вот они и дуются на нее, а чего она, сиротина, на стол поставить может, если хозяйства — скотины своей нет, картошка только взошла, а в магазинах одни банки — треска да ставрида в масле?

За стенкой вдруг заиграл баян: «Раскинулось мо-ре ши-ро-ко...» Звуки доносились глухо, будто с улицы под угором. Но это играл Федя Понтонер, который совсем от братневой жены загородился: обшил стену древесной плитой, будто и не топит Лиза Чудинова каждый божий день печку и стоит в ее комнате леденящий холод.

Геля тоже услыхал музыку и даже представил, неожиданно трезвея, как сидит дядя Федор посреди комнаты на табурете: на коленях бархатная подстилочка, чтобы, значит, не протирались брюки, ноги обуты в большие стоптанные валенки, они скользят, и потому дядя Федя елозит ногами по крашеному полу, устанавливая их плотнее, потом просматривает клавиши, обтирая их кусочком фланели — так, на всякий случай. Он наверняка в своем кителе, темно-синем и твердом,— раз в десять лет шьет новый в местной портновской мастерской, заново прокалывает дырочку на правой груди для ордена, и орден тоже чистит мелом и зеленой бархаткой, что осталась еще от бабушкиного платья... Он

проглядывает все клавиши, словно уже забыл их и вспоминает наново, ладони у него непомерно большие, пальцы с обкусанными ногтями, и он кладет их немного вкось, будто отбрасывает костяшки на счетах в своей бухгалтерии, оттого и басы у него взлаивают.

...Будто сегодня это и случилось, а не лет двадцать назад, когда Геля жил еще у бабушки, вот за этой стеной, в которой прежде была голубенькая дверь с гранеными стеклышками вместо верхних филенок, — теперь это место в стене заставлено шифоньером. Тогда дядя Федя купил гармошку и весь первый день на слух подбирал именно эту песню. Дедушка уже прибаливал, он рано поседел и как-то ссохся; мучаясь головой, он косился на сына, а остановить побаивался, пока не пришла из Слободы бабушка и не прогнала Федора сначала в сенцы, а потом и на чердак. «Вот надоеда, — говорила бабушка, выволакивая из русской печи противень с черными сухариками и заливая их кипятком, — это у нее такая была еда. — Что за веселье такое? Разве жениться только задумал...»

Бабушка тогда угадала. Бывало, что и раньше она заводила разговор о женитьбе, но дядя Федя ершился: мол, холостяком жить будет, от этих баб одна мука, привереды они — эти бабы, а он инвалид третьей группы, за ним уход нужен, и кто лучше маменьки знает болести сына... Но бабушка не отступала в разговоре, ее трудно было переговорить, она обидчиво поджимала губы, и угольные глаза ее, похожие на глаза большой лесной вороны, наливались сухостью и гневом. Она тараторила на одном выдохе, что мамушка не вечна, ей тоже придет пора на погост, а пока жива, хоть невестушку научит уму-разуму. Места много, места всем хватит: Гелюшку — в боковушку, сами на кухне. Бабушка всхлипывала, будто свадьба уже не за горами, а сын женатый — потерянный сын. Баба Маня в тот год еще видела одним глазом и часто ходила в соседние деревни менять свое шитье на продукты. И однажды, когда ее не было дома, дядя Федя собрал все Гелькино бельишко в узелок, вывел его на улицу, бросил узелок на мостки и сказал: «Ты, Геля, иди к матери. Ты нам теперь мешать будешь. Я женюсь, и ты нам мешать будешь».

Тогда Геля не плакал — он уже ходил во второй

класс — и почему-то даже обрадовался, что будет жить на новом месте и у него будет новая мама, которую он доныне называл — тетя Лиза: ведь он всегда считал, что бабушка Маня — это и бабушка и мама одновременно. Бабушка вернулась через день после очередного похода, она сразу ворвалась в комнатку к невестке, они что-то вместе кричали, а потом тихо плакали. Гелюшка был зажат меж колен, и его пепельная ушастая голова кочевала из ладоней в ладони. Он отсырел от поцелуев и слез, когда бабушка так же стремительно убежала через сени к себе, там что-то приказывала, и был слышен только ее зычный низкий голос; потом гремела посуда, падали стулья, но вот постепенно все звуки умерли, и остался жить лишь слабенький, почти женский голос дяди Феди. Но и он стушевался в тишине, минут пять было глухо за стенкой, пока не просочилось слезливое причитанье бабушки: «Понеси тя леший, ирод окаянный! На твои плечи не сядем, твоего куска не переедим!» Вечером застучал молоток, голубенькая дверь с гранеными стеклышками еще раза два приоткрывалась, высовывалась дядина рука с молотком; Федор придирчиво осматривал ободверину, видно, примеряя гвозди, а потом он, наверное, приноровился и дверь заколотил наглухо.

Все это случилось будто вчера, но уже рябины от подоконьев махнули через крыши, и когда бурые замерзшие ягоды срываются с подсохших ножек, они падают на заледенелые доски, и, кажется, даже слышно, как с тихим шорохом скатываются в первый ноздристый снег. Иногда под рябины слетается всякая мелкая птица, шумно и вздорно хлопочет, ворует ягоды по одной, пока не прилетит голенастая ворона с кинжальным клювом и не распушит всю мелкоту по подугорью... Да, рябины вытянулись, их узловатые тела покрылись черными оспинами и морщинами. И потолочные доски расселись: когда ходят на чердаке, то из щелей тоненькой струйкой сыплется песок, мелкий и легкий, как труха. Он сыплется и ночью, когда очень тихо и все спят, когда на улице в промозглой осенней темени живет лишь сиротливый неустроенный ветер, — тогда в комнате особенно одиноко и даже страшно, кажется, что на чердаке кто-то ходит, легкий и печальный, и упорно подсматривает за спящими людьми... И обои запузырились,

хотя и обдирала их мать верный десяток раз и потом снова наклеивала, слой на слой, к каждому революционному празднику. Они и нынче плотные, как картон, и если принюхаться к ним, почувствуешь, как пахнет старым деревом, тлеющей бумагой и крутым самосадом, который мать подмешивает в клей от всякой нечисти.

И вот из-за этих обоев, твердых, как картон, неслись по-солдатски резкие звуки баяна. Мать морщилась, видно, музыка ей досаждала, а дядя Кроня хмурился своим тайным мыслям: он осел на цветастом широком диване с откидными подушками, будто стал суше и меньше, солнечный загар остыл от вина и словно покрылся серой пылью.

— Помню, как в Снопе он гостился, — кивнул головой дядя Кроня на стенку, из-за которой неотрывно сочился басовитый гуд. — Ты тогда не первый ли год на сносях была, Роньку носила... Федька-то тоненький пацанчик был, глаза, как у зайки, живые такие. Чай сладкий любил. Бывало, мати самовар на стол занесет, дак он, пока десять стаканов не выдует, из-за стола не вылезет. Настырный был: пьет и жмурится, пьет и жмурится. Вроде и голода особого не было, хлебом-то сыто жили, а он колобок к себе под локоть да в карман. Мама и говорит ему: «Ты, Феденька, наверное, коровушку хочешь приманить». А он заревел, слезы-то в блюдце так и забрякали. Смешной был парнишка.

— А ныне как крот. Роет и роет, день-деньской. Я на огород пойду, а он там фырчит за загородкой, будто кот свадебный, — сказала мать. — А ну его... Давайте лучше песенку споем: «Ой топнула я, и не топнула я. Съела сахару мешок и не лопнула...»

— Однажды руку сунул в молотилку. Баловной, видать, был, все выложь ему да подай. Мы-то страшились, а он городской, всего навидался, вот и сунул ладонь в самые шестеренки. Я едва шкиво повернул обратно, а то бы пальцы смолотило. Машина ведь — к ней без понятья не суйся. Я кровь высосал, подорожников налепил, от своей рубахи подол оторвал — гость-то городской как-никак. И рубахи-то, помнится, жалко — мать накостыляет по шее: с одеждой тогда туго было, — а Федьку и того жальче. А он, видать, подли-

пало еще тот был, бате и нажалился, мол, Кронька подучил руку в молотилку сунуть. Батя меня и высек...

— Да оставь ты Федьку! Нашел о ком разговор вести. Он же — ушат с ручками. Давайте лучше споем. Я сегодня порато добрая, всех прощаю, камня за пазухой не несу.

И мать запела тонехоньким, прерывающимся голоском, будто у нее перехватывало горло, а когда надо было подтянуть вверх, она только сипела, проглатывая слова. Но глаза ее светились, тонкие красные паутинки растворились в голубоватых белках, волосы из-под кружевной косынки выбились на лоб и бросали негустую тень, и в бледном матовом свете летнего вечера лицо матери глядело как со старинного портрета — благородной, потрескавшейся от времени эмали. И тут Геля понял, что мать в молодости была действительно красивой, не зря к ней парни сватались наперебой.

— «Катись слеза моя горюча, катись по бе-ло-му лицу. Я выну беленький платочек, прелестны очи о-о-о-бот-ру...» Нет, не могу. Тот же хмель, да не та бражка. Ой, маменьки нет. Натальюшки нашей нет, она бы спела — как у нее голосок бежал!..

— Певунья была, попеть любила, чего говорить, — печалясь, согласился дядя Кроня. — Я когда болел — уж всего меня английский грипп вывернул, — будто из омута выскочу и слышу, как она мне эту песню поет: «Катись слеза моя горюча, катись по белому лицу...» Поет, а сама плачет. Наверное, смерть свою чуяла... Ты, Геля, не забыл бабу Наталью?

— Вроде бы нет, — сказал Геля и задумался... Бабу Наталью он видел редко, потому что в деревню еще добираться надо, а попутье плохое, да и переправа не всегда налажена. Те прошлые наезды, ее нечастые гостевания в Слободе остались в памяти лишь слабым отблеском каких-то незначительных мелочей. Вот сарафан с оборками вспомнился, шелковый, с большими малиновыми розами: когда бабушка шла на высоких желтых каблучках, он тяжело бился о колени, едва завиваясь вокруг ног; руки еще вспомнились, ладони узкие, почти детские, обтянутые натуго рыжеватой кожей с мелкой насечкой морщин, — казалось, козонки вот-вот пролупятся наружу, — а пальцы длинные, чуть изогнутые, каждый на свой манер.

Может, запомнилось так мало потому, что Геля тогда еще был мал, а позже в Снопу как-то все не наезжали: мать совсем зашилась с колхозной работой и с детьми. Последний раз Геля видел бабу Наталью уже совсем остаревшей где-то вскорости после армии; он тогда многое передумал и перечувствовал, и все, что касалось лично его или его близких, задевало тревожно и чутко, особенно их радости, печали, и, может, потому та последняя встреча особенно помнилась...

Приехали с матерью в Снопу где-то на изломе августа, ночи уже загустели, деревня стояла на угоре и показалась неожиданно большим черным валуном в белесоватом небе, но сначала донесло мерным живым теплом и дыханием, хотя было тихо до вязкой тяжести в ушах. Только порой далеко, за рекой, вспыхивали зарницы. Стояли рябиновые ночи, и от длинных голубоватых сполохов, от запахов подкошенных клеверов и гороха, что изредка наплывали с полей, тишина казалась еще осязаемее, на нее можно было натолкнуться, потрогать ладонью как нечто гладкое и непрозрачное.

Баба Наталья будто заведомо знала, в какой час наедут гости, и стояла в растворе поветных ворот белым призрачным пятном. Геля прижался к бабе и ощутил ее всю, мягкую и теплую, как летняя земля, от бабы пахло дрожжевым тестом; она пригибала Гелину голову сильно и немного больно и целовала мелко и часто, одновременно плача и смеясь:

— Вот ты какой герой. Ну ладно, хоть перед смертью выглядела у Лизки последыша. Наш парень-то, солдатовский. Ну а ты-то, Лизка, чего стоишь в подзвозье, как неродная дочь?

Повернулась, зашлепала по повети босыми ногами, так и не отпустила ладонь внука — вцепилась в нее сухими тонкими пальцами.

— Дедко-то спит. Остарел наш дедко. Я и говорю: «Неужто гостей не выйдешь встречать?» Говорит: «Завтра заодно и насмотрюсь». Вы сейчас похлебайте чего ли и — спать, а уж завтра будем привально делать.

— Какое еще привальное? — воспротивилась было мать, но баба Наталья только кышнула на нее.

— Не твое собачье дело. Твое дело только помалкивать.

Растревоженный долгой дорогой и этой встречей, Геля ворочался в балагане, изба уже спала, под ситцевым пологом было прохладно, и Геля забрался в оленью полость. Она сначала покусывала с непривычки, потом Геля обжился в ней, от постели пахло зверем и застарелой пылью; где-то за углом звякала уздечкой лошадь, внизу под поветью взбрыкивали во сне овцы. Все было необычно для него, и Геля часто распахивал глаза: ему чудилось, как кто-то незримый открывает полог, потому что свежий воздух врывался под пожелтевший от сырости ситец. Показалось, что заскрипели поветные ворота, потом кто-то чужой и настороженный спускался по крашеной лестнице скользящими шагами, лестница скрипела нервно и надсадно и долго еще потрескивала в ступенях.

Так почему же он через семь лет помнит в мельчайших подробностях именно эту тишину, и скрипы ночной лестницы, и даже самый сон, глубокий, как беспамятство, и прохладный, как овражная глубина? Помнится даже, как просыпался, потягиваясь в оленьих постелях: желтенький ситец светился прозрачно, будто намасленный пергамент, — значит, двери на поветь были открыты, — и косые полосы осеннего солнца ложились на покрывало балагана. Чьи-то осторожные шаги вырастали неожиданно рядом, сквозь ситец виднелась неровная черная тень, кто-то шептался и затаенно смеялся; потом в самом изголовье раздался бабушкин ворчливый голос, он был низкий и рассыпчатый, будто в решетке катали горох: «Эй, засоня, хватит спать-то, всех девок прокараулишь».

Он тогда открыл глаза с легким чувством недоумения, ощущая свободу и легкость во всем теле, будто и не спал вовсе, а просто на минутку прикрыл глаза. Бабушка уже была торжественная, но не та, прежняя — осанистая, в желтых кожаных полусапожках и в батистовой кофточке, стянутой под грудью узким вязаным пояском. Ныне она осела на болезненных вялых ногах, ходила в шерстяных своевязанных головках и больших кожаных тапочках, платье на ней было зеленого старинного шелку с большим вырезом на груди, в котором виднелась морщинистая ореховая кожа. Правда, курносый нос был так же задиристо вздернут, но глубже стали на нем неровные конопинки, да и лицо подсохло,

вроде бы вытаяло, и покрылось неровной ржавчиной на крутых скулах, будто загорело оно; уж лишнего мясца не наросло на бабином лице. Вот и волосы она стала носить по-новому, без старинного черного повойника, расчесывая чуть зеленоватую седину на две стороны с пробором посередине, а сзади завязывая в два узелка.

И эти, почему-то милые для Гели, подробности оживила память, вернее проявила уже нынче, когда бабы Натальи не стало. Он тогда пытался разглядеть, как бабушка вяжет свои узелочки из седых паутинных волос, но заметил лишь мерное кружение пальцев и хитрый выверт локтя.

...Хмельной и грустный, Геля то выныривал из воспоминаний, когда слышал резкий перезвон стакашков, — это дядя Кроня приглашал поддержать, то опять окунался обратно. Почему-то и разговор за столом навязался поминный, невеселый — все не могли забыть покоенку Наталью.

— Уж матушка наша всю жизнь в мятке была, в работе. Ты-то, Кроня, помладше, наверное, не помнишь, а она нам, бывало, кричит: «Девки, мните мне спину!» Мы-то и прыгаем по спине, нам и любо, нам игра. Разомнем, она встанет и снова работать начнет. Десятерых-то надо было выпестовать. А как шестеро-то на войну запоходили, ни об одном слезинки не выронила. А где они, парни? Кроме тебя, Кронюшка, никто не пришел, дак как тебя ей было не жалеть? Померла, но от смерти выходила.

А Геля уже видел бабу Наталью за столом: она устала от беготни и сейчас сидит с краешка стола, готовая сорваться за щукой соленой, иль за брусникой моченой прошлогодней, иль за квашеным луком — чего попросят гости дорогие. Рядом с ней дед Спиря: в вышитой рубахе, локти лежат на столе, на лице замечательная маленькая улыбка, глаза почти бесцветные, огромные, они мечтательно и незряче кочуют с лица на лицо, с трудом узнавая родных; под шишковатым, вроде бы опухшим носом — скобкой усы, неровно подстриженные бабой Натальей и сивые от постоянного табака. Рядом у тарелки дымится папироска, и после каждой ложки супа он тянет «северинку» в узкие голубые губы и долго вдыхает в себя угарный дым.

Геля смотрит на дедушку и не узнает его: совсем остарел Спиря Солдатов, да и годы — далеко за семьдесят, а вроде бы совсем недавно был молод, ведь и в пятьдесят казался молодым и еще азартно поглядывал на бабью юбку и не прочь был побаловаться на стороне, когда уходил с длинным обозом на Москву иль Ленинград. Геля еще помнит деда Спирю, когда у того усы были толстой скобкой и ячменные цветом, а глаза голубые с тусклой окалиной в углах и волосы тоже ячменные, чуть посекшиеся и побитые редкой сединой; а сам-то дед роста невеликого, но весь крепкий, как молодой гриб. И когда, наезжая в Слободу, он останавливался у Чудиновых, то словно бы житнее поле привозил с собой, и горький запах ивы, и зимнего сухого снега, но все эти запахи перебивал постоянный махорочный дух, который в маленькой комнатке поселялся напрочно, пока там жил дед. Геля помнит, как раздевался дед Спиря, выныривая из огромной малицы: черный старенький пиджак был серым от оленьего ворса, и все Чудиновы осаждали деда и ощипывали его от белесой шерсти, как гусака, а он только поворачивался в толстых своекатанных валенках с пришивными голяшками и победно накручивал ус, и глаза его походили на маленькие весенние лужицы.

Как ждали у Чудиновых деда! Он всегда появлялся неожиданно, басил густо, с хрипотцой: «Ну как вы тут разживаетесь?» — и, освободившись от малицы, опять нырял в сани-розвальни почти с головой, долго рылся в залежалом сене, под оленьими постелями и прелыми фуфайками, тут же на улице на ухватистом морозе разворачивал мешковину и доставал большую золотистую буханку, которая давалась ему для обозной жизни. И не было ничего на свете вкуснее этой белой буханки, пупырчатой по горбушке, с медовой поджаристой крышкой; а если хлеб развалить ножом пополам, то кулак свободно мог бы войти в ноздристую тягучую мякоть, от которой кружилась голова и рот исходил слюной.

Прошли годы, но запах и вкус именно того хлеба чутко стоят в памяти и, наверное, будут храниться в ней до самой смерти. И живет в душе Гели не тот дед Спиря, который сидел за столом, улыбчивый, как мальчик, с локотками на столешне, а другой — давний: ры-

жеусый и кудрявый, только чуть опаленный старостью...

Геля смотрел тогда на бабушку Наталью и не думал-не гадал, что видит ее в последний раз, смотрел и наполнялся неожиданной любовью, переводил взгляд на дядю Кроню — вот уж истый дедушка Спиря, — потом разглядывал тетю Клаву, молчаливую маленькую женщину с косоватым ртом, который она все морщила, — и тоже любил их.

А день, помнится, тогда выдался распевный, весь в голубых и охряных красках; в тот год рано все зажелтело, и уже в середине августа береза стала седеть, а потом и ронять вялый лист. Говорили, что осень ранняя, а значит, трудной будет зима. Все так и случилось: в сентябре пали морозы, там и снег навалился, а в декабре стаял весь, будто весна пришла заново, и даже на ивах родились матовые влажные сережки, но потом рождественские морозы взяли свое, и сразу все заколело-застыло от мороза, и по улицам было неуютно и скользко ходить.

Но тот день был благословенный. Бабушка Наталья сидела в красном углу, у кромки небольшого оконца, солнечный свет ложился на глаза, и потому баба часто подмаргивала, заслоняясь от всех ладонью. Потом незаметно перекрестилась, будто щепоть поцеловала, сама застолье кувшином браги обошла и сказала:

— У гореванья да у радости слезы из одних глаз, да на разном хмелю настоены. А ну, бабы-мужики, я так скажу, старая грешница, — а ты, дедко, молчи, ты не подтыкай меня локтем, глухарь сивый: «Всех девок не перецелуешь, всей работы не переделаешь, всех денег не заработаешь, всего вина не перепьешь, но к этому надо стремиться». Ну, Лиза, Кроня, Клава — дети мои, и ты, Гелюшка, воробьиное яичко, выше стакашек, пусть рука не шелохнется и сердце не замутится. Выпьем до дна, не оставим зависти. Вот уж чего не терплю — зависти не терплю».

Дедушка тоже поднял пузатый стакашек, но пальцы уже держали плохо, и брага пролилась на скатерть мутной лужицей.

— Папа, тебе ведь нельзя, — ворчливо сказала мать, и, как заметил Геля, баба Наталья ужасно обиделась и посмотрела в ее сторону косо и потом дочери Лизавете с большим намеком сказала:

— Век публика в нашей избе не переводится и век веселье живет. Ты, Лизавета, думаешь, что мы на старости лет пьяницы, а мы — красавицы. Век живем, век пьем и пьяны не бываем. Так или нет, дедко?

— Вот уж сказано, как приколочено, — согласился дед Спиря. — Я таких-то еще пять стакашков могу да и в пляс пойду. У меня тогда кровь жарче бежит и душа будто наново рождается.

— На золотой-то свадьбе пятьдесят человек было. Пляски-то сколько, а песен — по всей деревне. И только дочи родная, не приехала. Будто за тридевять земель где живет.

— Да попажа-то не очень... К вам уедешь, а обратно не знаешь, как и ворочáться, — виновато ответила мать и обидчиво покраснела, некрасивые пятна проступили на скулах.

— У вас все как у неродных. Ты, Лизка, от своей гордости выверты строишь. В обиде я на тебя. Мужа нет, уж давно и косточки погнили и травой поросли, а ты все под него строишься, все чего-то ждешь, от людей сторонишься. Друзей без недостатков ищешь, а таковых не бывает. Вот и плачешь одна, как рябая кукша.

— Ну будет, мамушка. Чего вам мой Андрей поперек горла встал?

— Он-то нам люб был, хоть и воровски тебя выкрал, без нашего благословенья. Ну а ты пошто чужая всем? Иль мещане Чудиновы тебя под себя переделали?

— А потому и чужая, что радости от людей не вижу. Только зависть какая-то кругом.

— Ты-то сама много радости даришь?.. Ну да ладно, живи как знаешь, только на стороне не проживешь. Наши-то годы закатны. Нам-то ныне хоть бы еще умереть ладом да людей не напозорить. Правда, ныне наверху никого не оставляют, все равно в землю упехают, — оборвала себя баба Наталья, платье на груди оправила, пальцы послюнявила и огладила белую голову.

— Ну, гости дорогие, сердешные, на меня не точитесь, что я своим длинным языком вас скукожила.

Как во на-а-ашей было во деревне, ой...

Бабушка запела неожиданно, сначала едва слышно, будто легким сквозняком подуло из сеней, а может, так самой себе шепнула что, осердясь, в общем, не понять было — такой едва уловимый песенный звук родился над застольем. Так рождается прилив на реке, когда вода окротеет, и не может двинуться к морю текучей своей волной, и как бы застынет в мимолетном задумчивом сне — тут и пронесется над густой водой широкий вздох, и легкая рябь, будто стая мальков, кинется в берега, взморщит речную гладь. И уж только потом, смелея, пойдут с моря валы за валами, мутные, как бражка, и сразу оживет, очнется природа, и родятся над рекой новые звуки ветра, звона волны, легкого шуршания кустов: значит, прилив взял свое.

Во веселенькой было сло-бо-де...

Тут баба Наталья взяла верхом, голос у нее был слегка надтреснутый и дребезжал, но вялой слабости, усталости не было в сильном просторном звуке, широком и текучем и по-северному коленчатом, как коричневый лесной ручей... И вдруг дед Спиря локтем отодвинул посуду, расстегнул на воротнике пуговки, освобождая дряблую кадыкастую шею, и согласно подхватил низким булькающим голосом, будто не из горла, а из самого нутра полилась простуженная песня:

Во веселой слободе жил мальчишка лет сем-над-цати...

И до того у стариков согласно все получилось, так дразняще зазывны были эти голоса в низкой голубой горнице с коричневыми потолками и красными петухами на угловой печке, что не поддержать было бы просто грешно, и гости разом задвигались, будто вздохнули свободно, и даже мать приготовилась пролить тоненький слабый голос. Но баба Наталья неожиданно песню порвала:

— Кабы кто тонким голосом подпел, я тонким нынче не могу, глухой у меня голос и гарчит по-вороньи,— и сразу заулыбалась своей шутке, глаза очистились от белой старческой пленки; без всякого подхода налила себе из кувшина и выпила стакан браги, не охнув, не мотнув досадливо головой.

...Ой, позволь-ка, папенька, жениться,
Ой, позволь мне взять кого люблю.
Но отец сыну не поверил, ой,
Что на свете есть любовь.

Тут и застолье не выдержало, азарт захватил, всяк по-своему заголосил, больше без слов, потому как песня эта забываться стала, а баба Наталья тут уж разошлась вовсю: глаза закрыла, головой качает, и кажется, что вот-вот по сухой щеке горючая слеза прольется. Голос у бабы перехватывало, грусть была в нем невыразимая, словно пятерых сынов оплакивала, и у Гели в горле запершило, и он стал крепиться.

Сын тут и заплакал, отцу слова,
Словечушка не сказал.
Пошел к Саше-любушке на крыльцо...

И опять баба Наталья перебила себя, переживая песню, будто с нею такое несчастье приключилось.

— Вот любовь-от чего делает. Пошел к отцу, а отец не поверил. Пошел, значит, к Сашеньке-любушке и говорит: выйди ко мне, дай с правой руки кольцо. А она не дала... Все девки-робята правда. Все получается в жизни, все так и получается. Говорят, сказка — вралья, а песня — быль. Бывало-то по-бывалошному, а нынче-то по-нынешнему.

...Ой, возьми ты саблю остру
Да сказни мою главу.
Ой, покатись, моя буйна головка,
Со моих широких плеч.
И катись, ой, прямо к маменьке
Да к папы под окно.
Тогда папенька поверит, ой,
Что на свете есть любовь.

Последние слова баба Наталья выводила долго, в самой вышине, тут у нее и прежний девический голос родился; потом глаз один приоткрыла, а в нем уже бесы живут. Плечиком ворохнула:

— Посуда чистоту любит. А кажна песня до конца не допевается, а по рюмочке винца полагается. Кабы бражки туесок, побежал бы голосок...

Вот и вся тут бабка Наталья, чего хочешь с нее бери, — такой она и в памяти у Гели живет.

4

Бревно было неподатливым и комлистым, и Федя Чудинов, у которого не хватало в мальчишеском сухом теле необходимой лошадиной силы, брал настырным

терпением. Веревка резала даже сквозь стеганый трехрядный жилет, мозолила плечо, но у Федора даже и в мыслях не было, чтобы эту надрывную работу бросить, только об одном жалел он, что приспособил ватный колпак на плечо: ведь пылающее солнце сейчас стегает его непокрытую голову, и страшная радиация пронизывает ее насквозь. Федя Чудинов понимал: останавливаться, чтобы надеть колпак, нельзя, потому что с бревном он снова уже не стронется с места. Третий год он носил эту своешитую тяжелую одежду, но для самого Чудинова тут странного ничего не было, ибо он твердо уверился в том, что все земные болезни происходят от солнечного излучения, и если укрыться от него, — а вата способна защитить, — он будет жить долго, пока не надоест.

О своем открытии Федор Чудинов особо не распространялся в городе, потому как невежественные люди, слободские мещане, могли посчитать, что он «не в себе» или, как еще выражаются, «у него не все дома»; и до сберкассы, где Федя работал старшим бухгалтером, и в школу, где он преподавал по совместительству рисование, ходил в кителе полувоенного покроя и в темно-синих галифе.

Утром он покидал дом ровно без пятнадцати девять (по нему сверяли часы) в широкой блинчатой кепке с белой пупыркой посередине, в начищенных хромовых сапогах, с орденом Красной Звезды на груди и с офицерской сумкой, где у Чудинова лежали бухгалтерские синего сукна нарукавники и постоянный обед: яйцо всмятку, два черных тоненьких хлебца и бутерброд с сыром. Ровно в час он выходил из сберкассы и направлялся в школу на урок рисования, и там, когда дети набрасывали с натуры бутылку темно-синего стекла, которую он приносил из учительской, и набор крашеных деревянных яблок — все это называлось натурой, — Чудинов жевал яичко, неслышно и косо шевеля оборчатыми старушечьими губами, потом так же ловко и чистоплотно съедал бутерброд и, оборотясь к ученикам спиной, запивал скорый обед протухшей желтой водой из классного графина, беспокоясь о своей печени.

«Боже ты мой, сколько раз было говорено, что чистая кипяченая вода — это девяносто процентов гарантированного здоровья! Они определенно хотят сгубить

меня». — Так думал Федор Максимович Чудинов, мягко улыбаясь и зачесывая попышнее невесомый вихорок волос, а вслух говорил мягким, почти женским голосом:

— Дети, вы должны полностью отдавать себя этому возвышенному предмету, который единственно назначен для отдохновения настоящей воспитанной души.

Чудинов щурил круглые глаза, откидывал голову назад и оглядывал пустую водочную бутылку и набор деревянных крашеных яблок, потом опять перебирал губами, вздыхал тяжко и, ступая вдоль парт, как подкованная строевая лошадь, собирал дешевенькие, истерханные резинкой рисовальные блокноты.

Без девяти два он опять уходил в свою сберкассу с тем, чтобы покинуть ее ровно в шесть. И весь этот путь он совершал с педантичностью военного человека. Федор Чудинов всегда полагал, что рожден для военной карьеры: еще в школе он изучил все кубики и ромбики, под его кроватью лежало оружие всяких видов, правда, деревянное, он мастерил его вечера напролет, при этом, сладко замирая и потея от восторга, воображал, как оно будет прицельно стрелять и верно лежать в ладони. Когда приходила зима, он в подугорье вместе с ребятами своего околотка строил ледяные крепости и всегда руководил их осадой, таясь в особой землянке «командарма», ведь так положено по военному наставлению. Но если его почему-либо не выбирали в командиры, он молча поворачивался — худенький, в потертой коротенькой фуфайке, с цыпками на красных узких запястьях — и, проваливаясь по колено в снег, уходил целиной к дому, запирался в боковушке и горько плакал.

И когда пришла неожиданная война, он не содрогнулся от ужаса и страха — словно бы поджидал ее и знал, что она будет, — его только изумило, что она явилась так рано: ведь он, Федька, еще не стал Федором, ему еще год учиться — осенью пойдет в десятый класс, а это значит, что война может кончиться без его участия. На третий день войны, когда забрали двух старших братьев, Федька Чудинов не выдержал и поспешил в военкомат, но ему отказали: советовали подрасти, есть больше овсяной каши и подтягиваться на турнике.

Но война оказалась мучительно долгой. Федька успел окончить школу, а чудилось, будто война еще толь-

ко началась и впереди нет просвета. Вскоре Чудинова и его сверстников обрили наголо, погрузили на пароход и увезли сначала в Архангельск, а в начале октября — и далее, где было особенно тяжко.

Позднее, через много лет, Федор Чудинов вдруг откроет свои подвиги, которые скрывал ранее, чему были свои причины: во-первых, он был стеснителен до красных аллергических пятен на впалых щеках, а во-вторых, орден Красной Звезды где-то долго бродил по стране и разыскал владельца лишь в самом конце пятидесятых годов, когда вообще много оказалось разысканных.

Награда не смутила тихого бухгалтера, он не стал бегать по городским инстанциям и выспрашивать подробности, мол, откуда неожиданный почет и не ошиблись ли, а строго подтянулся и в город больше не выходил в шерстяных носках и безразмерных калошах. Чудинов сшил в местной портняжной у горбатенькой Феклы первый по счету полувоенный темно-синего габардина френч — в сундуке по чистой случайности лежал кусок пропахшей нафталином материи — и заказал в сапожной мастерской хромовые сапоги на высоком каблуке.

По этому поводу в городке было много разговоров, особенно в верхнем конце, в том самом околотке, где бабы-старухи помнили Федора еще просто Федькой, сопливого, с замерзшими слюнями в углах губ, который бегал с деревянной винтовкой при настоящем трехгранном штыке, примотанном медной проволокой. В коротенькое дульце школьной ручки он набивал селитры и пороху и порой неожиданно пугал людей.

— Значит, все правда, — говорили бабы-старухи. — Уж что дается богом сызмальства, на то человек и располагается. Ведь и Федьку взять — такой ли был вояка! С водой идешь с подугорья, так, бывало, не пропустит уж мимо, чтобы не напугать. Из сугроба шалит вдруг: «Ложись, бабка, взрывать буду!» Другой раз со страху чуть не напрудишь. Ведь темь, глаз выткнуть можно, а тут гарчат над ухом, кто его знает, взорвет еще — с него станется... А теперь и орден вот нашел его.

Первой пришла пионервожатая, прямо в сберкассу пришла, у стойки жмется. Думал сначала, что сбережения принесла, а она вдруг и говорит, мол, Федор

Максимович, не могли бы вы моим пионерам о войне рассказать. Хотя Чудинов подобную просьбу ожидал и даже втайне начинал обижаться, что обходят его вниманием, приглашают кого-то другого, порой с простой медалькой «За отвагу», но тут вдруг застеснялся — уж больно прозаично все выходило, — закочевряжился легко: «Какой я герой, вы меня с кем-то спутали, Алевтина Григорьевна, у нас в Слободе только настоящих героев восьмеро да трое приравненных к ним как полных кавалеров Славы, а у Игнатия Енфимова, скажу вам по секрету, есть даже четыре Славы, хотя по статусу такого и не положено, но он вот имеет...»

Чудинов еще пожался, но прийти пообещал. Быстро прогнался по памяти и припомнил, что хотелось. А вечером, вдохновляясь и холодно потея от непонятной робости, похожей на страх, — ему все казалось, что кто-то подслушивает, чужой и злой, — Чудинов рассказывал, как по-ударному работал на самоходном понтоне, как его потопили, но он остался вместе с десантом на чужом берегу и стегал из пулемета по немцам, а потом — тут Федор Максимович смущенно пожимал короткими плечами и показывал на ноги, — командир спросил добровольца, и он, Федор Чудинов, изъявил согласие. Дождливой октябрьской ночью переплывал реку Великую: шинелька намокла, да еще автомат, да три гранаты на дно тянут, а сверху проклятые ракеты, и фашисты огнем поливают... В общем, рекой овладел, отлежался на берегу и пополз к своим, теряя сознание, но все же боевой долг выполнил, и помощь к боевым друзьям поспела вовремя. А он вот от холода застудил ноги, едва не отсадили их напрочь, да повезло, так сказать, нашелся врач, который понял необходимость его ног в будущей жизни.

Чудинов распалился, порой, правда, что-то смутно тревожило, и он оглядывался на дверь, будто опасаясь неожиданного гостя, но дверь не открывалась, и Федор Максимович пожимал плечами и виновато улыбался. Гнедые глаза его завлажнели, толстые брови подрагивали и словно рождали грозу, потому что в темной глубине зрачков сверкали искры.

Потом, как принято в таких случаях, Алевтина Григорьевна спросила у ребятишек, не желает ли кто задать дополнительный вопрос, и один носатый парниш-

ка, Женька Фефилов с верхнего околотка, сосед Чудинова и любитель чужих огородов, ехидно, как показалось, спросил, что такое понтонер. И Чудинов торжественно объяснил, что понтонер — это боец, который своими двигательными средствами способствует перемещению через водные рубежи.

Но объяснение Федора Чудинова мало кто понял, хотя, наверное, слово «понтонер» ужасно всем понравилось, потому как оно долгонько шелестело в классе, будто таило в себе особый неопределенный смысл и привкус, щекотало язык. С тех пор, стоило Чудинову перед его уроком рисования появиться в конце школьного коридора, как кто-нибудь из ребят, толпившихся возле класса, просовывался в дверь и кричал: «Понтонер идет!» Словечко было круглое, и оно очень скоро покатилось по семьям, а потом — чуть стыдливо, но уважительно — и по всему городу. Так Федор Максимович Чудинов стал Федором Понтонером. Но у него, как и у всех живых людей, были мелкие враги и недоброжелатели, которые называли его совсем низко: «Федька Понтон», а то и хуже: «Федька Понт».

*

* *

Пока дотащил бревно, взмок Федор Понтонер как окаянный, но вслух ни разу не чертыхнулся, не хулил свою судьбу, а за дощатой загородкой повалился на просохший холм песка, как подрубленное дерево упал, руки раскинул и поколотил о землю в удовольствие широкими, дресвяной жесткости кулаками, потому что был Федор в благостном расположении духа. «Две трети земляной работы прикончил, пожалуй, самые трудные две трети, ведь по ведрышку черпал песок, а велика ли от Тальки польза, хотя, как в жены ее брал, упреждал-выговаривал: «Для чего кузнец клещи кует? Чтобы руки не жгало. А для чего мужик бабу берет? Чтобы пособляла». Здоровая жена — хулить нечего. Может, позвать ее да спустить бревно в погреб... Иль завтра с утра: заодно поможет и песок черпать, он ведь как текучая вода, такая уж шельма, в каждую дырку лезет. А у Тальки еще мода некрасивая шутить: стоит вверху да сапогом резиновым, будто в шутку, песок подталкивает, словно мужа захоронить хочет. Надо ей

комплиментацию сделать, мол, нехорошо, женушка, мужа живьем в земле хоронить... Но, слава те богу, комнатку уже оборудовал, потайную комнатку, тут военному блиндажу перед нею уступить: бревна в три наката, не бревнышки, а лиственница хорошая, да гравий с цементом уж так любовно лег, будто по самым мировым образцам, и сверху земли метра полтора, и дернинкой, дернинкой застлал. По своему проекту строил, до самого нужничка усек, грешным делом, даже интеллигентному человеку зайти вечерком, вернее, спуститься да представить, что он вроде бы один во всем мире, и то приятно. Эх, Федор Максимович, со стороны могут сказать, что индивидуалист ты, высшей марки индивидуальный человек, а я приму это, приму как комплиментацию. У Федора Чудинова ничего из рук не выпадет: вроде бы из пустяка, а за год, не пьянствуя, не развратничая, как некоторые (знаем, знаем, от нас ни-ни...), живя законным тихим образом, приличный бункерок оборудовал, плитой древесной обшил да печку чугунную поставил, такая чудесная печечка, уж веком не треснет и не прогорит, хоть сутками палом пали. И столик не забыл, и скамейки для сиденья там, для спанья, и кладовочка с вентиляцией: такую кладовочку продуктами забить — год жить можно, не стесняясь лихолетья, да и выход запасной есть, он вроде бы и водосток, но он же и выход.

А жена все небось думает, что погреб рою, одного не поймет, дура, зачем нам два погреба, а я ее хитро так обвел, мол, нынешний что-то киснуть стал, запах нехороший дает. И не понять ей — где ей понять женским умом? — что снаружи это вроде и погреб, и крышка на срубе с замочком (на всякий-який, от лишних любопытных глаз), а внизу-то потайная дверка. Только шасть туда — и вроде бы есть я, а вроде и нет меня, как хочешь пойми, и никакая бомба не достанет. Водички захотел — ведрышко спустил: вот она, водичка, без всякой тебе радиации; в кладовочку руку запустил, а там продукт всякий. А много ли мне одному надо, я по-китайски: щепоточку риса — вот и сыт, как божья птичка... Говорят, войны не будет. Врут люди, только себя предрасполагают к отдыху да в шутку планируют перед телевизором, как простынкой будут закрываться в случае того самого взрыва. А пока есть на земле хоть

двое живых людей, они грызть друг друга непременно будут. Ну и пусть грызутся, а я, спасибо, прошлой войной сыт — ведь не каждого так бомбами постегало, и не каждый умирал на земле да заново воскресал, а со мной, Федором Чудиновым, такое случалось. А нынче я жить хочу, я долго жить буду, всех дольше буду жить», — с маленькой снисходительной радостью думал Понтонер, глядя в блеклое отгорающее небо, на легкий косой свет, что ложился на лицо и неярко слепил глаза, на суетливого жаворонка, словно боящегося упасть с небес и все же пропадающего в дальних серебристых овсах, на толстую полосатую медуницу, покинувшую спелые клевера...

«Осподи, и неуж не вечно все? — опять размягченно подумал Федор Понтонер, и будто бы мысленно грозил кому-то, и жаловался, и плакал неслышно и тонко, одной душой. Но неожиданно вспомнился хмуроватый взгляд Крони Солдатова, и вроде бы черное ненастное облачко неслышно набежало на душу Понтонера... — Сестру потешить приехал, давно не бывал, значит, полюбоваться приехал. Сразу видно, что необразованный человек, фигурально выражаясь, — деревня. Другой приличный человек удосужился бы поздороваться, а этот посмотрел, будто волк на бердану или словно я в прошлое рождество тысячу у него занял и не отдал. А я ничего не занимал и никому ничего не должен...»

Федор Понтонер решил с земляной работой сегодня закруглиться — и так весь отпуск угрохал, ни дня отдыха не видел, да еще ввечеру нужно овец пасти. Через задние ворота он вошел в крытый двор, и опять теплое удовольствие от жизни поселилось в душе. Все тут было поставлено добротно: белая банька, и дровяник, и поросятничек с цементными полами и паровым отоплением, и овчарник на двенадцать скотинок; не овцы, правда, — одна мелочевка, но столько заботы с ними — руки оторвут. И опять же, куда без овчишек? Мясо свое, не покупное, а попробуй в магазин-то побегай каждый день, тут никаких денег не хватит. А если мясо свое, да поросюшку-другую на ноги поставишь, то и живым весом родному государству можешь загнать по два рубля сорок копеек за килограмм, а хряк килограммов двести — двести пятьдесят потянет, ведь столовские харчи хорошие. Ныне народ совсем заелся: и то не ест,

и другое не по нраву, морды воротят, ели бы, чего подают, так все лучше ищут, словно и войны не видали. Вон Талька из столовой ведра припрет, так ложка стоит... По два сорок, да на двести помножь — это пятьсот рублей чистыми: от поганой свиньи, а денежки чистые, хотя, подумать только, кто и ест эту свинину — тьфу, гадость! Говорят, даже покойников эта животина потребляет. А денежки чистые. Пять хряков в год — это две пятьсот наличными, но, конечно, труда положить надо: в одиннадцать на боковую, а в четыре утра Федор Чудинов как штык, будто в караул собрался, и спать уж который год не хочется. Выйдет поутру — спит Слобода, а он уже весь в поту, поросюхи кричат, будто режут их, мокроступы навозные лижут, к рукам ластятся.

— Деточки вы мои! — Понтонер мимоходом потрепал порося за лопухастые уши, щекотнул по щетинистому розовому загривку. — У-у, миленочек мой, оть ты беда-та. Ну копи сальце, ты ешь, ты отъедайся на здоровом харче. Дядя Федя вас всех любит... — Понтонер запустил руку в корыто, поболтал в запревшей гуще, ладонью зачерпнул пойла, к лицу поднес и понюхал: «Осподи, удовольствие одно. Сам бы ел, да звание не позволяет. Славное же у вас житье, черт побери!»

*

* *

Талька сидела посреди кухни, словно другого места не нашла, и, освободив от платья отвисшую грудь, кормила сына; ноги разбросаны тяжело, и платье натянулось на бедрах, открывая серые кружавчики нижней рубахи и толстые шишкастые колени. Федор еще с порога сделал губы вафельной трубочкой и пробовал что-то ласково залопотать, но Талька оборвала его:

— Халявы-то мог бы и в скотнем оставить. А то наубираться на тебя не могу. Да скинывай свою кожурину! Куда идешь, тебе — нет говорено?! — вдруг закричала визгливо и сердито, утыкая коричневый сосок в рот малышу. — Тебе бы только в хлеву жить, а не среди людей.

— Ну ладно, ладно, миленькая моя. Ну как тебя понесет, как понесет, да как разнесет — ведь лопнешь,

а я тогда куда сиротиной разнесчастной денусь? — Отворил двери и сбросил резиновые калоши за порог. Жена нервно поерзала на табурете, тяжело дыша и оседая рыхлым телом, и говорила уже притихшая:

— Сними ватник-то, давно постирать надо. Будто от бешеной лошади прет, и как только ты выносишь этакую душину? Ведь и зараза всякая расплодиться может, — уж вяло и тихо закончила Талька.

— Ну а ты тоже, ерш глазастый! Ты не кусай грудь-то, не кусай.

Ватный жилет и колпак Понтонер повесил возле двери на гвоздик, чтобы после не искать, и, мягко ступая, все же подошел к сыну, вроде бы подкрался, испытующе и тревожно взглядывая на опущенное лицо жены, но дресвяной ладонью сына погладить не посмел: не ладонь, а доска у Федора Понтонера — задубела от всякой работы, и потому он только потряс ею над плечом жены, делая вид, будто сына Андрюшку за носик сейчас ухватит.

— В пятьдесят лет мужики на пенсию идут, а ты детей строишь, ненормальный какой-то. А помрешь, дак куда я с малолетним? Да не кусай, Андрюшка, больно ведь мамке делаешь! Тиша, иди, мальчик мой, покачай братика в зыбке.

Из комнаты выскользнул худенький мальчик, неродной сын Понтонера: личико блеклое, но спокойное, короткие бровки вздернуты удивленно, будто Тиша что-то хочет сказать, и рот круглый, материнский. Тиша молча взял братика и, как нянька с большим стажем, прижал к груди, покачал, наклонясь плечами к ребенку, поправил у него что-то в пеленках — не то ручку, не то ножку — и, по-женски запрокидываясь над зыбкой, словно отрывая Андрюшку от титьки, положил его в постель и так же молча качнул зыбку рукой, длинной и тонкой, как стебель травы-корянки.

— Помрешь, дак я куда с двумя-то денусь?

— Не помру я, буду долго жить, — сказал Понтонер, хмурясь в душе. — Посмотри я какой: высох весь. Во мне нечему гнить и портиться.

— И не такие загибались, — нудно твердила Талька, поворотясь к мужу широкой спиной.

— Может, когда и случится это. Но я жить буду очень долго, пока не устану. А я никогда не устану.

— За коим хреном так и жить. Будто ломовая лошадь убиваешься, свету белого не видишь. Ведь с собой на тот свет не потащишь. Только-то и унесешь, что на себе. И меня-то лошадью сделал. Посмотри, за пять-то лет во что меня оборотил — места живого нету, все болит.

— У, надоеда, мещанская кровь. Сама шла за меня, никто не тянул силой.

— Да, сама. Нужда заставила. Тут хоть за чурку с глазами пойдешь.

— Тогда бы молодого какого задурила, а то на старика позарилась.

— Укараулишь молодого. Что они, на дороге валяются? Молодые-то все с пьянством убились. А ты вспомни, как улещал, золотые горы обещал, а тут даже туфель порядошных нету. С чужой ноги донашиваю.

— Сказал ведь, что все твое будет. Ну что распылилась! Молоко в грудях сгорит, чем Андрюшку кормить будешь? Может, для него и живу, — размягчаясь, сказал Понтонер и присел к столу. И вдруг непонятный холодок суеверия впервые за последние годы обжег душу Понтонера, и ему показалось даже, что он сказал какие-то лишние слова, вроде бы выдал свой секрет, который вслух говорить не полагалось. Он мысленно сплюнул и сказал себе: «Типун на язык», упрекнув себя за навязчивое бахвальство, но тут жена поставила кашу манную да морковный сок, и за едой тревога заглохла, уступив место новым мыслям, новым заботам.

— Ты из столовки ведра с крышкой носи...

— А я как ношу? — огрызнулась Талька.

— Не кричи, не кричи. Я и говорю — с крышкой носи. Люди глупые, скажут, что у Федора Чудинова кулацкие замашки. Им бы только ярлык навесить, а потом и не расхлебать будет.

— Словно люди и не знают. Видят ведь, не слепые. Каждый день с ведром прусь. Да и в столовке не спрячешь куски.

— А ведра-то с крышкой носи. Болтать люди будут, мол, Талька Чудинова из столовки куски таскает. На меня тень падет.

— Боишься, что в президиум не выберут? Посмотри, люди-то над тобой хохочут.

— Падет, говорю, тень. Слободским только бы язы-

ком потрепать. С такими коммунизм не построишь. Это же полнейшая мещанская эклектика...

— Ну, опять понес. Ты хоть по-русски скажи толком.

— Я еще раз подвожу себя к мысли, что мещанство — это не сословие, как хотелось бы нам видеть, а умственное состояние человека. А где ум, где? У тебя, к примеру, а?

— А если я такая дура, почто и замуж брал?

— О памятнике погибшим сколько разговоров было, а никто и пальцем не щелкнул. А я триста рублей как одну копейку всадил в это дело. Три-ста...

— Ты бы лучше Тише костюмчик купил. Парень-то уж в третий класс походит, а я из старого платья опять рубаху скроила. Небось, деньги-то в сейф не лезут.

— Ничего, год перебьется. Привычка к роскоши — вредная привычка, отягчающая душу. Именно мещанство, пышным цветом взошедшее, погубит нас. Человечество погрязает в лености и безразличии, — продолжал Понтонер, словно не расслышав просьбу жены.

— Ты на себя лучше оборотись. Вместо души сейф себе устроил, — перебила Талька, и в ней, как позавчера у погреба, проснулось страшное желание подойти к мужу и ударить поленом по маленькой белой голове; что-то похожее на гадливость родилось в душе, и, заглушая в себе нарастающий визгливый крик, она зачастила словами, чтобы только не встрял Понтонер, не перебил ее своим женским поучающим голосом. — В Пинеге дедко один все на деньгах жил. Копил да в подполье прятал, копил да прятал, а тут вдруг и привედись смена старых денег. А он зажался, побоялся, что расспросы начнуться, — знать, за душой темное дело было. Вот и не оттащил деньги. Все на завтра откладывал, а тут как-то быстро все обернулось, он и опоздал. И стали деньги просто бумажками, даже стены оклеивать и то не сгодились. Так не сто ли тысяч в печи сжег.

— А ты разве не для денег живешь, не для живота своего? Вон от жратвы-то распухла, в столовке, небось, за двоих ешь, покорительница мясных бифштексов и старых сердец, — неожиданно распалился Понтонер: его смутило, что она, эта сожительница на временном пути его, вдруг упрекает и даже старается уравнять с

собой, а может, и унизить. Это было страшнее всего, и он закричал сухим надрывным голосом, подавляя в себе невольный страх: — Замолчи! Не смей раскрывать свой лягушачий рот! От твоих воздухов пахнет зловонием...

— А спать со мной не пахнет? Старое чучело, посмотри, какой колпак напялил. От ватника-то смердит. Думаешь, спасешься? Все ровно околеешь, раньше меня подохнешь... Уйду, уйду, живи, как хочешь, — заплакала Талька навзрыд, захлебываясь в слезах и сморкаясь в фартук. В зыбке тонко заверещал ребенок, лицо его от рева стало синюшным, а Тишка подошел к матери, уткнулся худеньким лицом в плечо и забормотал:

— Мама, ну мама, не надо. Чего ты? Андрюшка с реву задавится.

Понтонер, только чтобы не слышать шершавые всхлипы, ушел в другую комнату, стул поставил посередке, не изменяя своей привычке, постелил на коленях лоскут бархата, смахнул ладонями с голубого перламутра баяна невидимую пыльцу, пробежался кривыми пальцами по клавишам, словно проверяя их крепость и наличие на местах и заиграл «Раскинулось море широко...» Давил Понтонер на клавиши резко, чуть наискосок, будто отбрасывал костяшки на счетах, и сквозь неровные всхлипы баяна все вслушивался в бормотание на кухне; и порой, — а может, только казалось ему — оттуда доносилось: «Все равно подохнешь. А я еще поживу. Я еще покрасуюсь над тобой».

Понтонер плотнее прикрыл дверь, но теперь из-за стены сочились неясные голоса, похожие на шорох ручьевой воды; и вдруг нестерпимо захотелось слышать, что же говорят там, и Понтонер приложил ухо к стене и даже подосадовал, что обшил стену древесной плитой. Только слышно было, как что-то бунчали, наверное, пили водку, пробовали петь; и снова раздражаясь уже на тех, кто за стеной, Понтонер второй раз за день почувствовал неопределенный страх, и он — этот страх шел на Федора Понтонера из-за цветастой стены, и уже никак нельзя было уйти от него.

5

Кроня Солдатов после четырех классов дальше в грамоту не пошел. Семилетка была лишь в Слободе, пришлось бы жить на стороне, а близких тогда, чтобы оприютить парня, еще не было, да и деньги лишние в доме не водились, чтобы парню с собой дать, — вот и вырешил Спиря Солдатов оставить Кроньку при себе. И неожиданно выгадал, словно бы сон в руку пался, потому как Лизка, дочь, внезапно из леса сбежала.

В пятнадцать лет Лизка по разнарядке оказалась на сплаве. Вечно у нее подол мокрый, сапоги берегла, так и перед ледоставом по пояс в воде и босиком. А как под зиму вернется в дом, ноги все в цыпках, шелушатся, и кожа на них будто деревянная, а руки в болячках, распухли подушками — не девчоночьи, а мужичьи руки. Мама Наталья ноги гусиным жиром мажет, а Лизка воет на всю избу: «Не пойду боле на сплав, там мужики матерятся с такой работы. Там даже мужики килу зарobливают, а мне еще жить да жить».

На сплав пошел Ванька, предпоследний сын, который еще при отце жил, пришлось и его от избы оторвать: сердце кровью облилось у Спири, а куда денешься — разнарядка. Лизка до осени просидела дома, а зимой с обозом в лес уехала: вытребовали на заготовки. Там по пояс в снегу бродила, топором сучья с дерев карзала, вечером едва до нар доползала, только бы спать. Три сезона выходила, но больше не сдержалась — на самое рождество побежала домой. Девяносто километров лесной дорогой, а на себе дырявая фуфаечка да кофтенка немудрящая, а валенки, чтобы не слетели, веревками к ногам примотала.

До избы дошла, а порог поветный едва переступила, тут и села рыхлым кулем. А на улице мороз палит, на улице ртом в открытую дышать неможно. Лизка сидит на повети птицей-тетерочкой, будто на родимом пороге и смерть ей найти... Кронька пошел сена лошади кинуть — тогда Солдатовы еще в единоличниках ходили и лошадь держали. Увидал, что ворота распахнуты, а в светлом проеме сидит что-то немое и страшное, пугливо подошел, сжимая в дрожливых руках вилы, а там — осподи! — Лизка, сестреница. Опрометью бросился в избу, мать кликнул, та заметалась по кухне —

и отца как на грех нет, в извозе он, — что-то замычала: «Ой ты грех, ой ты осподи!» — и кинулась на поветь. Лизку руками хватает, то валенки стягивает, то платок, а руки у дочери уж не гнутся, и кажется, что скрипят в плечах, вот-вот обломятся. Побежала Наталья за снегом — надо бы в тепло сразу, а где ей знать это? — снегом да шерстяной рукавицей стала девку оттирать, до крови ей руки ссадила, тут же на полости развалила: вся голубая девка-то, титешки синие, как два кулачка, и словно звенят. Потом опомнилась, Кроньку прочь кышнула — мол, отворотись, парень ведь большой уже, — хотела одна стащить Лизку в кухню, а где самой, разве утащишь, хоть и десятерых на свет принесла, пришлось того же Кроньку на помощь звать. Уже в тепле, когда спиртом полили да в самый жар на печь сунули, зашевелилась Лизка, заплакала громко, давясь слезами, а тело полыхало жаром, ныло, словно кожу живьем сдирали.

— Да не реви ты, глупо дело! — жалостливо и нарочито сердито прикрикнула мать. — Эку дорогу бежать задумала. А вчера уж милиционер приходил, по комнатам шарил, все выпытывал, где, грит, дезертир. Лизка, грит, ваша с заготовок сбежала. Отвечать, грит, будете.

Не успела мама Наталья досказать, как приходил милиционер да как грозился, тут и снова заявился он — словно бы за дверью подслушивал, — в новых валенках, губастый, с ядреным красным лицом. Валенки были высокие, голяшки перекрывали колени, и милиционер ступал, как на протезах. Зашел, наметанным глазом по кухне прошелся, заметил беспорядок.

— Где дезертир?

Наталья сразу на занавеску глянула, милиционер поймал ее взгляд и, жуя губами, протянул руку к занавеске, а там — стыд-то какой! — дочь голая лежит: срам-то какой на всю деревню Снопу! Дернула Наталья мужика за воротник полушубка.

— Не лезь, куда не просят.

— Где дезертир? — не отступал милиционер, еще больше краснея лицом, и видно стало, как он еще молод и какой усердный службист.

— Ты не ори. В чужом дому находишься, — завелась Наталья. Она будто еще терла твердую, как ка-

тыш, Лизку, будто видела и целовала ледяное ее лицо. Господи, ведь девчоночка еще — семнадцатый годок, ей ли такие тяготы переносить?! И до того больно стало в Натальиной груди, что она закричала, не сдерживая голоса:

— Ты не страми Совецкую-то власть! Что ты из себя прихильника окаянного строишь? Девке-то еще жить надо да рожать надо, Красной Армии воинов строить. А она с бревнами волочится.

— Как, как?

— Как-как да и кучка. Что слышал, то и есть. Вон харю-то наел, немято тело. Тебя бы на заготовки, больно хорошо помять, а то только ходишь по деревне да огузьем трясешь.

— Ну смотри, смотри, — отступил милиционер, не зная, что сообразить с шальной бабой.

— А я всего насмотрелась: и плохого, и хорошего, и стыдного, и бесстыдного — и никого теперь не боюсь.

Кронька жался на скамейке под самым образом, боязливо пугался маменькиного крика, но еще больше боялся белого полушубка, который густо пахнул овчиной и морозом и скрипел, как старые половицы. Кронька егозил на лавке, смотрел то в промороженное окно, то на печь, где вся малиновая лежала сестра, то на милиционера и мучительно боялся за мать, и от этой тревоги в животе у него даже что-то стонало и уркало.

Милиционер угрозливо крикнул на прощанье:

— Я вам покажу, кулацкие прихвостни! — А Наталья, совершенно бледная от перепалки и потерявшая разум, только повернулась к нему спиной и задрала платье, оголив белое стареющее тело:

— На-ко, выкуси! Посмотри-ко на себя, сколь ты хороший да боевой.

А когда милиционер ушел, Наталья отхлынула от гнева и сразу забоялась: вот придут и заберут ее в каталажку, а как дети без нее будут, ведь и Спиря с обозом долго не вернется? И заплакала, занюнилась в три ручья. А Кронька подошел к матери и сказал ломающимся баском:

— Я Лизку подменю...

— Да куда тебе. Молчал бы хоть ты-то, не лез ко мне.

— Я ведь сильный. — Надул живот. — Я маленький,

но ужасно сильный. На, бей в живот, — сказал Кронька, пыжась, и сам испугался своих слов. Но отступать было поздно и не в его правилах, потому принес полено из опечка и пристал к матери: — Бей что есть мочи.

Мать дала Кроньке шлепка под зад, не знала она такой деревенской забавы, когда парни на околице надувают животы и лупят по ним, проверяя крепость. Кронькиному животу завидовали, потому что он пучился, как коровье вымя, и гудел, когда по нему били палкой. Может, с того и урчало внутри, когда Кронька волновался или боялся чего. Наталья про Кронькин живот ничего не знала, но, поревев, рассудила, что деваться некуда, и следующим днем отправила сына в лес на попутной подводе, надоумив, чтобы он набавил при расспросах себе лет.

Там Кронька быстро налился телом, раздался в груди; «животной» игры там не было, да и с лесом хватало времени наломаться до великой усталости, но на палке он перетягивал многих мужиков, и за это его уважали.

КАК ОН ВЫЖИЛ?

На фронт Кроньку Солдатова взяли зимой сорок первого, и к осени сорок второго, когда с ним приключилась эта беда, он уже успел вдосталь навоеваться...

Кроня Солдатов и не слышал, как пуля просквозила его; просто в спешке и горячке подумал он, что сильно вспотел, просунул под гимнастерку ладонь, чтобы обтереть грудь, а там сыро. Тут и упал, кровь пошла горлом. Оказалось, пуля прошла грудь навылет, задела легкие, и когда Кроня вдыхал в себя прогорклый воздух, что-то внутри сипело, и чудилось, что через пулевую дырку воздух из легких выливается обратно. «Словно качают велосипедную камеру», — подумал Кроня и слабо, как-то в себе, улыбнулся этому сравнению, и сразу вспомнился дом, велосипед на повети (тут смерть стоит, а ему велосипед пришел в память), еще совсем новенький, с блестящими шишечками на педалях и гофрированными резиновыми ручками. Кроня купил его перед самой войной в лесопункте, чтобы удивить Снопу, а ездить так и не научился: только раза

два провел его за дужки руля по всей деревне, как строевого коня, и все мальчишки Снопы бежали следом, норовя брякнуть никелированным звонком. Кто-то теперь будет кататься на нем, может, старшие братья, а может, и продаст его батя Спиря... И эта мысль пробудила в Кроне страх, ему стало мучительно жалко себя, захотелось жить, и он застонал, не открывая глаз. Но никто не услышал его стона, потому что было не до Крони Солдатова: немецкие танки уже размяли, разворотили гусеницами зенитную батарею и ушли дальше.

Только Кроня еще не знал этого, в его ушах жил грохот уже умершей канонады, и он думал, что бой продолжается. И, не открывая глаз, Солдатов попросил застрелить его. Но никто не ответил и не подошел, потому что Кроне только показалось, что он сказал, да и некому было отвечать и даже застрелить парня. Кроня и не узнал, когда потерял сознание, но однажды ему показалось, что он вынырнул из бездны. Кроня открыл глаза: небо было сумрачное и строгое, и откуда-то с небес — так почудилось парню — глянуло на него удивительно знакомое лицо с круглыми гнедыми глазами, близко посаженными к носу. Эти глаза настороженно и робко посмотрели на Кроню и застыли, студенисто переливаясь в глубоких провалах, и Солдатов даже заметил, как вспархивали загнутые рыжеватые ресницы. Кроня хотел спросить: «Федя...Чудинов, откуль ты?», но не успел и только застонал, видно, неловко и больно лежал на обугленной земле, и тут словно бы серое крыло взмахнуло над ним и погрузило в беспамятство. И, проваливаясь в забытьи, Кроня еще подумал, что, слава богу, хоть один родник да навестил перед смертью.

Очнулся Кроня Солдатов в совершенной тишине, только, едва уловимые, дальним земным громом катились орудийные залпы. На лице была солдатская обгорелая шинель, твердая и кусачая, она больно терла глаза и лицо. Был накрыт Кроня Солдатов чужою шинелью, как покрывают мертвых. Кроня прислушался к себе и не уловил никакой боли, словно земля зарубцевала, затушила прострельную рану. Осторожно откинул полу шинели и взглянул в небо. Оно очистилось от гари и было невыносимо глубоким и ярким, будто бы изнутри полыхало желтым прозрачным пламенем. У

развороченной земли был горький бесплотный запах, как у жестких пустырей, где растет лишь надменный чертополох. Еще наносило запахи пороха, горелого металла и сладковатого тошнотного тлена.

Кроня вдруг испугался, что останется здесь и умрет. Он уже забыл, что просил пристрелить его, тягучий запах тлена будоражил и волновал, но Кроня еще не совсем пришел в себя, и жажда жить тоже едва просыпалась в нем. Солдатов ворохнул спиной, отыскал более мягкую землю, но она была везде неровной и жесткой, и это раздражало Кроню. Он невольно прислушался к тишине и уловил в ней недалекие голоса, вскрик заполошного петуха, промчался и затих мотоцикл, где-то скрипнула дверь и вырвался испуганный женский возглас.

Кроня перевернулся на живот и увидел те самые Бороухи, за которые умирал. Черепичные крыши за голыми деревьями были совсем рядом и казались черными, хотя Кроня помнил, что они бруснично-красные, — он ходил в это село за молоком... И вдруг он словно бы ощутил жаркими губами холодную струйку молока, которая густо и неторопливо цедится сквозь марлю из деревянного подойника в глазуревую кружку. Кроня пошевелил языком, он был распухший и едва влезал в рот. Совсем рядом, перед глазами, была рыжая, наверное, от его крови, земля, она казалась ржавой и будто состояла из одного старого бросового железа. Кроня лизнул землю — она оказалась холодной и кислой на вкус, и тут Солдатов понял, что уже конец октября и земля завязла, полная сырости. Он прижал язык к зубам и почувствовал, как этот холод стал отходить и превращаться в кислую влагу. И Кроня лизал землю, продвигаясь выше по воронке, пока не наткнулся на что-то холодное и неживое. Он поднял глаза и увидел застывшее лицо старшины Кармелюка, оно лежало как бы отдельно от тела. Кроню всего затрясло и вывернуло наизнанку, он тихонечко попробовал встать, чтобы не видеть лица старшины Кармелюка, но встать не удалось, вернее, Кроня побоялся подняться и пополз на коленях в сторону села.

У крайней избы его увидела старушка, она робко подошла к Солдатову, и он рассмотрел только высохшие ноги в толстых солдатских ботинках.

— Мама, не оставь! — по-детски попросил Кроня, и старушка, хрипя плохой грудью, наклонилась к нему. У нее были узкие веснушчатые кисти с круглыми шишкастыми козанками на пальцах, и почему-то эти руки напомнили мать, и Кроня, слабея, повторил: — Не оставь, мама.

— Осподи, каких молоденьких калечат, — прошептала старушка. — Куда я тебя дену? Ну ты, вставай, экий ты неподъемный. — Она потянула парня за рукав, подставляя сутулую спину, и Солдатов, опираясь на ее плечо, как на костыль, поднялся; его била дрожь, ноги подгибались и слушались плохо, под мокрой ладонью он слышал бесплотное старое тело и все боялся, что тонкие кости хрупнут и тогда он тоже упадет и больше не встанет. Старушка повела парня к погребу, постоянно оглядываясь и пугливо перебирая выцветшими губами, на маленьком лице выступил крупный пот, кофтенка распахнулась, и Кроне было видно, что старушка будто бы высечена из куска желтого мореного дерева, и только глаза ее жили отдельно, большие и смуглые, как перезревшие сливы. Они были плутоваты и чем-то озабочены, видно, старушка даже удивлялась своей отчаянной смелости. И Кроня вдруг почувствовал, что все будет хорошо, он проживет очень долго и умрет своей смертью.

Но тут раздался холодный окрик «хальт», словно по спине стегнули ременной плетью, Кроня вздрогнул и сразу устало поник, а старухино плечо подалось под его рукой и нерешительно замялось, но старая все еще пыталась идти, и глаза ее упорно смотрели на огородную тропку, где впереди, шагах в двадцати, был спасительный погреб.

Очередь раздалась гулко, и пули стонуще прошли над головами, возвещая о смерти. Кроня обернулся: сзади стояли немцы, и один из них подманивал его согнутым пальцем, как зовут маленьких детишек, которым обещают конфетку, а второй уже оказался рядом и неловко отдернул старушку за рукав кофтенки прочь, и она с полуоткрытым ртом так и осталась сидеть на меже, и, когда Кроня прощально и тоскливо оглянулся, глаза у нее были слепые от слез.

Кроне что-то сказали по-немецки, и по взмаху руки он понял, что приказывают идти. Удивляясь самому

себе, Кроня сделал несколько робких шагов, и ему показалось вдруг, что он плывет в густой воде, редко взмахивая руками и ногами, а река сама несет его на себе. Немцы остались сзади, а потом и вовсе исчезли за поворотом, наверное, отыскивая прячущихся, а Кроня шел серединой улицы, и все было перед ним в тусклом призрачном тумане, сквозь который просачивались то чье-то лицо, то дремотное иль мертвое тело на обочине, то черная труба пепелища.

Кроня шел осторожно, словно боялся расплескать в себе жизнь, но все же догнал какого-то сутулого солдата, и когда тот обернулся, он узнал в залитом кровью лице заряжающего Середкина из их батареи. Середкин вдруг склонился, подобрал пулеметную ленту и закинул себе на плечо. Около дороги с оторванной ногой сидел Харев, тракторист (тот, что волочил Кронину пушку), у него было белое лицо и черный большой рот, обметанный простудными пузырями и грязью. Харев вдруг крикнул:

— Бегите! Сейчас иль никогда.

Это «никогда» больно отдалось в голове Солдатова. Заряжающий Середкин с пулеметной лентой на плече неожиданно свернул от сельской площади, где грудились пленные, в маленькую мощеную улочку. Он спешил и быстро удалялся от Крони. Солдатов пробовал крикнуть: «Середкин, подожди!», но тот почему-то не оборачивался, потом сзади раздался окрик «хальт!», и над головой прошлась автоматная очередь, особенно гулкая и страшная в узенькой мощеной улочке, где не разъехаться и двум телегам. Середкин побежал, а Кроня машинально свернул в чей-то двор за каменный сарайчик, увидел за ним яму, покрытую вялой травой, и осторожно скатился в нее, как в постель.

Он лежал, закрыв глаза, ему было дремотно и хорошо, он еще слышал, как где-то плакали, стреляли, матюкались по-русски, играл патефон и кто-то пел пьяную разухабистую частушку, а потом все это куда-то полезло в сторону. И снова над Кроней склонились гнедые настороженные глаза Феди Чудинова, и Кроня спросил: «Федька, а ты-то тут как?» Но загнутые рыжеватые ресницы колыхнулись, и опять серое покрывало закрыло от Крони все.

Порой он приходил в себя, видел изнуренную ло-

шадь с круглыми бабками на костлявых ногах, она гулко ступала по мерзлой земле и скоблила губами палую осеннюю траву. Однажды она подошла к Солдатову и лизнула его влажным языком, жарко фыркнула в самое лицо, и мелкая дрожь волной прошлась по ее впалым бокам. От лошади густо пахло потом, и для Крони этот запах был особенно родным и печальным.

Он опять ушел в беспамятство, ему чудилось, что он плывет на лодке: Кроню качало, он хватался руками за бортовины, а весел почему-то не оказалось, и когда лодку вздымало очередной накатистой волной, Кроня видел за бортом черную завитую воду... И вдруг он оказался на берегу ранней весной. Небо волглое низкое, снег подтаял и лежал плешинами, от речки доносило конским навозом и сыростью. Кроня таится в засидке, его знобило, но волглое низкое небо было молчаливо, знать, гуси задержались где-то южнее. Кроня не выдержал, стянул резиновые сапоги и надел валенки. Они были большие и теплые, шуба пахла старой овчиной, опрокидывала в дрему, и ружье в захолодевших руках вздрагивало и клонилось...

Внезапно в небе тонко ударило, будто треснула и обвалилась с речного обрыва подтаявшая льдинка, звук был звонкий и короткий. Кроня вздрогнул, до рези в глазах всмотрелся в небо; ветви засидка мешали, и он осторожно отвел их кончиком ствола. Гуси летели низко, лениво взмахивая длинными крылами и порой опадая на воздух упругой грудью. Кроня осторожно взвел курок, тот щелкнул сухо, словно треснул сучок, но неожиданный ток нетерпения, видно, передался и птицам, потому что они нервно перебрали желтыми ногами и толкнулись вперед и вверх, а Кроня ударил по стае вдогон крупной своекатанной дробью.

Одну птицу задело, она еще пыталась укрепиться в воздухе, но бесполезно забирала крылом и потом пошла вниз, знать, перебило вторую махалку. Кроня, забыв, что он в валенках, бросился к гусю по набухшему снегу, по мокрой луговой дернине, а птица кинулась от него, волоча непослушное крыло. И тут валенки застряли в скрытой ручьевине, и Кроня выпал из них и побежал босиком, проваливаясь по колено в снеговые плешины...

«Бежать, бежать!» — шептал он, выплывая из бес-

памятства, и тут ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Открыл мутные глаза и увидел сначала черные тусклые голенища сапог, туго обтягивающих икры, темно-синие бриджи с кожаными наколенниками, белую батистовую сорочку и коричневые подтяжки на опущенном животе, потом — светлые любопытные глаза с набухшими веками и седоватый бобрик волос. Немец смотрел долго и болезненно; правая щека была намылена, и сквозь просыхающую пену проклевывалась твердая щетина. Он что-то сказал, подбежали двое солдат в клеенчатых фартуках, наверное, санитары, и положили Кроню на носилки. Он хотел застонать, потому что в грудь вроде бы всадили ржавый гвоздь, но сдержался, сразу вспотев.

В сельском медпункте ему промыли рану, сделали перевязку и на тех же носилках отнесли в палату «смертников». Его положили в проходе меж коек. Есть Кроня не хотел да и не мог; когда он приходил в себя, то видел, как уносили мертвых: их натруженные сапогами желтые пятки почему-то назойливо лезли в глаза. А однажды лежачих раненых вынесли из медпункта, свалили на телеги кто в чем был и по тряскому булыжнику долго возили по Бороухам. Кроня оказался в одних кальсонах. Его совсем растрясло, мучила постоянная боль...

В школе, куда пленных привезли под вечер, на полу была прелая солома. К вечеру каменный дом выстывал, и раздетые пленные жались друг к другу, делясь своим крошечным теплом. А Кроне было жарко, он видел себя в летнем душном сосновом бору: белый мох подгорел на солнце и хрустел под ногами, а от талой смолы, от нагретых сосен сочился такой густой аптечный запах, что было трудно дышать...

В школе раненых лежало человек пятьсот, недели через две более половины из них успокоилось от страданий. А Кроня все еще жил. Однажды он пришел в себя, попросил зеркало — нашелся осколок с детскую ладошку, Кроня всмотрелся в мутное отражение и увидел лохматые стариковские брови, морщинистое чужое лицо с белыми лихорадочными глазами и сухие щеки. Потом Кроня прощупал себя: коленки стали твердые и большие, как кулаки.

Кроню опять понесли на перевязку, и впервые, ког-

да сматывали с груди черные от крови и грязи, завшивевшие бинты, он не потерял сознание. Тут появился врач, он с любопытством осмотрел раненого, не касаясь его рукой, и Кроня безразлично подумал, что где-то видел этот седоватый жесткий бобрик волос и светлые глаза в сетке рытых морщин. Врач склонился еще ниже, всматриваясь в Кронины выгоревшие глаза, от немца пахло легким цветочным одеколоном и табаком. Не разгибаясь, врач что-то сказал за спину. Костлявый унтер сыто засмеялся, показывая крепкие желтые зубы.

Кроня слушал чужую речь, не зная, что говорят о нем, с удовольствием вдыхал тонкий цветочный запах одеколона и посторонне думал, что этот немец с жесткими седыми волосами чем-то похож на его городского дядю. Он подумал вскользь, и мысль исчезла, едва народившись, потому что немец с хрустом распрямился, став далеким и призрачно неясным.

Потом Кроню принесли обратно, в школу, и он вяло поразился ее пустоте: в самом углу просторной залы на рыжей, нет, скорее на черной от крови и грязи соломе лежало не больше сотни полунагих людей, которые вроде бы пугались большого каменного пространства с исцарапанными известковыми стенами и убегали от него в самый дальний угол. Они словно бы дрались за этот угол, потому что все вбились в него, просто слились в один большой шевелящийся клубок.

Кроня еще не знал этой жизни, вернее, не помнил ее: она протекала все эти двадцать дней мимо его сознания, и потому невольное чувство брезгливости шевельнулось в нем, и некоторое время он даже лежал чуть в стороне на жестком жгуте соломы. Потом Кроню стал трясти холод, и он уже пожалел, что не может уйти обратно в беспамятство, где всегда было жарко. Вскоре Солдатов и сам оказался в смрадном, но более теплом углу среди грязных и покрытых язвами людей и с удивлением обнаружил, что его здесь знают, что есть тут у него постоянное место чуть ли не в самой середине и даже существует его покровитель, толстогубый лысеющий человек в синих кавалерийских штанах и бязевой солдатской рубахе. Оказалось, что у Крони имеется своя мятая алюминиевая чашка и свое изголовье, где под жгутом соломы лежит деревянная

ложка с чужими инициалами «М. А.» И когда раздали по сто граммов старого хлеба и плеснули в чашки картофельного супу, покровитель начал кормить его с ложки, нависая над Кроней мосластым широким телом, а пустой левый рукав бязевой рубахи бесплотно и щекотно ложился на Кронину грудь.

Солдатову внезапно захотелось есть, его раздражало, как медленно, подставляя под ложку кусок хлеба, подносит ее покровитель, и Кроня, выхватив чашку, стал пить жидкий суп через край, обливая подбородок, шею и как-то тревожно и опасливо оглядываясь вокруг.

— Ну, мальчик, очнулся? — незлобиво сказал покровитель и обтер Кронину шею пустым рукавом, который, наверное, заменял полотенце.— Раз очнулся, придется продолжить одиссею. А для многих она уже кончилась, да-да, мой мальчик, позволь мне так тебя называть. Здоровее были люди, но кончились, потому что не им, а тебе суждено жить. Потому что у каждого есть своя становая жила, есть такая жила в человеке, но где она, никто не знает. А есть... — Однорукий покровитель еще что-то долго говорил, смешно шевеля мохнатыми бровями; казалось, что и брови пытаются что-то сказать свое, но лишь беззвучно играют на морщинах лба.

Кроня подогнулся в коленках и, не слушая, что говорит сосед, осторожно повалился на бок, заглушая в себе боль и голод. У восемнадцатилетнего Крони не было прошлого, а было лишь настоящее. И в свои восемнадцать он уже безразлично принимал чужую смерть, потому как этих смертей было столь много, что они не волновали закаменевшую душу, были посторонними и какими-то ненастоящими: словно недвижных людей ненадолго вынесли из школы, чтобы только накормить и привести в порядок. Но сейчас Кроня не мог себя представить мертвым: он очнулся, и соки жизни уже будоражили его.

— Человек не знает, что управляет им, — все говорил однорукий, и Кроня подумал, что он, наверное, или бывший поп, или учитель. — Случается же так, боже мой: от пули ушел, из моря ледовитого выплыл, даже из самолета выпал и уцелел, а однажды шел босиком по своему двору, — может, двадцать лет не видал дом и по траве босиком не ступал, а хочется походить по ней

голой ногой, — а тут и возьмись ржавый гвоздь: ногу наколол — и никто уже не спасет... Вот как тут понять, а? — спросил однорукий, но Кроня промолчал, потому что он еще не умел размышлять и не было к этому особой охоты. Сосед покряхтел и вплотную ласково привалился к парню: он дышал с хрипотцой, что-то внутри у него булькало, переливалось и посвистывало, и Кроня подумал, что так, бывало, спал отец Спиря после покоса. Бязевая рубашка соседа согревала спину, и раненый, лежащий справа, тоже отдавал часть своего тепла, но Кроня все не мог согреться и усмирить крупную дрожь и всем телом жался к чужой горячей коже.

А через неделю — да-да, это было, пожалуй, через неделю — раненых рассортировали последний раз. Костлявый унтер приказал встать и тех, кто не мог подняться, убивал, как больных усталых лошадей: выстрел в ухо. Кроня Солдатов посторонне смотрел на происходящее, и вдруг взгляд его столкнулся с глазами костлявого унтера, тот засмеялся, показывая крепкие желтые зубы, и что-то сказал врачу, который безучастно стоял в дверях.

Странная игра началась, и бессловесной игрушкой в ней волею обстоятельств стал Солдатов. Выстрелы приближались к нему, а Кроня безучастно лежал, будто желанно ожидая смерти. Порой он переводил взгляд на однорукого, тот стоял навытяжку, закаменев сутулой спиной, и только лицо с большими ушами, дольными морщинами на щеках и войлочными бровями напряженно жило и мучительно вздрагивало, потому что этот человек понял разговор и сейчас знал что-то, неведомое другим.

Внезапно босыми жесткими пальцами правой ноги он больно ткнул Кроню в бедро и сказал едва слышно одними губами:

— Ну вставай же, мой мальчик, иначе твоя одиссея кончится, не начавшись, и мне будет обидно за твою юную жизнь... Ну шевелись! — вдруг закричал он нетерпеливо и зло, а лицо покрылось влажной бледностью и глаза испуганно и потерянно метнулись по зале.

Кроню это лицо смутило и взволновало, а костлявый немец, легко сутулясь, неспешно и как бы обреченно придвигался к нему, и ободряющая улыбка — мол, держись, ведь умереть так просто — жила на его де-

ревенском веснушчатом лице. Эта улыбка испугала Кроню, и он внезапно подумал, что смерть действительно пришла за ним. И видя ее в лицо, ощущая ее знобкое тяжелое дыхание, он попятился по осклизлой соломе в самый угол и, цепляясь пальцами за влажную штукатурку стены, стал косо приподниматься, будто собирался влезть на стену и нащупывал ладонями выбоины, искал, куда удобнее поставить ногу. Так, притираясь спиной к стене, Кроня разогнулся и встал впервые за много дней, а немец, холодно улыбаясь, подошел к Солдатову и небрежно, будто играя, толкнул его в плечо. Но Кроня устоял и даже шагнул вперед и через плечо костлявого унтера увидел на болезненном лице капитана горькую холодную усмешку, и опять внезапно подумал, что все будет хорошо и он, Кроня Солдатов, проживет долго-долго.

Потом всех, кто мог двигаться, вытолкнули из школы на пустынную сельскую улочку под низкое набухшее небо, конвой оцепил горстку измученных людей и погнал в сторону синей напрягшейся тучи. Стоял ноябрь на самом рождении, по сторонам разлившейся дороги лежали сугробы обмороженных до черноты листьев, деревья в садах были раздеты и холодны, окна в уцелевших домах темны и сиротливы, и по всему селу было разлито неспокойное чувство тревоги и ожидания.

Пленных гнали спешно, словно торопились оставить село за спиной, очутиться в одиночестве в пустых полях и покончить со всем этим делом. Кроня проваливался по колено в лужи, кальсоны вязали мокретью ноги, влажный промозглый ветер студил тело, и Солдатову страшно подумалось, что ему не дойти даже до края улицы. Он дышал хрипло, грудь рвалась от мокрого кашля, и Кроня, глядя под ноги, боялся упасть и захлебнуться в густой дорожной жиже. Но внезапно его кто-то поддержал, просунув руку под мышку, и голую спину оцарапал заскорузлый рукав рубахи.

— Кто ныне рано ложится, тот совсем не встает, — услышал Кроня знакомый хриплый голос, но не ответил, ибо не было ни сил, ни охоты, а лишь благодарно взглянул в бровастое, совсем стариковское лицо.

А когда покидали село, закрапал дождь, редкий и тяжелый, как град, и сквозь нечастую сетку дождя Кроня вдруг разглядел осевший к дороге неухоженный

домок с седой дуплистой вишней под окнами, сразу узнал его, словно бы нарисовал в памяти, и почему-то стал отыскивать желтую старушку с непотухшими глазами. И Кроне почудилось, что в боковом стекле мелькнула ее прозрачная тень и растворилась. А когда согнали всех в поля, Кроня еще раз обернулся, словно бы запоминая этот домок и предчувствуя, что вскоре волею обстоятельств он опять окажется здесь и старушка с непотухшими глазами в заплесневелом сумраке погреба будет часто и плаксиво вздыхать, пеленая Кронино тело в простиранные холсты.

А редкий ленивый дождь внезапно перешел в скорый и ледяной: он хлестал по несчастным длинными синими розгами, вбивая пленных в надувшуюся жидкую грязь. Некоторые не выдерживали, их сбивал с ног мутный поток воды, и они, неловко замахиваясь руками, падали на четвереньки, а потом и плашмя, захлебываясь дождем и грязью. Кроня висел на плече однорукого и, задыхаясь от ливня, прятал лицо за его спину, которая парила от влаги и была еще теплой. И Кроня принимал эту помощь с детским безразличием, как само собой разумеющееся, о чем не полагалось даже размышлять.

Километрах в трех от села повстречался хуторок, который чудом обошла война и оставила в сохранности две избы и колхозный амбар, куда и загнали конвоиры пленных, толкая их в спины. Середина амбарной кровли порушилась, и потому дождь хлестал в земляной пол и вытоптал его, как стадо голодных овец. Раненые сразу расползлись по углам, где еще лежали ворохи старой соломы и половы, а вверху темнела крыша.

Кроня лежал в дальнем углу, привалившись к плечу однорукого и слушал, как что-то сипит и булькает у того в груди. Кроне померещилось, что соседу плохо, и он толкнул его:

— Эй, папаша, ты не того?

— Нет, не того, — откликнулся однорукий, и его грудь перестала сипеть. Он опять завел разговор, будто только что прервал его на полуслове:

— Человек, к примеру, зверь из зверей. Медведь иль волк перед ним просто добряки. Но тогда для чего природа наделила человека разумом? Чтобы он страдал за свои злодеяния? Фигу с маслом! Он не страдает, он

плевать хотел на муки душевные. Такая крохотная жизнь, а мы не вправе владеть ею. Но чужою распорядиться можем, это дозволено. Почему так, а?

— А моя бабушка девяносто лет прожила, — откликнулся Кроня, вспоминая ее сухие пергаментные руки: они, быстро холодея, не отпускали Кронькину ладонь до самой бабушкиной смерти. — Она захотела умереть и умерла. Мы обедали, а она и баит, говорит, значит, нам: «Вы ешьте, я вам мешать не буду». Мы поели, она повалилась на лавку и померла. В одночасье и померла.

— Счастливая была твоя бабка, — грустно сказал однорукий. — Она росла как дерево. Ведь только деревья знают, когда им умирать,

— Странно ты говоришь как-то. Мы ведь попросту выражаемся: деревенские-то люди темные да неграмотные.

— Ты тоже счастливый, — продолжал однорукий, словно не расслышав Кроню. — Ты тоже растешь как дерево. Тебе и умирать не страшно. Страшна не смерть, а раздумья о смерти. Думы страшны, ты понял? Думы, которых у тебя нет. — Однорукий больно схватил Кроню.

— Да отвяжись ты, чума! Тебя не трахнуло случаем? — спросил Кроня, показывая на голову. — Всякий по-своему помирать не хочет. Я вон в леси сколько дерев свалил, а всяко по-своему скрипит да плачет, как на землю летит. Даже дерево плачет, а я ведь не чурбан с глазами, у меня и сердце есть. Может, там больнее вашего все происходит, только мы сказать путем не можем.

— Смешной ты и счастливый. Ты и страдаешь, как дерево, которое возвращается к земле.

— Сам ты чурбан с глазами! — почему-то обиделся вдруг Кроня и отвернулся к стене.

Но дождь мелкими осколками доставал и здесь, он сыпался нудно, и Кроня попытался спрятаться от него, прижимаясь в самый угол и по деревенской привычке обшаривая все кругом. Низ амбара был обшит тесом, неизвестно уж, по какой там нужде, но обшит, а угол расползся по шву, и Кроня, шаря ладонью, нашел за досками уютное прибежище, посыпанное сухой мякиной. Вползать туда было тесновато, а когда он умостился и

притих, слушая, как в бревенчатую стену хмуро бренчит дождь, стало страшновато в сырой темноте, а холод от намокшей земли студил тело до самых печенок. Сразу вспомнился однорукий сосед, и Кроня тихо позвал: «Эй ты?» — удивившись вдруг, что еще и не знает, как зовут спасителя. Но громче кричать поостерегся, словно побоялся выдать уютный схорон, вылез ногами вперед из деревянного мешка и тронул соседа за плечо. Но тот не отозвался, и мог поклясться Кроня, что однорукий плакал. Он еще раз окликнул, наклонясь к самому уху соседа:

— Эй, как тебя кличут? Слышь, как тебя зовут-то?

— Дядя Гриша, — глухо отозвался тот, сморкаясь в ладонь.

— Ты слышь, дядь Гриш, я совсем заколел, а тут закуток от дождя есть.

И они устроились в сухом схороне, где пахло прелым хлебом и мышиным пометом. Дядя Гриша почему-то плакал, хлюпая носом, прижимал Солдатова к себе, и на голую грудь Крони падали теплые капли. Дождь шуршал о стены, иногда шумно проливался, от земли тянуло студеным, а за дощатой обшивкой стонали раненые и затихали в раздумьях и туманном больном сне. А дядя Гриша все плакал, и Кроня по-взрослому гладил его плечо и утешал:

— Ну что ты, дядь Гриш. Живы будем, не помрем. Эко чудо!

— Смешной ты, — вдруг отозвался однорукий и перестал плакать, а потом начал рассказывать мокрым голосом, словно не переносил одинокого молчания:

— У меня было четверо сынов, целая дубовая роща. Всеми и на войну отправились и в одно отделение попали — я упросил. Так и назвали: отделение Братухиных, это фамилия у меня такая. Они тоже много не думали, а пуля их и подобрала. Теперь я один остался: был Братухин, а стал Сиротин. Ну что я скажу супруге своей Марье Сергеевне, что я скажу? Повалена моя дубовая роща...

Вдруг заскрипели и распахнулись ворота, острый клин света раздвинул вязкую темноту, и раздался требовательный окрик «шнелль!» Наверное, немцы торопились и хотели до настоящей темноты пригнать пленных на станцию. Дядя Гриша шевельнулся, норовя вы-

браться из укрытия, но Кроня неожиданно, еще не раздумывая о последствиях, прижал его к себе, и тот словно понял все и затих. Немцы спешили, они порядком вымокли и устали, им хотелось скорее покончить с этим суетным делом, и они прямо с порога обежали фонарным светом по грязным ворохам соломы, обрывкам окровавленных бинтов и черным ребрам стропил, а уходя, полоснули в пустоту амбара из автоматов, и пули глухо впились в мокрые бревна. Потом зачавкали шаги, открытые ворота под порывами ветра туго распахивались и сиротливо ударялись в стену, словно требуя к себе человеческого внимания, а топот ног по дорожной зыби все затихал, и уже казалось, что где-то далеко гонят на бойню табун усталых лошадей.

Когда стреляли, однорукий сосед резко вздрогнул, и Кроне показалось, что дядя Гриша испугался автоматов и норовит вылезть, поэтому Кроня плотнее прижал его к себе, прислушиваясь к пришедшей тишине. Потом он осмелился и шепнул в темноту:

— Дядь Гриш, ловко мы их, а?.. — Но сосед не откликнулся и только еще плотнее и тверже навалился на стонущую грудь Крони, быстро твердея и остывая. Еще не осознавая случившегося, но уже слыша в себе глухую тревогу, Кроня свободной ладонью обежал лицо соседа, его лохматые брови и холодные каменные губы, потом прошелся по плечам, все повторяя: «Дядь Гриш, а дядь Гриш?» А когда обхватил его, чтобы освободиться от сырой тяжести, ладонь на спине наткнулась на вязкую мокроту. И Кроня, пугаясь, вылез на середину амбара и закричал, наверное, только сейчас постигая смысл настоящей утраты:

— Дядя Гриша, как же это, а? — Потом прислушался к отражению своего крика, которое, оказывается, жило лишь в его душе, в пересохшем горле и воспаленном сознании, хотя Кроне чудилось, что его вопль вылился куда как далеко из черного пространства амбара в пустынные захолодевшие поля и даже еще дальше, к самым Бороухам. И, боясь своего голоса, Кроня насторожился, как старый слепой человек. Он сидел на корточках посреди набухшего слякотного пола, куда раньше свободно лился дождь, а сейчас, когда небо очистилось, только редкие сочные капли скатывались с обломанных стропил, падали в набухшую грязь,

некоторые летели косо на застывшее, черное, как головешка, тело Крони Солдатова и на его тонкую шею в гусиных пупырках дрожи...

Может, нестерпимый холод пробудил Кроню или постоянное ожидание опасности встревожило его, но только он забрался обратно в щель, где лежал спокойный и застывший дядя Гриша, которому уже ничего не надо было объяснять своей супруге Марье Сергеевне. Он лежал у деревянной обшивки, так и не разогнув в мгновенной смерти закоченевшие ноги. Может, оттого, что прошел дождь и небо прояснилось, или привык Кроня Солдатов к нежилым сумеркам, но только, нагнувшись над убитым, он разглядел раскрытые круглые глаза, в которых будто по-прежнему жила надежда самому распорядиться собственной маленькой жизнью. Кроня глядел **в эти глаза, не удивляясь** собственному спокойствию, и не слышал, как по обугленным его щекам текут последние детские слезы. Прежде чем покинуть покойного, Кроня посторонне и трезво подумал — а может, напомнил ему это нетерпимый холод, — что мертвые не мерзнут и не страдают. И он снял с дяди Гриши заскорузлую от грязи рубаху с пулевой дыркой на спине...

А через много лет, когда мучительно заноет к непогоде грудь и рыжие щупальца раны нальются и набухнут, Кроня подумает с веселой и недоуменной грустью: «И как я тогда из гробовой ямы выцарапался, ума не приложу?» — и не ответит сам себе, но, поддавшись внезапному настроению, вдруг вспомнит однорукого пленного дядю Гришу и до осязаемости ощутит на спине шершавое тепло его солдатской рубахи, которая неожиданно и при столь страшных обстоятельствах перешла к нему.

6

— Хоть умерла наша мамушка Натальюшка — не намучилась, да и людей не напозорила. Скоро и нам там быть, — сказала мать, и Геля увидел, как быстро и готовно набухли влагой глаза: близко ныне у матери слезы. — Свекровушка баба Маня большой мукой намучилась, страшному врагу такой муки не пожелаешь.

Ведь она в последние-то годы от слепоты сделалась глупа да беспамятна, никого не признавала, а только все сына Андрюшу кликала. Ну как тут господа бога не вспомянешь, если на такую казнь человек был определен. Характерна была женщина: бывало, чуть что не по ней, вскипит, стулом грохнет, накричит, умчится в свою комнату, только дверями всхлопает, а то и обидит. Но и часу не пройдет — обратно ворочается с каким ли гостинцем: «Тут, Лизавета, мы пекли нынче, уж не знаю, каковы пирожки получились», — опять тарелку пирогов моим детям несет... Ты, Геля, хоть бы на могилку к бабушке понаведался, навестил бы ее, она тебя боле всех любила да привечала.

— Сходит, сходит, как же не сходит, — сказал дядя Кроня, светясь каленым лицом и обласкивая Гелю хмельными глазами.

— Ты, Лизавета, дай парню очухариться. Дай к дому привыкнуть, тюх-тюлюх.

— А чего привыкать-то, не чужой, бат. Если сколько у бабушки пожил, дак все под моим наблюдением.

— Ну хватит, завелась опять, — досадливо оборвал Геля, выбираясь из-за стола, выщелкнул из пачки «беломорину» и вышел на крыльцо. А сзади еще донеслось:

— Мог и не приезжать. Ишь какой выискался, фырчун.

Геля криво усмехнулся, уже терзая себя за грубость, но, что поделаешь, если не мог он удерж давать себе, когда упоминали бабу Маню: спина его тогда обливалась холодом и глаза сухо щемило... Он стоял у ободверины, мусоля невкусную папироску, и незряче вглядывался в побелевшие половицы мостков...

Пять лет минуло с тех пор, как не стало на свете бабы Мани. Тогда мать прислала телеграмму: приезжай хоронить бабушку, а Геля только месяц, как из дому... Правда, бабушка уж который год совсем нехорошая была и кричала постоянно. Геля вспомнил, как пришел навестить ее в маленькую комнатку, где в сумрачном свете в ватных стеганых одеялах лежало что-то, смутно похожее на бабу Маню. Она была, как ребенок, с крошечным в желтых пятнах лицом, совсем белые волосы лежали на бордовой подушке острым клином, похожим на крыло куропатки. Бабушка лежала боком. Она уже давно жила в своем воображаемом мире и, су-

дя по крикам, видела только любимое лицо погибшего сына Андрея, по которому и выплакала глаза. Она не узнавала никого, порой поворачивала на подушке лицо, всматриваясь истекшими незрячими глазами в бесконечную черную пустоту, настораживалась, как пугливая лесная птица, натягивая костлявыми длинными пальцами одеяло к самому подбородку, большие ноздри горбатого носа трепетали, и баба Маня кричала пронзительно: «Андрю-ша!» Этот крик был нестерпим, от него сдавливало горло жестокой слезливой спазмой, хотелось убежать из желтого полумрака и кислой духоты, где в стеганых одеялах лежало что-то, едва похожее на бабу Маню...

И вот ее не стало. Смерть бабушки как-то не воспринималась, словно она умерла давно, а тогда на широкой кровати доживала ее несчастная тень. Получив телеграмму, Геля тупо бродил по комнате, размышляя, где бы достать денег — после отпуска с деньгами было всегда чертовски трудно. Подумалось, что надо бегать по комнатам, открываться в своем горе, а время перед самой получкой и на свободные-то деньги не так просто напасть...

И он не уехал тогда, чтобы в последний раз взглянуть на бабу Маню, а взял четвертинку «московской», несколько карамелек и в каком-то сером закутке под пыльной чахоточной зеленью, где пахло всякой дрянью, выпил водку прямо из горлышка, теплую до дурноты. Потом Геля сидел на скамейке, как вялая оттаявшая рыба, а перед глазами была баба Маня с куропачьей головой на бордовой подушке, и он все старался отвлечься от этой страшной картины и вызвать в памяти другие воспоминания, может, радостные и теплые, из самого детства, и в глазах у него уже готовно закипали слезы.

Может, эта горестная одинокость и вызвала в нем светлое озарение, но только Геля впервые за прожитую жизнь увидел тогда себя шестилетним в дедовой каракулевой шапке, в маленькой белесой пальтушке с большой розовой заплатой на груди и серых катанцах с загнутыми носами и рыжими кожаными обсоюзками. Рукавички он давно бы уже потерял, но они спасительно болтаются на тесемке двумя мерзлыми катышами, в которые страшно совать даже промерзшие пальцы, и

когда становится совсем невтерпеж, Геля дует на бурые от холода ладошки и сует их под распахнутую пальтушку, в остатки тепла. Геля бегает по мосткам меж накиданных лопатой длинных сугробов, таская за собой санки с железными полозьями, и бормочет мерзлыми губами «ту-ти-у». Он что-то воображает, может, самолет или машину, порой дергает санки в вираже, опрокидывает, снова ставит на полозья и садится верхом, занося передок на себя и отчаянно гукая; порой он оборачивается, словно кого поджидает, но из-за сугробов, как из глубокого оврага, видна Геле лишь заснеженная крыша с черными отростками труб. Но тут слышит он, как брякает дверное кольцо, легко поскрипывает крылечко под торопливыми шагами, потом выныривает овчинная шапка: она то вырастает над сугробом, то вновь скрывается, и кажется, что там прячется злой человек. Геля воображает, что там разбойник, хотя давно знает, кого увидит, ибо ради этой минуты и мерз весь последний час на расхолодной улице, и он тут же затевает игру: таится и крадется мостками, прижимаясь к сугробам и заранее расплываясь в улыбке всем круглым веснушчатым лицом.

Он выползает на коленках к крыльцу, осторожно выглядывает из-за сугроба, не предполагая, что дедова шапка, которую он носит, уже выдала его, и грозно ухает, а баба Маня, которая давно услыхала Гелькино сопение, притворно пугается, смешно подскакивая обеими ногами, и хлопает себя по бокам: «Ой, кто это? Ну, Гелюшка, как ты напугал старую бабку!». Но левый круглый глаз смеется, черный, как смолевая капля, и левая бровь смеется, круто сбегая к переносью, и орлиный нос спускается еще ниже и вздрагивает над верхней губой, и рот распахивается широко и свободно, открывая несколько крепких желтых зубов, и овчинная мужская шапка тоже смеется и подпрыгивает на жестких волосах, а ушко одно, заткнутое по-мужичьи калачиком, вываливается и размахивает обкусанной тесьмой. И только правый глаз у бабы Мани не смеется, он будто подернут белой пленкой, и его обтекают кругом мелкие частые морщинки. Этот глаз заливает быстрая и легкая неживая слеза, и баба смахивает ее мизинцем. Геля слыхал, как старшие часто повторяли между собой, когда не было бабы Мани около, что она правый

глаз выплакала по сыну Андрею, который погиб на войне, и если она и дальше будет переживать, то ослепнет совсем...

Война кончилась, но в доме голодно, баба, вернувшись с работы, до поздней ночи вышивает прорезные занавески. К воскресенью у нее кое-что подкапливается из рукоделья, и за этот день ей нужно сбегать за двадцать километров в окрестные деревни, обменять прорезные занавески на творог и сметану, а к ночи вернуться уже обратно. Потому бабе Мане некогда долго рассусоливать с внуком, она расставляет на легких санках-чунках тару: всякие бидончики и коробки, один ставит вверх дном и со словами: «А ну, Саврасушка, трогай!» — подхватывает Гелю под мышки и усаживает его на упругое захолоделое донце, оправляя у внука на коленях пальтушку, чтобы не поддувало, будто собралась она тащить его с собою через безлюдный лес. А сама уже покряхтывает, сует голову в обмерзшую петлю, сутулит узкую спину, привычно кренится вперед, и тонкая шея как-то жалобно напрягается, вытягиваясь из воротника. Бабушка идет неспоро, вразвалку, немного косолапя растоптанными своекатанными валенками, и коричневая вигоневая юбка, остывая на морозе, с хрустом натягивается на морщинистых голяшках.

Дорога накатана до блеска, и полозья, прихваченные морозцем, поначалу трогаются неохотно и скрипят, потом отогреваются и скользят вольно, а Гелька сидит на этакой-то верхотуре, закрыв глаза и подставив лицо солнцу, и ему кажется, что он летит и кружит над землею легко и беспомощно. Порой его уж совсем кренит на сторону, и он готов свалиться в санную колею, но Геля упорно не открывает глаз, а ждет, когда начнется спуск. Он слышит, как баба Маня обегает чунку кругом и, не снимая с плеча веревочную петлю, заскакивает на санный полоз, потом одной ногой по-ребячьи отталкивается от тропы, а руками обхватывает Гельку, наваливается на него — и они вдруг стремительно падают в холодную пустоту. Ветер неудержимо бьет в лицо и застревает в горле, сердце замирает, а потом отчаянно прыгает вверх, и округлые холодные пупырки бегут по коже. А баба Маня хохочет, и в лад ей радостно звенькают, колотятся боками бидончики, когда под полоз летит раскатанный ухаб. У самой подошвы горы

санки раскатывает, крутит легко и отчаянно, как птичье перо, потом заваливает набок, и Гелька вместе с посудой летит в снег. А баба Маня достает его из сугроба, ласково шлепает пониже спины и ворчит: «Соблазнил опять бабку, на грех направил. Серьезности в тебе, Гелька, нету». Потом ползает в снегу, собирая бидончики и раскатившиеся крышки. Но вот снова настраивается на долгую ходьбу, опять впрягается в мерзлую лямку, обминает ее на правом плече, чтобы удобнее лежала и не терла, достает из широкого нагрудного кармана, пришитого к внутренней стороне фуфайки, французский переводной роман (от маменьки, вологодской купчихи, привычка) и бормочет: «Опять запамятовала, на какой странице в прошлый раз споткнулась». Она листает книгу длинными нервными пальцами и уже забывает о внуке; мерно перебирая катанцами, идет она по безлюдной дороге, а Гелька смотрит ей в спину, каждый раз удивляясь и мысленно примеряясь, как можно на ходу да с одним-то глазом читать толстенную книжищу...

*

* *

Да, так и не проводил он тогда бабу Маню в последнюю ее дорогу. Геля смотрел на выцветшие мостки, словно бы покрытые инеем и побитые обочь зелеными лишаями, и чудилось ему, что сейчас за поворотом прорастут тихие старческие шаги и у крыльца, сторожко щупая бревенчатую теплую стену, покажется баба Маня. Она в розовой трикотажной кофте и вельветовой юбке, на ногах обрезанные катанцы; бабушка высохшими руками щупает стену, словно в темноте сеней отыскивает дужку дверей, и ногу она переставляет неровно, далеко вытягивая катанец вперед, будто хочет появиться незамеченной. Вот уже пятнадцать лет как баба Маня ослепла совсем, волосы на голове посеклись и пожелтели, обнажив большие хрящеватые уши, а на когда-то прекрасных черных глазах лежат белые птичьи пленки. Вот она сделает еще шаг, чутко прислушиваясь к постоянной темноте, и сразу уловит, что кто-то рядом есть, и потому чуть-чуть испуганно спросит хриплым низким голосом: «Ой, кто тут?..»

— Геля, ты где? — неожиданно в окно крикнула мать. — Вечно со своей соской расстаться не может,— сказала уже тише, наверное, дяде Кроне. Геля вздрогнул: заулок показался сиротски запущенным, мостки прогнили, а бревна нижних венцов, тронутые лишаем, осели на цоколь и посыпали узкую бордовую кромку серой перхотью. Все было в запустении и вызывало грусть.

А в комнате веселье так и не наладилось. У дяди Крони от выпитого вина лицо побурело, будто натерли его толченым кирпичом, глаза посоловели и набухли. Мать сидела у краешка стола, как птичка-куличок; взглянув на сына, она сказала вдруг:

— Жил бы ты дома. Молоды-то парни нынче порато хорошо живут. А ты и с работы вот ушел. Думаешь, больно много художником-то заработаешь? Все равно где-то работать надо... Давай оставайся здесь.

— Тоскливо в Слободе, — отмахнулся Геля. —Будто жизнь вся мимо идет. Да и так-то вроде мимо прошла, — добавил невнятно, скорее для себя.

— Какая у молодых нынче тоска лешева завелась? Только жить начинают, а уже тоска. Деньги лопатой гребут, на мотоциклах разъезжают, носятся как угорелые, а все какая-то тоска лешева. Мы раньше никакой тоски не знали, потому что ломили больше лошадей, вся жизнь в мятке прошла. Я ведь, Кронюшка, еще лучину застала. В печи березовые поленья просушат да целые поленницы и складут в подызбице. В запечье уж завсегда охапками лучина лежала. Если чего идут делать, все лучина в руках, осподи, как и не сгорели только. Дак гарывали, чего там... Мамушка-то в четыре утра уже на ногах, а зимой теменище, так лучину запалит, в рот возьмет конец-от да и корову доит. А ныне эка жизнь — всего достигли, слава богу...

— Веками работали, чтобы есть, и ели, чтобы работать. Выходит, для живота и живем, создаем что-то, мучимся, планы выполняем и перевыполняем — все для живота? А где душа, мечтания, красота? — спросил Геля, удивляясь неожиданной мысли и страшась ее.

— Вроде бы так, на этом и жизнь стоит, — добродушно сказал дядя Кроня.

— Не-не-не, — возмутилась мать. — Вы что это? Для продолжения рода живем. Для того и работа бес-

конечная — для продолжения рода. А так бы и жизни экой не было. Вон всего достигли...

— Страшных болезней да атомных бомб...

— Ты что? — подозрительно спросила мать, толком не расслышав сына.

— Да так, ничего. Спать, говорю, пора.

Мать с обидой и тоской оглядела стол, недопитую бутылку, остывшую закуску.

— Ничего не ели. Кто доедать-то будет? Опять все вываливать вон придется, — сказала она с жалостью человека, много пожившего в нужде.

— Ну ладно, спать пора, — вновь перебил Геля, боясь нового жалобного разговора.

Мать постелила мужикам на диване. Дядя Кроня повалился с краешка, по-детски подогнув калачиком ноги и подложив под левую щеку ладонь. Он сразу захрапел, зачмокал губами, что-то забормотал прерывисто и жаркой спиной придавил племянника к стенке. Геле было неудобно беспокоить дядю, и он с легкой досадой подумал, что теперь под этот храп ему не уснуть, потом недолго смотрел в ночное серебристое окно на рябину, облитую матовым прохладным светом. И вдруг запропали куда-то руки-ноги, голова стала легкой и хмельно закружилась, и Гелю повлекло в беспокойный сон.

Долго ли он спал, Геля не знал, но только вдруг вздрогнул и проснулся от неясного тревожного состояния: у него на душе было такое чувство, будто в лицо смотрит пристально кто-то чужой и злой. Геля беспамятно открыл глаза, всматриваясь в белесый сумрак, потом неожиданно уловил странные в ночной тишине звуки и заставил себя проснуться окончательно — на своей кровати плакала мать. Она всхлипывала горько, давилась слезами и снова затихала. Геле было беспокойно и смутно от этого ночного плача, надо было встать и утешить мать, но жалость к ней мешалась с глухой досадой, и он, уткнувшись в подушку, пробовал уснуть снова. Дядя Кроня лежал раскинувшись, от его сильного тела наносило сухим жаром, локоть больно упирался в бок, и Геля понял, что спать, наверное, больше не придется.

Стараясь не смотреть на мать, Геля вышел на крыльцо, потом вспомнил, что папиросы остались на

столе, хотел вернуться, но передумал, охотно отдаваясь летней сонной тишине и освобождаясь от тоскливой растерянности. Ночь умирала, едва успев народиться. Еще на стене дома лежал серый отблеск мгновенно скользнувшего сумрака, еще в углах заулка таились холодные зеленые тени, еще половицы мостков казались белесыми от легкой ночной росы, а в подугорье по всему лугу от самой реки косо наплыл тусклый латунный свет, предвестник солнца, и в набухшей, прогнувшейся к берегам черной воде ручья уже рождались желтые длинные косицы.

И может, земля, остывшая под утро, шелохнула отсыревший ночной воздух, может, подслушанная тишина всколыхнула в Гелиной душе что-то давнее и полузабытое, из самого детства, но только он вдруг зябко вздрогнул и, низко уронив голову к костлявым коленям и растирая шероховатую кожу, увидел себя еще в том счастливом возрасте, когда все кажется вечным...

Вот средь ночи раздался басовитый бряк в стену под самым угловым окном — это Шурка Панин звал Гелю на рыбалку. Шум спросонья показался неожиданным и тревожным, и мать испуганно и нервно вскинулась на кровати, плохо соображая, что к чему, и долго смотрела в белое ночное окно, отвернув краешек занавески, потом облегченно обмякла всем телом и заворчала: «Леший тебя поносит. И не лень тебе каждую ночь брести, эка неволя была, как каторжный, толком и не поспит.

Закатав штанины, они с Шуркой спешили росным лугом к реке, белые зонтики корянок зябко хлестали по икрам, босые ступни, задубевшие от воды и грязи, поначалу ледяно обжигала глинистая тропа, и Геля старался шлепать ногами плотнее. И где-то на полпути к реке вдруг пропадало ощущение холода, становилось жарко и невообразимо весело, и душу баламутил щенячий восторг от полной свободы...

Наживив крючки красными червяками, ложились у костра, ожидая приливную воду, пили крутой чай, от которого сводило язык, до зеленой тошноты курили тонкие дешевые папироски и, воображая себя бог знает кем, о чем-то блаженно судачили, подставив веснушчатые лица неистовому солнцу. Да, это была действительно ничем не омраченная свобода, сладкое ощуще-

ние которой будет помниться долго, до самой последней черты и, кажется, даже после нее...

В те дни, да и много позднее Геля просто жил, не думая о жизни, и был счастлив: все в его одномерном восприятии было бесконечной цепью ощущений, и когда горести порой настигали его, то не оглушали, не оставляли в смятении душу, а только слегка тревожили и вскоре тонули в равномерном течении жизни. Они, видно, оседали где-то на самом дне души, а самому Геле для полного счастья вполне хватало глотка воздуха, куска хлеба, доброго слова и поцелуя украдкой.

...Он тогда только что пришел на завод, и работа была для него наполнена ощущением новизны и казалась счастьем. Он не задумывался, как долго будет длиться это счастье, и полагал, что оно бесконечно, как бесконечна впереди его жизнь. Геля учился клепать цепи, не глядя на ручник, а сбитые пальцы стыдился показывать старым слесарям, как стыдятся девушки какого-нибудь телесного порока, но, странное дело, ушибы быстро проходили, а рваные царапины, покрытые маслом, грязью и обгорелой железной пылью, заживали на нем, как на собаке. Геля научился ходить по заводу, прислушиваясь к его многослойному шуму и вылавливая из массы звуковых потоков и ритмов неожиданный сбой, предательский всхлип машины, тонкий визг торцового станка, неровный лязг транспортеров, которые живым неводом опутали завод. Он ходил, как ходит весь технадзор лесопилок, слегка покачиваясь, в черном беретике на макушке, с прищуром в глазах, с постоянной готовностью к соленой шутке.

Геля научился сшивать ремни, бить кувалдой по зубилу сплеча, привык оставаться после смены, если требовала того нужда, и спать на куче ремней в углу слесарки в ночную смену, умел делать из обойм подшипников замечательные ножи... Порой после вечерней смены, когда белая ночь рождалась над поселком, было радостно возвращаться улицей, пахнущей росой и опилками. Он любил слегка хмельным от усталости, в мешковатом комбинезоне, с ножом в ножнах приходить этаким поселковым гусаром на танцплощадку и с ходу прихватывать в танец разбитную заводскую девчонку, и кружиться с нею в вальсе, чтобы от стоптанных, сгоревших в работе башмаков отскакивали стружки и ме-

таллические опилки, и вместе с запахом машинного масла с наслаждением втягивать тонкий аромат цветочных духов.

Тогда воскресный день казался бесконечным, и он с нетерпением ждал понедельника, чтобы снова войти в завод; тогда маленькие деньги казались большими, и он не знал, куда их девать, потому что с самого детства не видел больших денег и не умел их тратить...

Откуда было тогда знать Геле, что он жил еще в затянувшемся детстве? Но однажды он взял в руки карандаш, вдруг вспомнив, что еще в школе неплохо рисовал, и с блокнотом пошел в сосновые боры, полные пьяных запахов и больших пестрых птиц. Он внезапно с каким-то новым чувством вгляделся в природу: в эту путаницу рыжих муравьев, в трепет тонких лесных трав, в истекающую зноем сосну со звонкой вершиной в поднебесьи, похожей на кудрявого барашка, — и тут увидел себя как бы со стороны, неказистого и веснушчатого, с русой россыпью волос и тонкими узкими ладонями, и почему-то впервые затосковал. Геля знал до этого лишь один мир — мир завода, который его покорил, наполнил новыми звуками и запахами, чувствами и голосами, незнаемыми в детстве; и в этой новизне ощущений как-то забылось детское восприятие природы. А тут оно всколыхнулось вновь, но с каким-то более обостренным нервным чувством.

Геля мог бы, наверное, со временем стать тонким ценителем машин, слесарем-золотником, как Савва Лочехин, найти свои неповторимые прелести в этой работе, но только однажды он услышал в себе новую способность и стал тяготиться заводом, раздвоился душой. Теперь он шел на работу, как на каторгу, он тянул принудиловку, отбывая часы, и все валилось из рук, прежняя песня отгорела в его душе, сменилась желчным раздражением, он стал видеть перед собой только усталые, апатичные лица людей, слышать надрывающий душу грохот лесопильных рам—этот многослойный шум, притупляющий, как ему казалось, сознание и убивающий мысли. Все чудилось, когда Геля проходил мимо, что именно сейчас выйдет из повиновения многотонная двухэтажная машина, сорвется с привязи, закусит удила, как взбешенный конь, и огромным, горячим от натужного вращения шатуном начнет крушить свою

темницу. И он спешил миновать цех, боясь его и ненавидя. Геля изгонял из себя завод, а завод изгонял его из себя.

Но, видно, уж так устроен человек: давно ли Геля Чудинов распрощался с заводом и полностью отдался живописи, а воспоминания о прежней работе, о том, как он начинал, наполнились свежестью и новизной чувств. Теперь с какой-то не испытанной ранее грустью представлялись: заводской поселок, покрытый белым пеплом росы, размытые в зыбком воздухе дома, еще пустынный, выхолодевший за ночь цех, полный запахов кисловатой воды, свежих опилок и машинного масла. Представлялось до ощутимой реальности, как руки наполняются потной мускульной силой, а ноги хмельной усталостью, как он, семнадцатилетний, набегавшись у машин — свой в доску, — сидит меж слесарей в облаках папиросного дыма, в галдеже, порой заглушаемом смехом, будто он опять среди невысказанных забот, которые не умирают в неоттаявших лицах и напряженных руках. Наверное, сейчас в Геле рождался художник, и он, чувствуя в себе это пробуждение, жил в эти дни растерянно и грустно...

*

* *

Геля машинально взглянул на больную ногу: ему показалось, что она распухла в лодыжке и укус налился багровым пламенем; и стоило только приглядеться к ранке, как длинная ноющая боль запалила ногу до самого колена, и Геля вроде бы услышал даже, как кипит и сворачивается внутри него дурная кровь. Черт побери, только этого еще не хватало!

За спиной гулко откачнулись и ударились в стену двери, зашлепали по полу босые ноги, что-то забренчало на столе. «И чего бродит, спала бы», — с раздражением подумал Геля и сам испугался этой острой навязчивой неприязни. Обычно с матерью они не ладили, он не мог переносить ее назидательного тона, ее постоянных нравоучений, из которых выходило, что во всех неприятностях ее виноват только Гелька, последний из шестерых. Тут он не выдерживал, начинал возражать, говорил, что нечего было и рожать столько, никто и не-

волил; мать громко кричала и топала ногами, потом падала на кровать ничком, долго плакала, в слезах повторяя, что они, дети, загубили ее жизнь. Геля не мог выносить слез, ему самому хотелось неистово кричать, бежать куда-нибудь, но он упорно сидел у окна, машинально считая часы, оставшиеся до отлета; потом подхватывал чемоданчик, думая, что пересидит на аэродроме, а мать кидалась следом, вставала в дверях и кричала в спину: «Можешь не приезжать, ни одного не надо!» Геля шел по угору и еще долго слышал этот неистовый больной крик: «Никого не надо!.. Никого!» Только он успевал возвратиться к себе в город, как следом приходила телеграмма, где мать просила Гелюшку не забывать родной дом и приезжать в отпуск. Так повторялось каждый год, и домой ему хотелось: забывались печальные ссоры, а помнились лишь доброта, усталые глаза матери, ее морщинистые руки, картофельные шаньги и парное молоко, которое она ставила в запечье специально для Гельки.

Он любил мать в воспоминаниях, но лишь приезжал домой на короткую побывку, как опять начинались ссоры по самому неожиданному пустяку: порой из-за неловко сказанного сыном слова мать могла не разговаривать с ним сутки и выгоняла Гелю из дому. И все же Геля не винил мать, он знал, что неудавшаяся жизнь сделала ее столь сварливой и неуживчивой, что гордость оставила ее в одиночестве, но в то же время он чувствовал, как ее раздражительность год за годом переливается в него, делая душу податливой и нервной. Он становился подобием матери, и это его угнетало, пугало, рождало неприязнь к ней.

Он слышал, как глухо захлопнулась дверь, потом заскрипела кровать, и Геля представил, как ложится мать к самой стенке, сиротливо свертываясь клубочком, порой длинно вздыхает, что-то громко и непонятно шепча, и неожиданно засыпает, всхрапывает и так же неожиданно просыпается, вглядываясь в сиреневые разводы на обоях. Вдруг вспомнилась давняя страшная сцена — это было вскорости после войны, когда Геля вернулся жить к матери.

Они тогда уже три дня ничего не ели. Мать работала на скотном дворе дояркой, но возвращалась с пустыми руками: она не прятала молоко в грелке, тая

ее под самой грудью, не совала бутылки в широкие голенища сапог, хотя другие и делали это. Нет, она не боялась попасться, хотя постоянно проверяли и некоторые за грелку молока сели в тюрьму — ей не позволяли гордость, совестливость и почти болезненная щепетильность... А они тогда уже три дня ничего не ели, даже картошка кончилась, которую они пекли в печи до бронзовой поджаристой корочки. Мать ночами не могла больше вышивать: у нее разболелись глаза до ломоты в висках; бабушка Маня, всегдашний и постоянный помощник, лежала в больнице — ей спасали глаз; и дедушка Спиря давненько не навещал, так что остались они сиротами под самую весну, когда снег еще только начинал пузыриться и сереть под солнцем.

В тот вечер мать не выдержала. Она рано легла в кровать, плакала тихо, чтобы не испугать детей, но все лежали молча, и никто не спал, прислушиваясь к стонам. А средь ночи мать почему-то стала обходить всех и целовать, сторожко касаясь губами. Гелю она тоже поцеловала в лоб холодными губами, он от неожиданности даже вздрогнул, открыл виновато глаза, но поймал лишь сутулую материну спину в длинной полотняной рубахе. Потом мать выходила в сени, опять вернулась, и Гелька увидел, как дрожливыми руками она взяла петлю, пробуя ее ладонью, но только он никак не мог понять, зачем ей средь ночи понадобилась веревка. А мать опустилась на пол, прижимаясь к спинке кровати, оправила рубаху вокруг колен, просунула голову в петлю и, затягивая ее на шее левой рукой, стала вяло опадать набок. Но тут тонко закричала старшая сестренка и, волоча одеяло за собою, побежала к матери. Она силилась приподнять ее тяжелое тело, чтобы ослабить веревку, и с натугой в горле кричала:

— Мама, а мы-то куда?...

Потом мать, поглаживая затылок, еще долго сидела на полу, потерянно качала головой и все повторяла монотонным слабым голосом:

— Ой, доченька, зачем ты это сделала? Одним бы вам легче было. В детдоме хорошо кормят. В детдоме чистые простынки и каждую осень новые ботинки дают.

— Мама, а мы-то куда? Мамушка!.. — Сонька то-

ненько завыла, по-щенячьи затыкалась лбом в материно плечо, потом целовала ее в щеки, глаза. Тут мать не сдержалась, что-то словно рванулось и лопнуло у нее внутри, так неистово вскрикнула она «о-о-ой!», будто мужа заново схоронила, а сейчас ей в самую пору, пока не присыпали стылой землей крышку гроба, пока глухо бренчат о дерево мерзлые комья глины, тут и кинуться в могилу самой. Она еще раз крикнула «о-о-ой!», знать, пекло невыразимо душу. А слез не было, чтобы освободиться от лютой каменной горечи, потому она рубаху на груди полоснула, совсем растелешилась, катаясь по полу, пока-то слезы родились и полились не смолкая... И только под самое утро притихла, не в силах уж встать, так на полу и уснула. Чтобы свет не бил в глаза, укрыла Сонька мать простыней прямо с головой, как покрывают мертвых, и Гелька бессонно сидел рядом, часто отгибая уголок простыни и касаясь ртом материнских губ, чтобы знать, дышит ли она...

* * *

«Так почему же человеку дана такая короткая жизнь и так много в ней горя? Неужели из беды да в беду — вот и вся жизнь?» — с тоской подумал Геля, машинально отбиваясь от гнуса, потому что уже утро народилось, встало парное солнце, стена дома накалилась и стала отдавать зноем, радуя черных назойливых мух. Нет, Геля не свое горе считал — оно жило в дальних тайниках памяти, еще не подвластное учету, —сам того не ведая, а может, смутно понимая и боясь, он вспоминал материну жизнь, а вместе с нею невольно заново узнавал и свою, чтобы отныне не забывать ее. Почему так случилось с материной судьбой, что, когда люди шли от горечи к радости, мать жила от горечи к горечи? Ведь где-то были истоки этих постоянных несчастий, и он силился найти их, обращаясь заново к детству.

В углу заулка у неподатливых сучкастых чураков, развалить которые у матери, наверное, не хватало сил, стояли зачернелые санки с обгрызенными копыльями и лохматыми березовыми обвязками по передку. Полозья почернели и ссохлись, раздались в стороны, и самые

торцы их тронул зеленый лишай; они уже давно не нужны, эти чунки, и, может, только мать прижаливает их, или руки у нее не доходят, чтобы развалить на дрова, вот они и сутулятся, мокнут под дождем, поставленные на дыбки.

Когда-то с дровами было туго и слезно, на них убивали последние силы, и Гелька с матерью таскались за дровами в дальний лес, до которого шли километра три, а потом надо было забираться вглубь, по пояс утопая в январском снегу. Без мужика в доме топоры были иступлены, и мать тюкала в деревину через силу, часто ругаясь, проклиная бога, и глаза ее были жестокими в ледяной занавеси обмерзших ресниц. Она валила дерево по-бабьи, нагнувшись напряженно к березе, часто поправляла осыпанный снегом плат, а топор то и дело выскальзывал из обледеневших рукавиц, тонул в снегу, оставляя за собой только сизую глубокую норку. Мать вздыхала, отыскивала топор, потом долго терла щербатое лезвие, тоскливо оглядывалась на холодный застывший лес, на бесконечное мелькание мрачных деревьев, уплывающих в калтусину*.

Дрова были сырые и непокладистые, и Гелька волочил их через силу, отступая спиной к чункам, он часто оступался и падал.

Потом они наваливали каменные корявые деревины, которые никак не хотели умещаться на чунках, перевязывали хрустящей веревкой, впрягались в петли, обминая их на плече, чтобы не так резало, всею тяжестью опадали вперед и долго топтались на месте, оскальзываясь в снегу. Мать сердилась, со злости пинала корявые дрова, больно ушибая ногу, и начинала причитать и раскачивать чунку, чтобы оторвать примерзшие полозья. И когда, надсаживаясь и хукая всей грудью, они наконец выползали на твердую дорогу и за ними тянулась глубокая снежная траншея, это было как бы маленьким праздником, мать даже улыбалась, забывала на миг о своем вдовьем горе, прижимала Гельку к себе и что-то говорила ласковое и непонятное простуженными губами. А Гельке было до того хорошо — ведь для него это была пусть и тяжелая, но пока еще игра, — до того хорошо, что он даже распахивал паль-

---

* Калтусина — низкое место, поросшее кустарником.

тушку, чтобы выбить из нее пар и пот, но мать сразу начинала ворчать, и, боясь осердить ее, Гелька ластился и говорил по-мужичьи, широко расставляя ноги и строго глядя из-под обмерзших бровей:

— Ну пошли, што ли?

— Ой ты, работничек мой! Яичко ты воробьиное, конопатое.

— Я не яичко...

— Не-не, не яичко. Ты последышек мой. Ой, жив бы отец был, разве мы бы так нынче убивались? — сразу жалобилась мать.

— А мы не хуже других живем. Нам пенсия за папу идет.

— Да как не хуже-то... Мне вот тридцать годочков, я бы еще пожить хотела, а вас шестеро. Ой, дура я, дура, зачем на нищету вас плодила только! А все он, все он: хочу, говорит, много детей. А сам и с войны не пришел.

— Он ведь погиб, мама. Ты за что его ругаешь?

— А знатье такое дело, так нечего было детей иметь.

— Мама, папа-то насовсем погиб, ты чего это?

— А мне-то заживо подыхать? Не могу я, до ручки дошла, все во мне болит.

— Мама, пойдем, — жалобно упрашивал Гелька, боясь нарождающегося внезапного гнева. — Мы тебя, мамушка, всегда слушаться будем. Ну не надо, мама.— Гелька пытался с разбегу, насколько позволяла его веревка, стронуть санки, но они откидывали его назад, а он снова разбегался сердито и опять отступал, повторяя: «Ну, мама, пойдем».

Мать нерешительно еще топталась, раскачивалась, чтобы оторвать полозья, потом сани трогались, сразу становилось потно и надсадно, все проваливалось куда-то, кроме скользкого обмылка дороги. И только слышно было Гельке, как, напрягаясь, кряхтели копылья саней, словно маленькие живые человечки под тяжкими от мерзлой воды деревами, да жестяно хрустела мамина юбка и каменно погромыхивали подошвы по ледяной дороге...

И опять почему-то Геле стало жалко не себя, а мать. Он снова вспомнил ее, маленькую и сухонькую, с багровыми запястьями рук, с раздавленными пальцами,

постоянно больными от коровьих сосков, с серыми печальными глазами на скуластом лице и маленькими суровыми губами, которые забыли вкус поцелуя. Он вспомнил вдруг без всякой на то причины, как мать встречала праздники, как готовилась к ним с восторгом невесты: перешивала застиранное платьишко, что-то кроила-выкраивала, сочиняя на ходу, уже забыв, как выглядит она без кирзовых сапог и постоянной холщовой юбки, тонко пахнущей навозом и свернувшимся молоком.

А перед праздником мать всякий раз как бы просыпалась: вдруг вспоминала, что она еще совсем молодая женщина, что у нее красивая грудь, которую не иссушили даже шестеро погодков, и покатые полные плечи. И примеряя комбинированное платье перед крохотным зеркальцем в дешевенькой картонной оправе, она как-то грустно и боязливо гладила плечи и длинную шею с первыми неясными морщинками. А Сонька-то, Сонька! Тоже кружилась рядом, и все трогала мать со спины с видом просыпающейся женщины, и быстро целовала в щеку или просто ласкалась, непрестанно повторяя: «Мама, какая ты у нас красавица!» А сопливые погодки сидели на табуретках покорно и тихо, чтобы не испортить маме предпраздничного настроения. Потом мать садилась к столу, калила над керосинкой большой гвоздь, зажимая его прищепкой для белья, и, делая круглые боязливые глаза, накручивала тонкий волос на горячее железо. По комнате струился острый запах горелых волос, а мать как-то быстро становилась чужой, недоступной и очень красивой... Потом она уходила на торжественный вечер в городской клуб, но возвращалась всегда рано, даже не досмотрев концерта, строгая и грустная, с покрасневшими глазами.

Перед сном пили праздничный чай с крупяными шаньгами и ложились спать кто на кровать, единственную в комнате, кто прямо на пол, на яркие полосатые тюфяки, сбитые вместе; а мать еще долго сидела у окна, не сводя глаз с улицы, словно ожидая, что сейчас вдруг послышатся знакомые Андрюшины шаги. Ведь он наверняка не погиб, это только написали, что погиб, а намучился в плену по всяким лагерям и сейчас направляется домой молчком, чтобы обрадовать и увидеть ее. И она уже так явственно видела мужа, что

начинала быстро всхлипывать, и будто даже целовать его длинное костлявое лицо, и широкие губы, и всего-всего, и, отрываясь на мгновение, оглядывать его слепыми от слез глазами, и по-доброму ругать, почему не известил да не подал давножданной весточки. А потом неожиданно вздрагивала и понимала, что спит, привалившись к окну и все ей только чудится, и тогда у матери начинала глухо болеть душа, до утра не давая покоя и сна.

...От воспоминаний Гелю освободил дядя Кроня. Он вышел на крыльцо весь смутный и помятый, с серым припухшим лицом, на правой щеке отпечатался красный рубчик — след подушки.

— Как там мать-то? — спросил Геля, оглянувшись и останавливая невольный взгляд на сухой дядиной груди, где под соском в глубокой неровной вмятине сидел рыжий паук и пил кровь.

— Мати-то ваша мученица. Хоть бы вы-то еще не изводили ее...

Потом они долго молчали, обласканные утренним солнцем, — наверное, было часов около пяти.

Дядя Кроне надоело стоять, и он закряхтел, умащиваясь подле Гели, потом достал «северинку», обколотил ее о донце пачки и, сказав по обыкновению: «А теперь закусим табачком», прикурил, не заминая зубами папироску.

— Хоть бы один подле ее пожил. Все легше бы ей,— неожиданно сказал дядя Кроня.

— Заест, — откликнулся Геля.

— Характер не сахар, — согласился дядя. — Но опять же житуха-то какая была — тюх-тюлюх. Вас шестерых надо было на ноги поднять, а велика ли пензия-то за отца, да и сама зарплаты не получала: много ли тогда на трудодень в колхозе давали — шиши одни.

— Я все понимаю, дядя Кроня, и домой меня тянет. Порой мóчи нет, как тянет. А приеду вот— и ужиться не могу. Такой уж я урод.

— Ну раз так — молчу-молчу... Не вовремя ты, Геласий Андреевич, в отпуск наехал, — свернул дядя Кроня разговор, боясь ненароком обидеть племянника.

— Не Геласий Андреевич, не-не, — смущенно отмахнулся Геля. — Какой я вам Геласий Андреевич? Скажете тоже, дядя Кроня.

— Ну, ладно-ладно... Я говорю, не вовремя в отпуск-то явился. Чуток бы поране, под весну. Опять бы на охоту сбродили. Я тут ныне дивно пострелял, отвел душеньку. Причастился, значит, тюх-тюлюх. Не было бы семьи, предположим, ушел бы в охотники и не знал бы этой нервотрепки. Я тут боле совсем жизни лишился на этой руководящей работе.

— Характер нужен, конечно. Я ружье свое собираюсь купить...

— Я спать-то разучился. Добры-ти люди под утро самые сны разглядывают, а меня все будто какой часовой выкликивает.

— А меня утром палкой не подымешь. В глаза хоть спички ставь,—тянул свое Геля.—Я говорю, ружье вот хочу купить. Правда, ребята отговаривают: «Куда, — говорят, — тебе с ружьем, на ходу ведь спишь. Застрелишься еще». Рассеянный я.

— Ничего, на охоте приобыкнешь. Я и сам неоднове стрелялся. Суком дергнешь за спусковой крючок — под ухом как речкнет, так и охолонешь весь. Прости ты, осподи, думаешь, страсть-то какая! Вот смерть-то где пролетела. А потом опять ничего. Нынче я дивно пострелял. У меня озерцо есть — отыскал на лыве, так неделю домой не являлся. Отдох взял. Первый раз за десять лет отдох взял, а мне строгача по партийной линии сунули, хотели и с работы поперепь, в рядовые переставить, тюх-тюлюх. А я, наверное, шибко обрадовался, они и заметили, что я обрадовался, и оставили, говорят — работой оправдайся.

— Они это могут. У них не заржавеет... А я ружье нынче куплю, — сказал Геля и вдруг подумал: «А понадобится ли оно?..»

— Но опять же я на свой колхоз двадцать лет положил. Достанется какому ли тюхе. Обидно ведь будет, — вязал свою мысль дядя Кроня. — А иначе бы подался в охотники.

— Да из вас охотник...

— А что, скажешь, не охотник, да? Я в прошлом годе пять глухарей за один подход взял. Таких штучек достал — едва из лесу приволок.

— Да из вас охотник, дядя Кроня, как из моего пальца... револьвер, — шутливо задорил Геля, как-то слабея и светлея душой, и уже радостное возбуждение пе-

реполняло его, и тут подумалось, что нынче же надо махнуть подугорьем в калтусины, поросшие пахучей падреницей, потом босиком пробежаться по глинистой, всегда влажной тропке, выбитой коровами, и на луг, а оттуда — на реку, к приглубым местам, где прежде сиживал с удочкой.

— Теперь-то хоть что наговорить можно, — не отступался Геля, привставая со ступешки и вглядываясь в облитый желтым утренним светом луг, в белое лезвие ручья, обметанного лопухами, в каменистые заречные берега, словно облитые засохшей кровью, с белой песчаной кромкой вдоль воды.

А дядя Кроня егозил по ступешке и все подступал к племяннику.

— Может, ты про тот раз имеешь в виду? Дак у меня тогда ружье неприцельное было.

— С кривым стволом, что ли? — отвлекся Геля от мыслей.

— Сам ты десять лет не умывался...

*

*   *

А ту охоту Геле не забыть, потому что он тогда обостренно чувствовал и желал все понять. Он приехал в отпуск в Снопу весной, когда еще вечера выстывали до хруста и от талых вод, расплывшихся по ржавой прошлогодней траве, несло снегом и свежими огурцами. Геля тогда впервые услышал этот запах и сказал о нем дяде Кроне, а тот шикнул через плечо и крадучись шагнул в снежную плешину.

Вечерело. Прошлогодняя трава на полянах лежала спутанная и неживая, и меж вялых стеблей рождались крохотные роднички, которые копились в небольших лягах прозрачными озерцами, и на дне их видна была каждая травинка, каждая трещинка и морщинка на подтаявшей земле, и след, еще осенний, сохранился с мельчайшей и непостижимой отчетливостью, даже отпечатались рубчики резиновых подошв. От земли несло свежестью, как от только что помытых полов, дальняя кромка полей туманилась и скрадывалась в текучих ивняках, над которыми как бы вспыхивали желтые облака света, а снизу уж рождались ранние сумраки, и

потому казалось, что в кустарниках во множестве таятся легкие на ногу зайцы.

Но ивняки встречали пустой прохладой и хлесткими запутанными ветками; дядя Кроня миновал их быстро, он шел, накренившись вперед и раздвигая кусты руками, сапоги его хрумкали подсушенным настом, шум казался оглушительным и предательским, тогда дядя Кроня пугливо оборачивался и прикладывал палец к губам, а потом шелестяще шептал: «Тихо ты!» — и снова шел медвежьим шагом, таким необычным для его коротконогого тела. И Геля незаметно отстал, ему дышалось легко и сладостно до головокружения, было жарко, и он снял зимнюю шапку, сунул ее в ватник; ноги проваливались в прикипелом хрустящем снегу и оскальзывались в оттаявших ручьевинах.

Геля шел, цепляясь за холодные ивняки, за тонкие шероховатые сосенки, которые студили пальцы, и видел лишь серый вылинявший снег, усыпанный рыжей хвоей, толстые голубые листы брусничника и рубчатые вмятины от дядиных сапог, которые быстро захлестывала прозрачная снеговая вода. Геля много раз бывал в лесах ранее, но только сегодня будто что-то стронулось в его душе, в ней зазвучала какая-то иная музыка, и он как бы прозрел, хотя вроде бы и никогда не был слепым, и заметил вдруг, как отсвечивают хвоинки на дне крохотной лесной лужицы, как столбиками вытаивают старые заячьи следы, как выметывают ели липкие молодые лапки. Душа его неожиданно открылась природе, но еще не знал тогда Геля, что, обретя дар чувствовать обнаженной душой, он заплатил за это покоем.

Они быстро миновали борки, будто охотовед гнался следом, и застыли на склоне, затаились в осиннике перед лесной поляной, куда, наверное, каждую ночь выбегают баловать зайцы: даже с тридцати шагов была видна сроненная осина, подчищенная заячьими зубами до белого скользкого блеска. Где-то высоко над головой в сером выстывшем небе летала кругами пестрая решительная птица и нетерпеливо кричала: «Ули-ули, ули-ули!» Ее голос был тонок и нежен, он отдавался эхом в быстро тускнеющем небе и в сквозном раздетом осиннике. Это бекас, лесной барашек, томился и искал подругу. Голос его был налит такой неистребимой страстью, он лился на таких высоких весенних но-

тах и был так чист, и прозрачен, и тоскующе зазывен, что в каждом сердце, которое слышало его сейчас, пробуждал легкую грусть и желание полюбить снова.

Тут, будто детский белый ноготок, овеянный легким серебристым дымом, протаял месяц и разбудил недолгие сумерки, проявил купола деревьев.

— Господи, как хорошо-то! — вдруг сказал дядя Кроня, и Геля удивился торжественности его голоса. Сам он сидел на трухлявом обтаявшем дереве и, зажмурив глаза, сквозь дрожащие ресницы смотрел на детский ноготок луны, на жидкое озерцо света вокруг нее и на черный силуэт тоскующей птицы, которая перечеркивала это озерцо наискосок. Где-то далеко над полями кричал длиннокрылый медленный чибис: «Чьи-вы, чьи-вы!» В низине ручья вскинулась утка, и разгонистый свист ее крыл просквозил воздух; чуть далее, уже в деревне, мыкнула корова, прислушиваясь к тишине, и еще дальше женский голос вопил: «Петь-ка-а, по-ди домой!» И хотя звуки разносились по-весеннему далеко и долго, их всех заглушало неистовое жаркое улюлюканье бекаса.

Где-то в темном ельнике завозился рябчик, пипикнул едва слышно, словно и его пробудил сладострастный голос лесного барашка, отыскивающего подругу, и вдруг выпорхнул на березовую ветвь, весь облитый тихим лунным светом. Дядя Кроня пальнул навскидку, не целясь, да и что было целиться, если птица сидела возле. Дробь просвистела около Гелиного уха, и рябчик свалился в прошлогодние листья, еще не успевшие просохнуть, влажные и черные; он всхлопал крылом и будто утонул в воде—так сразу и затих намертво, склонив маленькую головку к плечу.

— Подними, — попросил дядя Кроня, почему-то отворачивая лицо и выбрасывая из ствола дымящуюся гильзу. Геля послушно поднял птицу, робея и сутулясь; ему казалось, что сейчас свершится какая-то высшая кара, он держал в ладони легкое тельце и сквозь шелковистое опушье чувствовал уходящее жидкое тепло. Ему вдруг стало страшно чего-то, словно в детстве он не откручивал куропаткам головы, когда птицы попадали в силья. Геля стоял перед дядей Кроней с вытянутой рукой, и горячая кровь студенисто копилась в ладони.

— Куда ее? — растерянно спросил Геля, совсем не обрадованный трофеем, а дядя Кроня несколько виновато сказал:

— Экий ты... — и взял птицу и не глядя сунул ее в карман фуфайки. — С добычей тебя, — еще добавил он, вглядываясь в Гелино лицо белыми, будто эмалевыми глазами, но парень почему-то уводил свой взгляд, и дядя снова повторил, виноватясь: — Ну трахнули одного, эко диво...

Страсть неистовой любви и страсть мгновенной узаконенной жестокости на мгновение столкнулись, и одна страсть зачеркнула другую — так было и будет всегда, пока жива природа. И Геля понимал, что тут нет ничего странного: ведь и он сам охотился на птицу, и когда вынимал ее из силков, трепещущую, с неистовым сердцем, и ощущал живое тепло жестокими пальцами, в душе его не было раскаяния, а жило что-то похожее на торжество и опьяняющее веселье. А нынче ничего подобного в себе Геля не услышал, была только печальная грусть, смешанная с мгновенным отвращением.

А ночь уже переломлялась в утро, луна стала круглой и оранжевой. Ноги и голова налились тягучей усталостью, а душа — желчью, Геле хотелось в деревню, в избу, в сонные сумерки — упасть на кровать и забыться. Но дядя Кроня не терял надежды подстеречь зайца в обход всяких законов. Осиновой рощей он спустился по опавшим листьям к реке, которая набухла, тоже налилась весенней страстью и билась в глинистые берега. Порой глухо в стремительные струи скатывались оползни, и тогда из полузатопленных ивовых кустов вскидывались кулики и стригли воздух над самой водой. Дядя Кроня замирал и провожал птиц запоздалым взглядом. Геле издалека было видно, как нервно он вскидывал ружье, а потом озирался вокруг, до рези в глазах высматривая зайцев. А они чудились везде, в каждой плешине снега, которая еще не оплыла на травы водой, а цеплялась за ветки ивняка.

Они, наверное, увидели зайца одновременно, потому что как-то сразу оба опустились на корточки, и Геля мгновенно забыл об охотничьих порядках, о недавних мыслях и чувствах, а только услышал, как душу заполняет восторг, от которого трудно дышать. И хотя Геля

был без ружья, он тоже пополз за дядей Кроней, не чуя, как намокает фуфайка, а стылая земля ранит ладони; ему было жарко, и кровь шумно толклась в голове. Геля настиг дядю, когда тот уже выцеливал зайца. Зверь сидел на той стороне речки спиной к охотникам и скоблил осину. На светлой от инея траве он казался громадным, видно было, как чутко ходили его уши, потом заяц встал столбиком и повел вбок головой, высматривая опасность. Дядя Кроня выстрелил, заяц сделал прыжок по склону, но дальше не побежал, а присел, смешно топырясь. У дяди заело гильзу, и, раздавливая ногти, он стал выдирать ее из патронника, не сводя взгляда со зверька. А тот словно бы и не собирался убегать, а может, был контужен иль ранен тяжко, потому что в колеблющихся мутных сумерках видно было, как качался и дрожал он. Дядю Кроню трясло, будто в лихорадке, он все-таки зубами достал гильзу и дослал новый патрон, а на белую от инея траву скатывались круглые капли крови. После нового выстрела заяц опять не убежал, и дядя зашептал Геле с придыхом и клокотаньем в больной груди:

— Вон видишь, он контужен дак. Поближе бы, поближе, тюх-тюлюх...

— Дай мне пальнуть, дай мне-то! — уже с отчаянием и растаявшей надеждой попросил Геля, и дядя с неохотой выпустил ружье, не отрываясь от зайца и обласкивая его нетерпеливым взглядом. А Геля подумал вдруг, что до зверя далеконько и дробь его не возьмет, и решил скатиться вниз, к урезу речки, но только шевельнул локтем, как дядя с отчаянной яростью выхватил ружье.

— Ты чего это? Давай сюда!

И тут к Геле вернулось прежнее чувство усталости, грусти и некоторого страха. Он уже не смотрел на дядю Кроню, а взглядом подгонял зайца: «Чудушко ты этакий. Ну беги же, чего не видал у реки, беги, лес-то рядом, там найдешь еще не одну осинку лакомее этой, обгрызенной, уже подсохшей от ветров и заморозков». И заяц словно услыхал Гелю и послушно запрыгал, медленно подбирая задние лапы под живот... И когда он исчез в сквозной осиновой роще, растворившись в сумерках, Геля почувствовал, как тяжко-студлива весенняя земля, как напитана она водой, а невыносимый

холод пробил все одежды, и, кажется, достал до самых печенок.

Поднимаясь, он вспомнил, что у дяди Крони плохо с грудью, и, наклонившись, стал тормошить его за плечо, но тот не оборачивался, долго не вставал и все вглядывался в смутный лес, изредка выдирая из глаз слезинки. Он ждал, что зверек вот-вот вернется обратно, и все повторял: «Он тяжело ранен. Он скокнул в кусты и сейчас лежит там. Достало его. Нет, ты видел, как достало его?»

Дядю бил озноб, он еще не мог перевести дыхания, вытирал о фуфайку окровавленную руку; потом, словно забыв о племяннике, вскочил и быстро пошел берегом, и Геля невольно поспешил следом, уже досадуя и не понимая такой горячечной страсти.

Речку они огибали долго, наверное, часа два, пока не наткнулись на переправу, потом долго возвращались противоположным берегом, и дядя Кроня все повторял приглушенно, тая голос: «Вот увидишь. Он там в кустышке и лежит».

Потом они шарили в траве и на опушке осиновой рощи и даже спустились к илистому озерку, обошли его по мрачному ельнику, но зайца не нашли, и дядя скучнел все больше и с Гелей не заговаривал. А когда уже на рассвете возвращались к дому, он шел впереди, молчаливый и сутулый, с обвисшими плечами под намокшей, рыжей от грязи фуфайкой, не замечая, как с весенним, мало похожим на кряк хорканьем взлетали над речкой селезни и, делая круг над деревней и лесом, падали обратно в воду, словно заманивая охотника. Ничего уже дядю Кроню не веселило...

И вот прошли годы, грусть от этой охоты забылась, но осталось чувство большой, не испытанной ранее новой радости: все помнился серпик луны, похожий на белый детский ноготок, рыжие хвоинки на дне прозрачной лужицы, зеленые пупочки побегов на тяжелых еловых гребнях, хрупкая томительная тишина и волнующий тонкий запах снега, прелых листьев и весенней воды.

7

На задах пружинно всхлипнула калитка, потом по мосткам зачмокали просторные калоши, ненадолго замолкли, пошаркивая о половицы и устраиваясь удобнее; что-то пролилось в утреннюю волглую траву и на стенку; потом снова раздельно захлюпали калоши, и вот показался дядя Федя Понтонер, нахохленный маленький воробей в большом ватном колпаке. Он миновал крыльцо, никого не замечая, колупая ногтем сточенное лезвие топора, о чем-то хмыкая и вздыхая, но по напряженной спине, по вздернутым плечам чувствовалось, что он знает, кто за ним наблюдает. Дядя Кроня, еще расстроенный Гелиными пересмешками, вдруг не сдержался и сказал в напряженную сухонькую спину свояка:

— Странно предположить, тюх-тюлюх. Мы в деревне от безлюдья в буквальном смысле разрываемся на части, а тут целый город дрыхнет, и ведь всех их прокормить надо. Тьфу! Давно ли из деревни вылезли, а тоже из себя корчат отдельную республику. Коноеды.

Последние слова были отправлены, наверное, в адрес Феди Понтонера, он их расслышал и словно бы споткнулся сразу и замер, понимая, что дальше идти безразличным и слепым просто глупо, а потому он обернулся, втюкнул топор в седую половицу, приложил ладонь козырьком к ватному колпаку и сказал, делая наивную растерянную мину:

— Ах, и вы тут? Миндальничаете, значит, под сенью ласкового эфира и размышляете о смысле нашей многогранной жизни?

Острые, как усы, брови вздрогнули на мелконьком лбу, и в гнедых, близко поставленных глазах мелькнула мгновенная насмешка. Дядя Федя тоже присел на ступешку пониже Гели, и от его стеганого трехрядного жилета пахнуло терпким настоявшимся запахом пота и навоза. Геля невольно всмотрелся в дядю и удивился сухости его лица: на широких плоских скулах натуго распялена шафранная кожа, она отдавала мягким влажноватым блеском, как круто сваренное яйцо, и только над чуть косящими глазами отпечаталась мелкая сеточка морщин, да тонкая шея под косичками белых волос была прорисована частыми неровными тре-

щинками, будто кто колол ее острым кончиком ножа. Дядя Федя присел на самый край ступешки, словно готовый сорваться в любую минуту, на свояка он не глядел и все отворачивал сухонькое острое лицо к стене и толстым раздавленным ногтем скоблил гнилое позеленевшее дерево, покрытое глубокими трещинами, откуда сыпался коричневый порох. Дядя Кроня притулился у ободверины и было замолкнувший от неожиданного и непонятного стеснения вдруг повторил прежние слова с настырной злостью, уже ненавидя узкую спину в трехрядном жилете, и засаленный колпак с рыжими проплешинами, и этот толстый раздавленный ноготь, из-под которого сыпался коричневый прах.

— Я говорю, тунеядцев кормим. Пять тысяч жителей в Слободе вашей, а производства-то — одна гробовая мастерская. А все каки-то деньги загребают, пора-то большие деньги, тюх-тюлюх. Откуда деньги-то?

— Мура это, — нехотя откликнулся Федор Понтонер, чувствуя, как этими словами Кронька пытается уколоть его. «И чего он на меня смотрит, как волк на бердану? Будто я у него чего занял и не отдал, — размышлял он, нехотя вслушиваясь в глуховатый Кронин голос. — И неужели он тогда видел? Ну и сказал бы, чего зубы точить. Люди ведь...»

— Раньше слободские мещане плохо-плохо, да сами себя кормили: рыбу промышляли, в каждом дворе скот стоял...

— А ныне все из магазина тянут, — перебил Геля дядю Кроню.

— Ныне во своем-то двору ничего путного не держат, кроме кошки. Тут, Гелюшка, ты правильно подметил, недаром в больших городах живешь. Много видишь... Из магазина тянут, и в Слободе производства никакого. А сколько таких Слобод по России-то матушке — дак тысячи! — сам удивился этому количеству дядя Кроня, привыкший произносить «тысяча» с уважением и некоторой робостью. — И всех прокормить надо. Ты слышишь, Гелюшка, всех. Разогнать к едреней фене по деревням! Тюх-тюлюх.

— Мещанство...

— Чего-о?

— Мещанство, говорю, разводите. Необразованность свою выказываете, вот что, — откликнулся Понтонер,

тайно продолжая мысль: «Тридцать лет миновало. Но если бы видел, давно бы с грязью смешал, зараза. И я тоже хорош — без вины вину строю, заболел, что ли? Еще чего ли на себя навыдумываю».

— Мы-то с тринадцати годков в работе. Мы на сплаве да в леси учебу проходили. Во где у нас учеба, — почему-то волнуясь, постучал дядя Кроня себя по загривку.

— Тогда и помолчите. Языком-то мелете через свою необразованность, а сами не знаете, чего мелете. Только людей в обман вводите. Чего люди могут подумать через ваш язык?

— А ты откуда такой выискался? Ну-ко, дай поглядеть... Ему и не укажи. Простите, пожалуйста, Федор Максимович, за оскорбление.

— «Прости, прости»... Сначала наговорите черт знает что, а после и «прости». Мне про себя не докладывать, про меня люди скажут, — отмякая голосом, впервые обернулся Федор Понтонер, всмотрелся в свояка, в его посеревшее от неожиданной обиды лицо, в потрескавшиеся оплывшие губы, в коричневую рваную метину под правым соском и снова подумал: «Зараза, зачем приехал? Душу мою травить? А я ничего не помню, и ничего не было, понял? И не подох ведь...»

— Свинаря как не знать, — загораясь непонятной ответной злобой, сказал дядя Кроня, еще не признаваясь себе, что безотчетно ненавидит Федьку Понтонера, может, и за тот детский случай, когда отец выпорол безвинно, но это было давно, забылось уже; а может, за бедования сестры Лизки, но тут и он, Кроня Солдатов, промашку дал, оставил сеструху без пригляда; иль за этот навязчивый липкий взгляд, которым Понтонер вроде бы что-то хочет выпытать, о чем Кроня и не ведает... Но одно он знал точно, что Федькина рожа ему определенно не нравится, раздражает и постоянная ухмылка на морде: «Ишь, гад, еще и ухмыляется».

— Ну и гусь! — ошалело повторял Кроня Солдатов.

— Да, «гусь», но в плену не сидел и орден имею.

— Поди ты прочь-ту!.. У меня-то во где звездочка сидит, каждый день гудит да светит... Лучше расскажи, как ты выжил? — пришел в себя Кроня, потирая разнывшуюся грудь. — Жаль, что когда поп тебя крестил, дак не утопил. Тюх-тюлюх!

— И ты ничего не знаешь? — спросил Федор Понтонер, замирая душой.

— Не, а чего?

— Ну тогда и гуляй. Солнце высоко, — сказал по-мальчишески насмешливо Понтонер, облегченно отмякая душой, легко вскочил со ступешки, сухонький, похожий на подростка, взглянул в небо, присвистнул, сбил на затылок колпак, вскинул топор на плечо, и вышел на угор, и там затюкал по бревну, осыпая траву мелкой янтарной щепкой.

КАК ОН ВЫЖИЛ?

Федору Чудинову с войной повезло, в этом прилюдно признавался он: «Уцелел, в двадцать миллионов не попал — земля им пухом, героям; к смерти положенной сам иду неторопким шагом, дом есть — полная чаша, и умом не обижен. Чего еще желать, если не гневить судьбу?».

Но втайне Федор Чудинов часто размышлял и полагал, что с войной ему не особенно пофартило, а особенно тосковал он и раздражался, когда о полковниках читал иль генералах, сразу же дату их рождения отыскивал и со своею сравнивал, и тут каждый раз выходило, что и он, Федор Чудинов, мог быть тем самым генералом иль, на худой конец, полковником. И тогда он печалился еще больше, садился посреди горницы на табурет, ставил на костлявые колени громоздкий баян, обласкивал его холодные перламутровые шишечки и долго давил на одну нижнюю кнопку, вытаскивая из мехов писклявый занудный звук, под который думать и вспоминать было легко.

...Тогда от саперного батальона, который готовил прорыв, осталось в живых тринадцать человек (уж больно несчастливая цифра), а из них два понтонера: ефрейтор Степан Жвакин, по прозвищу Сеня Ножик, и рядовой Федя Чудинов, еще без всяких прозвищ, наград и чинов боец, ибо неделю назад он только прибыл в батальон и ничего заслужить не успел. Он даже войны не успел испугаться, потому что их самоходный понтон подбило на этой стороне в самом начале прорыва, и Степан Жвакин, и рядовой Федя Чудинов остались как

бы не у дел и без прямого начальства. Все понтоны спешили через реку Великую и обратно за новым живым грузом; одни добирались до огнедышащего берега, другие оставались на дне реки, — и еще неизвестно было, кому больше повезло.

А эти тринадцать человек, остатки саперного батальона, спасаясь от смерти, вырыли под уцелевшими штабелями бревен одну общую нору, зарылись в ней, как кроты, прижавшись друг к другу и еще плохо соображая, что к чему, потому как вне штабелей все перемешалось и перепуталось. Где-то шел бой, замирал и вспыхивал с новой силой, где-то кого-то окружали и убивали; а потом и те, кто ушел за Великую, и те, кто, выполнив очередную задачу, остались на этой стороне, — раненые и умирающие, телефонистки и санитары, кухни, обозы и прачечные — все вдруг попало в мешок. Немец переправился севернее деревни Бороухи и южнее ее завязал этот мешок огнем и смертью. Так было на самом деле, но этим тринадцати, предоставленным самим себе и своей совести, суть дела была неизвестна, и они просто зарылись под штабелем, пережидая бомбежку и заедая тревогу сухим пайком. Но обстрел не затих и к концу вторых суток, и третьих, со стороны Бороух и навстречу все летели снаряды, и эти штабеля оказались как бы на перекрестке воющих трасс, на ничейной полосе, и потому была прямая возможность погибнуть под бревнами даже от своего снаряда. А в этой узкой норе каким-то образом оказались два «животника» — их, наверное, приволок тот кашлюн санитар с давно не бритыми щеками; раненные в живот непрестанно стонали, просили пить, санитар смазывал им губы влажным бинтом, и в их сторону никто не смотрел, ибо все понимали, что «животникам» не жить, но эти стоны да еще разгорающийся голод раздражали и выводили людей из себя. Потом один из раненых затих, и от него пошел тяжелый запах...

Федя Чудинов не боялся смерти, потому что — как считал он — не мог умереть: не могли исчезнуть его длинные руки с узкими запястьями и вялыми голубыми венами под белой кожей, его сухие волосатые ноги с толстыми коленками, и впалый живот, и узкая грудь со здоровым сердцем внутри. Это могло случиться с кем-то другим, но ведь война на то и война — так рас-

суждал он. Федя лежал на плащпалатке, подложив под голову руки, сверху от взрывов сыпался песок и падали мелкие щепки, снизу землю как бы встряхивало и приподнимало, и от таких ударов екало в пустом животе. Федя сглатывал слюну, она была горькая и туго катилась в пересохшем горле. Он прислушался к себе и понял, что схватил ангину. «Боже мой, какая неприятность! Сейчас бы чаю горячего с малиной да пропотеть бы...» От домашних мыслей стало грустно, да еще этот «животник» тревожил: стонал непрестанно и кого-то звал. Федя сунул остаток сухаря в карман, ощутив ладонью его шершавое тепло. Он давно бы уже проглотил прокаленный огнем и хваченный плесенью кусок, но не было слюны во рту, чтобы размочить его, и к тому же Федя Чудинов этот сухарь берег, памятуя о будущем.

— Пожрать бы. Кишка на кишку с кулаками лезет, — сказал ефрейтор Степа Жвакин, невидимый в протухшей холодной темноте. — Тут не знаешь, от какой болезни и сдохнешь. У тебя есть чего пожрать?

— Не, — сказал Федя, и его рука в кармане завлажнела. Слышно было, как Жвакин ворочался, что-то с хрустом ломал, потом, царапая Чудинову щеку, протянул маленький осколок, пахнущий рожью и махрой.

— Завалялся. Ты соси, ты сразу не ешь. Тут тебе не у маменьки в гостях. Мама-то есть?.. Ну вот и ладно, — говорил Степа Жвакин будто маленькому, и Федя представлял, как смешно елозит его верхняя штопаная губа. — Ты соси, ты почмокивай — сытнее будет.

И Степа Жвакин, показывая, как нужно есть, противно зачавкал, сипло схватывая штопаными губами прогорклый воздух.

Федя послушно взял сухарь и сунул в карман, все так же бездумно всматриваясь в темноту и с тоской прислушиваясь к больному горлу.

— Сейчас бы сухарики сушить с солью да пиво варить... Сволочи! — сказал Степа Жвакин в адрес немцев. — Едри твою капусту! И пошто бы не жить? Сволочи, — еще добавил он, ворочаясь и толкая железным локтем Федину спину. — Эй, малец, потерпи! Дай бог, скоро все кончится! — крикнул он в темноту «животнику», который стонал все реже и реже, не приходя в сознание.

— Вот погину я, и никто от меня не родится. Значит,

фактически еще кто-то погинет. Правильно я говорю?— вдруг растерянно сказал Жвакин, наверное, впервые в жизни задумавшись над страшной логикой войны.

— А чего так-то? — вяло спросил Чудинов, проглатывая горький комок и ощущая в горле боль и спазмы.

— Как «чего»?..

— Холостяк разве?

— Да тут так понимать следует, что должность у меня была хмурая, што ли...

Степан Жвакин замолчал, опять тыкаясь локтями в Федькину спину, наверное, хотел повернуться на другой бок, а Чудинов все так же безучастно лежал, прислушиваясь уже к удаляющимся взрывам. Все реже приподнималась земля, и тише гудели сотни бревен над головой, можно было говорить даже шепотом, и эта надвигающаяся тишина делала земляную щель похожей на могильный склеп. Пахло сыростью, корой, кровью и тленом.

Жвакин сопел над самым ухом, что-то мокро сглатывая, словно бы плакал он, и это Чудинова раздражало.

— Отхожие места чистил, что ли? — вдруг выкрикнул он нарочито громко и весело, стараясь уязвить Жвакина, чтобы все посмеялись.

— Да пошто? Хоть и это нужно...

— Дак чего тогда?

— Мертвых одевал, — сказал нехотя Жвакин и добавил, ожесточаясь:— Едри твою капусту, надо же было кому-то!

— Как одевал? — не понял сначала Чудинов. Ему представилось, как коротконогий, с утиным носом и рыхловатым лицом Жвакин натягивает на покойников штаны, наливаясь от натуги багровым румянцем.

— Да бушлаты деревянные шил по мерке. Тоже ремесло тонкое, не с бухты-барахты. Надо штобы и вид был, и остойчивость, и крепость, и положение умершего, и уважение к нему.

— Небось люди-то боялись? — спросил Чудинов, ощущая внезапную тошнотную брезгливость. Он только неделю назад прибыл на войну и только три дня назад увидел первых убитых: Ивана Окладникова и Семена Жданова с соседнего понтона. Было наступление, и их даже не успели захоронить, они так и лежа-

ли с внешней стороны штабелей у самой реки, накрытые плащпалаткой.

— А чего бояться? Я, бат, не собака, на людей не бросаюсь. Тут чего-то другое — я думал об том, —суеверное, што ли. Может, сглазиться об меня опасались, раз я в последний путь снаряжаю и при смерти ближе других стою.

— Почему девки-то обегали тогда? — опять спросил Чудинов, еще не знавший вкуса поцелуя. — Дурно пахло, что ли?

— Об этом тоже размышлял. У меня в мастерской воздух лесной. И хотя лицо мое не то чтобы уж слишком красивое, но угрей нету, да и все на своем месте, все при себе. А как узнают, что гробы лажу, так и бегут прочь. Приду с войны и должность сменю, к едреней фене. Дома пойду ставить. У меня ведь из рук ничего не выпадает. Ты-то сопляк еще, тебе не понять этого,— спокойно добавил Жвакин, ворочаясь широким плотным телом, а помолчав, спросил в свою очередь: — А ты-то должность какую вел?

— А я не успел еще. Наверное, военным буду. Вот кончится война, и военным буду. Учиться стану, в академию поступлю.

— Ты хоть эту-то войну переживи, сопля, — сказал кто-то холодным голосом, от которого у Феди Чудинова внутри все противно перевернулось.

— Типун тебе на язык! — крикнул Федя в темноту. — Я сам на войну шел, я три раза в военкомате просился.

— Ну и воюй на здоровье, — сказал Жвакин удивленно. — Тебе што, этой войны мало?

— Через таких, как ты, падла, все и нарушается,— опять просочился холодный голос, но Федя постарался его не расслышать.

— Это разве война? Как крыса лежишь тут, в могиле будто, — зло возразил Чудинов, опять сглатывая больную слюну.

Вверху, поперек штабелей, противно пролетел снаряд и шмякнулся в жидкую грязь совсем рядом, и сразу же все услышали густую тишину и приникли к холодной земле, от которой отдавало плесенью и гарью, и сразу все мучительно испугались смерти, потому что были людьми, пожившими на свете, и только Федя Чу-

динов сидел посреди темноты, вглядываясь незрячими глазами туда, где упал снаряд, и от напряжения в его глазах рождались крохотные скользкие мушки. Он ждал взрыва с каким-то нарастающим тревожным интересом, и все тело его лихорадочно трепетало, готовясь встретить огромную убийственную силу. Но прошли минуты, а снаряд, как жирный боров, только пышкнул в захолодевшей земле и, остывая, замолчал. В укрытии сначала осторожно зашевелились, закряхтели, кто-то опять громко и холодно сказал: «Сволочи!» — и матерно выругался, освобождая душу от страха. А Феде Чудинову стало вдруг знобко и противно, он мелко дрожал, и холодный липкий пот бежал по ложбинке спины, голова стала горячей, и больно застучало в висках.

Стояла могильная тишина, которая живет лишь на кладбищах да в покинутых домах, и сразу стало тревожно и дурно лежать в земляной норе, потянуло узнать, что делается на белом свете, но никому не хотелось вылезать первому, каждый думал, что на это решится кто-то сам, без понуканий. Тот же ледяной голос сказал в темноту:

— Наших-то, знатье, всех положили. За реку никто не идет, и оттуда не вертаются.

— Салажня все, им бы девок за банями жать, а не воевать, — откликнулся второй голос.

— Тут не знаешь, от чего и сдохнешь, —поддержал и Жвакин. А Федя Чудинов, который сидел скорчившись, повалился головой вперед и пополз на выход.

— Тише ты, лешак!

— А чего колеть-то. Тут и подохнуть, што ли?—поддержал Чудинова Степан Жвакин. — Ты, парень, узнай, что там. Лучше уж на свете белом пасть, чем тут гнить. Там хоть подберут да под крест положат.

Федя протиснулся меж телами, отвел плащпалатку, но в укрытии светлее не стало, потому как на воле жила ночь. Однако глаза вскоре попривыкли, откуда-то нагнало сухой холодный ветер, опавший лист жестяно поскрипывал, кружил по обгоревшей земле, а может, это одинокие вылинявшие травины колотились по остывшему железу, разбросанному вокруг, потому что шум был тоскливый и мертвый. Чудинов не сдержался и, унимая гул в висках, совсем вылез из норы, посмотрел

вверх: там неясным мрачным холмом топорщились бревна. И тут настигла его внезапная мысль: «А каково было бы им, если бы штабель раскатило?..» Чудинов поежился от запоздалых размышлений, кругом было беспросветно и глухо, как в огромном лесу. Он еще прислушался и едва уловил дальнюю канонаду, пригляделся и трудно рассмотрел голубые сполохи ракет, словно в небе зажигали спички.

— Ну как? — спросили все, когда Чудинов вернулся в нору.

— Глухо, как в танке...

— Чего колеть-то тут, — опять настойчиво повторил Степа Жвакин, и в его голосе родилась ефрейторская распорядительность. — К своим, значит, попадать надо. Правильно я говорю? Тут, значит, по парам разойтись и до своих толкаться. Сумерки надо захватить и Бороухи обходом миновать. Тут если сидеть, кроме могилы ничего не схлопочешь. Правильно я говорю?

Ефрейторский голос побуждал двигаться, и солдаты саперного батальона (все дядьки в годах) молча потянулись на выход, с тихим шорохом и сопением растворяясь в ночи. И Федя Чудинов тоже полез следом за ефрейтором Жвакиным, тыкаясь лицом в его кирзовые сапоги.

Поначалу темь будто оглушила, осадила назад, а потому сели, прижавшись спиной к штабелю и растерянно всматриваясь в ночь: было тихо, только вдали, совсем не беспокоя тишину, будто катали бочки по булыгам винных погребов, — не умирала канонада, да прямо из земли вдруг вставали белые слепые сполохи, недолго жили в небе и беззвучно таяли, не нарушая горький мрак.

Но вскоре на закрайках неба родился легкий отсвет, заметнее стали быстрые хвостатые тучи, меж которыми изредка просверкивало дымчатое небо: облака рвались за реку Великую и были похожи на тяжелую гарь. Потом и трава родила серебристый глянец, и на торцы бревен легла влажная белая плесень. Значит, надо было спешить, потому что часа через два рассвет оживет в полную силу. И ефрейтор Жвакин уже мысленно шел заброшенной пашней, посреди которой большим валуном проросли Бороухи, стремился к окольному лесу, где можно было переждать день.

Жвакин цепко схватил Чудинова за плечо — это значило, что пора подниматься, и они отправились в сторону села, часто спотыкаясь о распаханную снарядами землю и страшно матерясь шепотом. Ефрейтор оказался легким на ногу, шел он быстро, постоянно теряясь в ночи и неожиданно проступая вновь темным неровным пятном; Жвакин поджидал парня, дергал его за рукав, и какое-то время они так и шли вместе, будто на прогулке, но ефрейтору было неловко тянуть Чудинова, он отступался от него и опять растворялся во мраке.

А посветлело неожиданно: вдруг проступили гривы выброшенной земли, воронки с тусклыми блестками воды на дне, истерзанными орудиями и телами убитых, будто прилегших на мгновение солдат, которых сморил смертельный сон. В сумерках они казались живыми, и даже чудилось, как всхрапывают они, чмокают еще не затвердевшими мальчишескими губами, переваливаются на бок, поджимая от холода коленки к самому подбородку, лежат лицом вниз, будто после утомительного жаркого сенокоса, а один сидел у лафета, запрокинув ледяное лицо, и пристально и безотрывно смотрел в небо, по которому бежали хвостатые дымы.

Чудинов переступал тела, тупо всматриваясь в мертвых, его мучило непонятное беспокойство, он порой переводил взгляд вперед, где растворилась спина Жвакина, и хотел бежать следом, но будто кто-то держал его посреди поля, на котором еще лежал отсвет боя и недавней жизни. И он все замедлял шаги, и с болезненным любопытством вглядывался в трупы, словно бы представляя себя среди них, и невольно ужасался еще не издерганной самолюбивой душой. И оказывалось, что душа его мучилась как бы сама по себе, ибо любопытство не оставляло Чудинова, и он уже совсем забыл ефрейтора и где находится. Вдруг Феде захотелось есть до судорожных спазм, и он вспоминал, что трое суток не ел. Прямо под ногами лежала офицерская сумка, Чудинов машинально поднял ее, раскрыл и нашел там кусок старого хлеба и два вареных яйца. Ему подумалось поначалу, что это, наверное, некрасиво обшаривать мертвых, но эту мысль замутила другая: мол, а нельзя ли тут найти что-нибудь еще, и, подавляя чувство брезгливости, он стал шарить в чьих-то шинелях,

становясь на колени и стараясь не глядеть на лица. Порой застывшие руки мертвых мешали ему, и тогда он отгибал их на сторону и подбирался к карманам.

Потом Федя увидел вещмешок и потянулся к нему, уже не вставая на ноги, а колени скользили по крутой осыпи воронки, и, чтобы не сползти в нее, он схватился за чье-то тело и, уже подтягивая мешок к себе, невольно поднял глаза. Солдат лежал на откосе, чуть подвернув голову к левому плечу, и глаза, почти черные на мертвом меловом лице, пристально глядели на Чудинова. Федя мог поклясться, что смотрят они как будто с другой стороны стекла и хотят что-то спросить, но мешает солнечный луч, который упал на стекло с улицы и отразился в нем. Еще не отдавая себе отчета в том, что он делает, просто повинуясь тайному позыву, Чудинов склонился над этим лицом и вдруг увидел знакомый короткий шрам над верхней бровью — когда-то нечаянно сам же и ударил тонко заостренной вицей, — острый, чуть вздернутый нос, крутые скулы, покрытые грязью и пеплом.

Чудинов узнал свояка Кроню Солдатова, которого взяли на войну годом ранее, и ему стало невыносимо страшно глядеть в эти пристальные живые глаза, расплывшиеся на восковом лице, глаза, которые тщились что-то сказать и не могли, и казалось, будто последние мысли так и остыли в конечное мгновение жизни под тонкой непрозрачной пленкой.

«Надо же так, ну надо же так!» — мелькнула мысль, и Чудинов, не отрывая взгляд от Крониного лица, пошарил ладонью по глинистой осыпи, и тут будто кто посторонний вложил в его руку шинель, и накрыл Федя Кроню Солдатова с головой, как накрывают мертвых. «Надо же так, ну надо же так!» — уже вслух тупо шептал Чудинов, озираясь кругом, потом сделал несколько вихлявых шагов в сторону, словно потревоженный зверь, но вернулся, вспомнив вещмешок, и тут невольная волна тошнотного темного страха подхватила парня, и ноги понесли его куда-то по вздыбленной непослушной земле. Он бежал полем, спотыкаясь о жухлые будылья и пласты измученной пашни, проваливался в снарядные воронки, пахнущие гарью, падал, словно умирал, и снова бежал, пока крепкая рука не остановила его за полу шинели и не опрокинула навзничь.

Федя Чудинов уже лежал на земле, а ему еще чудилось, как его догоняет готовый схватить Кроня Солдатов, и Федя все порывался вскочить и бежать, куда бог пошлет, чтобы только успокоить дрогнувшее сердце.

— Лежи давай. Покойником захотел сделаться? — тоже будто бежал, с одышкой сказал Жвакин, стаскивая Чудинова в покинутую траншею. — Што, жить надоело? Думаешь, война-то — уракать только да трофеи собирать? Бежит как угорелый. — Жвакин еще что-то говорил, шевеля рыжими клочками бровей и жмурясь всем некрасивым лицом, а потом, отвернувшись от Чудинова, матерно выругался и сплюнул. И будто только что заметил вещмешок, который Федька так и не выпустил из рук, и добавил: — А ты прохиндей, братец. Ей-богу, прохиндей, едри твою капусту. — Жвакин вынул вещмешок из Федькиных равнодушных рук и стал по-хозяйски рыться в нем, а Чудинов все так же безучастно лежал на дне траншеи, высматривая мутный осколок неба.

Он вдруг вспомнил все пережитое на этой войне: и опустошающую канонаду, от которой, казалось, волос отделяется от головы, и студеную октябрьскую воду, пронизывающую ноги до самых костей, и первых убитых понтонеров Ивана Окладникова и Семена Жданова, которые где-то так и остались лежать у штабелей, потерянные всеми, и раздавленную батарею, и убитого артиллериста с запрокинутым лицом, и мертвого Кроньку Солдатова, у которого были совсем живые глаза, и тех двух «животников», что так муторно стонали до самой смерти, вспомнил и тех девятерых, которые расползлись в сумерках по осеннему полю и сейчас лежат небось, как палые листья с огромного людского дерева. Все вспомнил Чудинов и подумал, что это совсем не та война, о которой мечталось, когда бежишь в снегах, разодрав в торжествующем вопле рот, и орешь, орешь до боли в скулах, и поливаешь огнем направо и налево, и фашисты — эти гады ползучие, эти сволочи ложатся, как трава, по-тараканьи вздрагивая ногами. Чудинов всего неделю пробыл на передовой, но показалось ему, что минула уже целая вечность, какие-то страшные муторные картины сменяли одна другую, а войны он так и не разглядел: то был под откосом берега, когда неожиданным снарядом потопило самоходный понтон, то

лежал под штабелями, зарывшись в вонючую от гари землю, потом была сумасшедшая беготня по ночному полю, и вот, наконец, этот ржавый окопчик в полукилометре от леса, — и не знаешь, как поступить и как распорядиться своей судьбой...

Постепенно Чудинов отмяк, отошел душой и снова стал самим собой, снисходительным и чуть ироничным, и, не глядя на Жвакина, спросил:

— А все же почему тебя девки-то не любили? — но ответа не услыхал, потому как Степа Жвакин, откинувшись на стенку траншеи, уютно спал, забыв и про день-деньской, и про войну, и про все на свете, спал, прихрапывая и шмурыгая утиным носом, и полная безмятежность была разлита на его грязном некрасивом лице. Порой он словно бы пробуждался, мычал и толстым коротким пальцем смахивал с лица невидимые паутины: наверное, Степе снилось что-то хорошее из самого детства.

Чудинов недоверчиво оглядел Жвакина и хотел его ткнуть в бок, чтобы тот не прихилялся, но ефрейтор сам вдруг встрепенулся, обмахнул ладонью усталое лицо, словно бы сгоняя сон, и сказал виновато:

— Соснул малость. Как в пропасть кинуло. А чего я видел, чего я видел? Вовек не сказать.

Чудинов помолчал, осторожно посунулся из окопа и как бы мгновенно закаменел: под самым селом лежала дорога, и хотя шум машин едва проникал сюда, но видно было, словно в немом кино, как поднимались в Бороухи бесконечной чередой машины, забитые пехотой, и лобастые вихляющие танки, кургузыми жуками вскидывались на центральную улицу мотоциклы, и казалось, что всю эту шумную орду кто-то гонит и гонит вперед, не давая ей отдохнуть и оглянуться назад, где еще не осела с неба пороховая гарь и не было даже ворон, чтобы терзать павших и безмолвных.

Смотреть на это зрелище было жутко, но сидеть в окопе, заслонясь от мира пористой влажной землей, казалось еще страшнее, поэтому Чудинов все вглядывался в великое переселение людей, жаждущих убивать, и в памяти его невольно оседали и танки, вихляющие широкими задами, и кургузые мотоциклы, и буксующие грузовики с пушками на прицепе... Федька словно бы знал заранее, что все это ему надо запомнить и расска-

зать кому-то, чтобы и те и другие тоже поразились силе неисчислимой, которая движется на них.

И вдруг Чудинов представил, как он окружает Бороухи: с левого фланга пускает танки, с правого — тоже, из дубовой рощи прямой наводкой бьет из гаубиц по селу, да все прицельно, прицельно; а той лощинкой он просочил бы пехоту, тихим сапом подлез бы. Чудинов даже забылся, что он посреди осеннего голого поля, восторг поселился в его душе, и он оглянулся, чтобы поделиться своими планами со Степой Жвакиным, но тот уже снова мирно всхрапывал, далекий от войны и ее ужасов. Чудинов досадливо сплюнул, добыл из кармана яичко, околупал его, предварительно постукав о саперную лопатку; яичко было голубоватым под серой шелухой и показалось чертовски вкусным. Чудинов съел его, повернувшись спиной к Степе Жвакину, потом достал сухарь и, привалившись грудью на бруствер окопа, стал обкусывать сухарь с краешков, тихо соловея и задремывая от ржаной солоноватой кашицы во рту, от однообразия пожухлых полей, взвихренных бесконечных облаков, будто бы оседающих за рекой, от гнетущей усталости, от еще не осознанного страха перед смертью.

С ним был Степа Жвакин, ефрейтор и командир понтона, и Чудинов просто не задумывался, что будет завтра, через час, через минуту, ведь в одно мгновение судьба может все переиграть. Он только тихо соловел и, наверное, так бы и осел в дремоте обочь ефрейтора, но в постоянные шорохи и звуки вмешался густой прерывистый рокот, потом на лимонно-желтой кромке неба проросли черные мушки. Жвакина словно бы кто толкнул в плечо, потому что он сразу выстал из сна, лицо его поначалу хищно застыло, и сквозь серость щек проступила нездоровая бледность. Но щеки тут же обвисли, губы посунулись вниз, некрасиво и мелко задрожали, и Степка запричитал вдруг, расслышав то, что неведомо было Чудинову:

— Батюшки светы, дак свои же! Слышь, Федька, брандахлыст ты лешовый, трескоед архангельский, свои же! Ну, ёк-макарёк, наскипидарят немцу под хвост! Это уж в баню не ходи, наскипидарят.

Жвакин частил мелко и все подтыкал Чудинова снизу, как в боксе, скалил крупные желтые зубы. А са-

молеты навалились неожиданно, и один бог знает, что там наверху приключилось, но не успели они долететь до Бороух, как начали сорить бомбами.

Чудинова Федю учили только побеждать или красиво умирать под грудой поверженных врагов, но никто не подсказал ему, что чаще всего настигает самая обыкновенная смерть и в ту минуту, когда ее не ожидаешь. А тут, увидев смерть вплотную, разглядев ее, он закричал «ма-ма!», выскочил из траншеи, но не сделав по полю и пяти шагов, упал в окоп, закрыл глаза и прижался к земле, стараясь раствориться, исчезнуть в ней. Его последние, как ему казалось, секунды длились вечно, Чудинов еще никогда не жил таких длинных секунд, он даже успел спросить как бы самого себя: «И это все?..»

Первый взрыв раздался в стороне, а второго Чудинов уже не расслышал...

У Степана Жвакина грамоты было два класса, войну он восприинял, как нужду, которую нужно пережить, и за полтора года научился не только хорошо наводить переправы и стрелять, когда немец становился на горло, но и укрываться от смерти. Степан Жвакин после войны хотел рубить избы, завести семью и настроить кучу детей. И когда свои бомбы неожиданно пошли на Жвакина, он закричал, стервенея:

— Сволочи, куда лупите? Глаза-то разуйте! Федька, Федька, ты-то куда? Ложись, сволочь!

И Жвакин посунулся на дно окопа, встал на колени, твердо упершись локтями в жидкую, кислую землю, а ладонями прикрывая голову. И когда рвануло совсем рядом и земля, встав на дыбки, пыталась похоронить Степу Жвакина в своем чреве, он, подавляя в ушах нестерпимый звон и тошноту в животе, подставил плывуну костистую спину... Потом сидел ошалелый, мотая головой, выцарапывая из глаз песок и слушая недальние взрывы. Вспомнил о Чудинове, крикнул сторожко, не высовываясь из окопа:

— Эй, Федька, как ты там? — но парень не откликался, и Жвакин добавил уже как бы сам себе, озабоченный тревожным молчанием: — Скотина тоже. Понес какой-то леший, а сейчас уродуйся с ним.

Самолеты освободились от груза и улетели, оставив в Бороухах огонь и суматоху, а Степа наконец-то пришел

в себя и осторожно пополз по опаленному исковерканному полю, тихо окликая: «Федька, эй ты?», потом, откинувшись на бок и слушая постоянный нудный звон в голове, стал саперной лопаткой вынимать землю, пока не наткнулся на Федькины ноги. Жвакин откапывал Чудинова и все говорил, говорил, поминутно оглядываясь по сторонам и подавляя страх:

— Ну кто же так делает, разве можно в окопе плашмя падать? Ну кто так поступает? Землей придавило— и капут. Ну хорошо, я привелся, а могло и не быть... Эх ты, командир полка — не видал пинка! Вояка хреновый, возись тут с тобой. На колешках надобно стоять, на колешках...

А Чудинов лежал, плотно прижавшись к земле, словно прислушиваясь, как дышит она. Жвакин перевернул Федьку, смахнул с лица землю, прислонил ухо к груди и услышал, как далеко-далеко бьется слабое сердце, значит, парень еще жив, значит, еще не задохнулся. Но Чудинов вернулся в сознание лишь под вечер, он пробовал шевельнуться и не мог. А Жвакин рядом переживал: ведь убираться надо, к своим попадать; потому он то и дело тормошил Федьку, которого, видно, здорово контузило. А когда тот пришел в себя, жалобно стал упрашивать:

— Ты слышь, Чудинов, как там, а? Ну ты попробуй, а?

Но Федька безразлично молчал, облизывая языком пересохшие губы, порой бестолково водил глазами по рыжим стенкам окопа, вглядывался в тускнеющее небо, и Жвакин понял, что с таким Федькой каши не сваришь. Степа взял винтовку на грудь и шеей ощутил скользкую тяжесть ремня, потом присел на корточки, осторожно надвинул Чудинова себе на спину и, кряхтя от натуги, поднялся. Федька был не сырой телом, он ладно распластался на спине Жвакина, но Степа-то наголодался, да и не богатырь он — всего шестьдесят пять кило весу, и потому с каждым шагом все неровнее казалось ему земля и упрямее молчаливый груз.

«Хоть бы слово живое сказал. Ишь, расселся. «Военным буду!» — мысленно передразнил он Чудинова, подавляя нарастающую неприязнь, а тут еще винтовка надоедливо елозила по животу, Степа совсем осоловел от усталости, ему так мечталось добраться до своих,

выспаться в теплом углу, налопаться «кирзовой» каши и просто поболтать с ребятишками, ну а там уж куда пошлют — на то она и война... Но он дотащил Чудинова до перелеска и сам полежал, отходя на волглой жесткой траве, как пропащая старая лошадь, потом пересилил усталость, сломил молодое деревце, расстелил на рогатых ветках шинель, заволок на нее Чудинова и вновь побрел заиндевелой опушкой, хрипя нутром и быстро наливаясь жаром.

Когда Степа поволок Чудинова по кочковатой земле, Федька как-то сразу ожил, только ноги его были вялы и непослушны. Отдавшись страшным мыслям, Чудинов забыл о подвигах и обо всем на свете и лишь мысленно торопил Жвакина, подгонял его, каждый раз тревожно замирая душой, когда Степа останавливался передохнуть: «Ну ты, давай, ну-ну... Господи, не бросил бы только! Ведь никто не узнает. Сгниешь тут, как падаль...»

8

Дядя Кроня был грустен и тускл лицом, щеки его неожиданно одрябли, стали пористыми, в глаза он никому не смотрел, царапал корявым пальцем желтую мозольку сала на клеенке, иногда вздыхал, а мать, думая, что он печалится из-за нее, виноватилась, ходила по комнате молча, заполняя стол всякой едой.

— Ну и прохиндей! Пленом вздумал попрекать, — вдруг сказал дядя Кроня и ссутулился еще больше.

— Да наплюнь ты на него, — пробовал утешить Геля, поглядывая в окно. Ему хорошо было видно, как Федя Понтонер тешет бревно: топор часто соскальзывал, звенел хорошей сталью и взблескивал на сливочном срезе дерева.

— Меня баба Марфа, можно сказать, на своем горбу от могилы оттащила...

— Ты тоже хорош, голубчик, — вступила в разговор мать. — Вспоминаешь, когда прижмет. Все вы хороши. Нет бы когда десяточку послать старухе, небось пенсия невелика.

— Ты думаешь, Лизавета, что она жива? — удивился Кроня Солдатов собственному предположению.

— Эгоисты вы все. Даже не знаешь, жива ли спасительница. Мог бы справки навести, она тебе как за мать родную должна быть.

— Не, померла. Ну конечно, померла. Она и тогда-то еле ходила. Как в погреб ко мне спускается, думаю, хоть бы не пала да не померла тут. А за месяц ни разу не пала. Только смеется да плачет, смеется да плачет... Не, померла. Ей и тогда-то у семидесяти было, тюх-тюлюх. Да тридцать годков с тех времен пало, дак не сто же лет пожила? Помереть уж должна.

— Эгоисты вы все, — опять повторила мать, влажнея глазами, и розовые паутинки на голубоватых белках стали резче.

— Эгоисты, — согласился дядя Кроня. — В душе-то все лежит, порой до слез вспомнится. А потом в заботах закрутишься — и будто прошлой жизни не было. Одним днем живем. Пахота, сенокос, уборка и опять по новой, даже оглянуться некогда.

Потом все долго молчали, дядя Кроня шумно фуркал чай, на лбу проступили искры пота, щеки налились прежним тугим румянцем, значит, ожил Кроня Солдатов.

— А чего он такой? — неожиданно спросил дядя, и хотя он никого не назвал, все поняли, о ком идет речь, и разом глянули в окно на заулок, где Федя Понтонер впрягался в веревочную петлю, чтобы тащить на задворки последнее бревно.

— Какой «такой»? — переспросила мать.

— Ну, какой-то не такой...

— А у нас в Слободе все не такие. Силу-то девать некуда, а много ли нынче на производстве побродят, только волынку тянут. Вот с жиру и бесятся люди: то давятся, то травятся, а Федька, тот с бревнами да поросятами убивается. Наверное, уж деньги некуда складывать. Говорят, сейф завел.

— Небось порядошным себя числит?

— Ну что ты — и не подступись к нему. Уж который год в президиумы садят. Люди-то боле уж смеются над ним.

— И говорить-то наловчился, — добавил Геля.

— Говорить-то он с малых лет ловкой...

— Может, чего ли спуста люди наговаривают, чего ли лишнее, говорю, говорят?

— Не, он уж такой злой и родился. Не в бабу Маню, покоенку, та, даром что из купчих, а рукодельная была. И не в брата старшего, Андрея...

— Ну значит, в нем частная жилка вылезла.

— И у матери уж все рукодано было заведено, все с руки: и хлеб-то по кусочку, и сахар-то по глызке — из веков таково было. Он, что ли, моду такую с нее взял? Но опять же баба Маня, бывало, как туго нам, дак из последнего выложится, да поможет. А Федька-то боле весь изжадился.

— Я ведь его мальцом только помню. Как батя меня из-за него высек, так боле, кажись, и не виделись.

— У него жадность какая-то завелась. С трибуны-то больно хороши речи говорит, куда с добром, а ночью Би-би-си слушает.

— Да ну, ты это брось, мама, — поморщился Геля, уловив в голосе матери нехорошее злорадство.

— А ты помолчи, если чего не знаешь. Мне, думаешь, не слышно было, когда он еще за двойные стены не прятался? Как с дойки-то приду, руки все наизнанку выворотит, тут и сон не в сон, а он за стенкой приемником тарахтит. А на людях все выставляется, идейный, мол, а сам, прости ты господи...

— Ну хватит, — досадливо оборвал Геля.

— Ладно, ладно вам, — чувствуя грозу, вмешался дядя Кроня, но было уже поздно.

— Значит, сло́ва матери вслух нельзя сказать, сразу рот затыкаете! Шестерых-то надо было вырастить одинакой. А он еще, гад, измывался всяко. Мостки было починил, дак ведь сам и ходит по ним, но счет принес, чтобы оплатила половину. Это жене-то покойного брата! А ты еще говоришь мне. Хоть бы сдох он, чтобы его животом вывернуло. Окно покрасил, наличник один, тоже счет предъявил. Потом вьюшку в бане заменил, ведь копейки стоит, да и сам же моется — опять счет. А тут и проводку было обрезал, света меня лишил. Я и говорю ему: «Ты пошто так нехорошо поступаешь, ведь ты меня без света оставил?» А он и гарчит: «Не тебя же буду спрашиваться. Ты свет жгешь, я не проверяю, как жгешь, а плотишь, как за лампочку». Так неделю без света сидела. Вот как над вдовой-то изгаляется всякий. А на памятник триста отвалил, прихильник окаянный. Знали бы люди, какой он мучитель. Мне

бы от него и этакой крохи не взять, лучше с голоду сдохну, — мать заплакала беззвучно, слезы непрошено пролились по щекам, глаза заплыли и ослепли от влаги.

— Ну вот, расстроил тоже мать, тюх-тюлюх, — сказал укоризненно дядя Кроня.

— Сама ведь расстроилась. Никто и велел...

— Ну ладно, ты поди. Обещался на могилу к бабушке, так поди.

*

Чтобы дойти до кладбища, нужно было миновать весь городок с деревянными типовыми домами в два этажа, каменной рыжей баней в черных разводах, приземистым банком, похожим на кургузого белого жука, тощим ветряком у больницы и запущенным оврагом посреди Слободы, на дне которого, наверное, с сотворения мира копятся в мутной болотной воде ржавые обручи, негодные ведра и битые склянки, кирзовые сапоги без подошв и драные женские башмаки с толстыми резиновыми каблуками, а на коричневых торцах старых свай сидят большие пятнистые жабы. Городок не менялся, разве чуть высветлился обшитыми калевкой домами, и, пройдя улицами, лохматыми от пыли, можно было легко представить свое детство, и только людей, которые встречались, уже трудно было узнать. Геля шел по Слободе как-то бочком, уставясь в выгоревшие половицы мостков, пока не окликали его. Приходилось невольно останавливаться, вести разговоры, и чем дальше Геля шел по Слободе, тем больше оказывалось знакомых, со всех сторон только и доносилось: «Здрасьте!», «С приездом!», «Надолго ли?»... Значит, не раствориться, не забыться ему в родном городке, пока смерть не возьмет свое, а после нее — тусклое забвение.

Велика сила внушения: сначала мимолетно подумал о смерти, потом нашел ее в облике черной, как холера, собаки с желтыми бровями на угрюмой морде и уже не мог отвязаться от печального слезливого взгляда... Ему бы сразу рассказать об этом матери и дяде Кроне, и все бы вскоре забылось, но Геля постеснялся открыть-

ся, подумал, что его засмеют, скажут — эко дело, собака покусала, поболит и перестанет, и вообще, хватит выдумывать всякую ерунду. Но ведь никто не видел этого тоскливого взгляда слезящихся собачьих глаз, и когда он всплывал неизвестно откуда, боль в ноге поднималась выше колена, и Гелю начинало знобить.

Неожиданно он почти уперся лбом в крутую широкую грудь, а подняв глаза, несколько опешил, увидев сытое породистое лицо с тугими, чуть приспущенными на воротник рубашки щеками и выпуклыми эмалевыми глазами, которые умели смотреть поверх людей, словно бы не замечая их. Сначала Геля как бы сробел и отшатнулся, но Астафий Иванович Комаров по прозвищу Грымза — бывший директор школы — равнодушно посмотрел поверх Гелиной головы и прошел мимо. А Геля растерянно глядел в его неподвижную сильную спину и покачивающиеся женские бедра, ловя себя на том, что по-прежнему робеет перед Грымзой.

Он вдруг снова увидел себя маленьким пятиклашкой с постоянно хлюпающим носом, в овчинной шапке с обкусанными тесемками и в ботинках, побелевших от снега. Уже стояла зима, морозы доходили до сорока, а мать в тот год так и не сумела справить всем шестерым валенки, и Геля почти до января ходил в школу в ботинках. Он пропускал уроки физкультуры, и Лизу Чудинову вызвали в школу.

Мать стояла у порога жалкой просительницей, ей пора было бежать на дойку, и она про себя подумала, что вечером выпорет Гельку, чтобы не баловал, но почему-то в ее глазах стала копиться влага. Она тут же вспомнила о своем вдовьем одиночестве и, скрепляя свою душу, чтобы не разреветься, стала оправдываться едва слышно простуженным голосом:

— Вы простите его, Астафий Иванович, у него катанок нету на лыжах кататься. Ему в школу-то не в чем ходить, а не то на физкультуру эту.

— Не поверю, чтобы нельзя было валенки приобрести. Невелики деньги и стоят, — ответил тогда директор. И сразу горький комок осел в горле у Лизаветы Чудиновой, и, наливаясь к Грымзе презрением обиженной судьбой женщины, она закричала вдруг осипшим, но далеко слышным голосом:

— Где вам понять-то, сволочи! Зажрались, в тылах

отсиделись! Вон зад-то наростил — шире бабьего. Наших-то мужиков на войне поубивало. «Не по-ве-рю, чтобы ва-лен-ки нельзя было купить», — передразнила она Грымзу и заплакала в голос. — Ужо отольются вам наши слезыньки...

— Идите, ну! — только и сказал Грымза, открывая перед матерью дверь и глядя поверх ее заплаканного некрасивого лица. Он уже тогда умел так смотреть.

Валенки Геле купили из школьных фондов, сам Грымза принес их на свой урок русского языка, поставил на стол — черные, еще мохнатые, с белесыми пятнами плесени на толстых голяшках, перевязанных шпагатом. Грымза поманил Гелю пальцем, и когда тот вышел и стал перед классом, директор сказал, глядя поверх его головы:

— Родина не забывает своих павших героев и всегда поможет их семьям. Но нельзя и садиться на шею Родине, ей и без того нынче тяжело.

Никто не понял речь Грымзы, но на всякий случай хохотнули, когда директор перекинул валенки через Гелино плечо и подтолкнул его легонько в спину; а Геля шел среди парт, маленький и рыжий, с валенками через плечо, и все ребята провожали его взглядом. В тот же день Гелька получил по русскому двойку. Он вообще был не в ладах с русским, он любил физику, дома мастерил электромоторы и планеры и рисовал самолеты, скачущих коней и отца в светло-коричневой будёновке. Еще Геля любил мастерить бумажных змеев: он разрисовывал их тонкие упругие тела акварелью из маленьких черненьких чашечек, потом зануздывал толстой суровой ниткой и пускал высоко в небо. Нравилось ему прыгать с крыш, замирая от холодного восторга и наполняясь в стремительном падении густым воздухом... Но в шестом классе Чудинов получил по русскому двойку и остался на второй год. Мать плакала и говорила, что он ни на что не гож, разве только навоз возить, там и грамоты не надо, а Гелька возненавидел все правила грамматики с их исключениями. И в седьмом классе из-за русского он сидел два года, и Грымза говорил перед всей школой, что Чудинов своим тугодумием тянет назад общий процент успеваемости.

Когда Гелю исключали из школы, по породистому

лицу Грымзы не скользнула даже тень вины, он лишь небрежно поправлял русую прядь волос, рубил воздух ладонью, и плотные чистые щеки упруго колыхались над твердым воротником рубахи, а в белых глазах вспыхивали искры благородного негодования. Он говорил что-то долго и холодно, стараясь придать своему голосу чистоту и правдивость, а у Гельки горели уши, словно он крал чужую репу и его уличили в этом. Гелька стоял посреди учительской в подшитых красной кожей валенках и в серой бумазейной курточке, маленький и худой для своих лет, с хохолком светлых волос на макушке, и ничегошеньки-то не слыхал, кроме собственного надсадного сопения, порой оглядывался на мать, сиротливо сидевшую бочком у самой двери, видел ее белое растерянное лицо, словно бы размытое серым туманом. Грымза говорил о разбитом стекле, о материнской ответственности и снова о разбитом стекле, о том, что у государства нет средств покрывать безобразные выходки, что если Лизавета Чудинова желает, чтобы ее безответственный сын прошел курс наук, то пусть то стекло вставит, а там педсовет посмотрит, как поступить с ее сыном.

И Гелька, потерянно слушая эти умные слова, все время боялся, как бы не раскипятилась мать — тогда берегись! — и он все бочком-бочком подвигался к выходу, чтобы вовремя утихомирить ее или, при случае, улизнуть в коридор. Но Грымза каждый раз подходил к Гельке и за рукав тянул его на прежнее место. А мать вдруг не сдержалась, неестественно тихо и пугливо рассмеялась и спокойно сказала:

— У меня нет денег, чтобы стекла вставлять, я вам это стекло не рожу. Может, с Гельки задницу снять и заместо стекла распялить.

— Ну зачем же так...

— Почему вы чужого горя не можете понять? Еще директор называетесь. Грымза ты, вот кто! — мать поправляла шалевый платок, топталась у порога, не зная куда девать руки, а в это время в учительской поднялся шум, и Гелька подумал, что ему самое время смываться отсюда.

Он бочком протиснулся к двери, попробовал за собой потянуть и мать, но та уже ничего не слыхала, надрывая в крике горло, и Гелька выскочил на вечернюю

улицу, задохнувшись от колючего воздуха. Стояли до ужаса морозные дни, вороны колели на лету, говорят, даже мороженых птиц находили на поветях, и Гелька по этим мертвым улицам спешно потопал к болоту; ему было трудно дышать и он плохо видел сквозь наледь на ресницах, потому что незаметные слезы смерзлись и заклеили глаза. Гелька мстительно представлял, как сейчас закоченеет от мороза, а потом его найдут мертвого в сугробе, и все станут ругать директора, а Гелька будто бы все будет слышать и назло Грымзе как можно дольше не возвращаться к жизни...

А сейчас, глядя вослед бывшему директору, а ныне пенсионеру, Геля подумал, что такие люди отчего-то и не стареют даже, словно бы они собираются жить вечно.

Городок кончился, и мысли о Грымзе пропали сами собой. Слобода обрывалась как-то сразу, словно дальше побаивались селиться иль не хотели каждый день встречаться глазами с кладбищем, и за крайними домами не было даже куцых выцветших мостков: они пропадали сами собой, сходя на нет в хилом клевере и костлявом заячьем горошке, притоптанном ногами. А дальше, обочь вертлявой глинистой дороги, выметалась широколистая запыленная трава, разбавленная частыми лужицами иван-чая, и чудилось, что на тусклую зелень застоялой болотной лужи плеснули разбавленной марганцовки. И воздух тут действительно отдавал лекарствами, потому что за тощим ветряком, пригнувшись за красными дощатыми заборами, пряталась местная райбольничка.

Геля, наконец, дошел до песчаной тропки, протоптанной многими сотнями ног, где трава уже не пробивалась сквозь следы, словно бы поняв бесполезность своих усилий. У покосившейся ограды, давно не чиненной и в прорехах, тропка оборвалась, вернее, она расчленилась на множество едва приметных следов к еще не забытым могилам, и, напрягая память, Геля пошел по кладбищу, слабея и опускаясь душой, озираясь вокруг, словно он опасался нежданных страхов. Прошлые сомнения и обиды, тревоги и желания как-то разом вдруг увяли, и осталась в Геле только тягучая печаль, разбавленная тоской и желанием уйти отсюда.

Под ногами похрупывали сокрытые травой пору-

шенные кресты, вместе с которыми дотлевала и память о покойных, а взгляд Гели робко и невольно блуждал по новеньким тесовым столбикам и жестяным венкам, задерживался на побитых дождем фотографиях, выцветших и подернутых паутинками. Порой улыбка живого человека на фотографии поражала Гелю в самое сердце, и сразу становилось душно, память подсказывала прожитые годы, и под самым горлом у Чудинова что-то судорожно опускалось и вздрагивало.

«Нет, все забывается, черт возьми, все забывается и покрывается прахом и безмолвием. Мы только тешим себя, что все вечно, чтобы легче было умирать», — думал Геля, соображая между тем, как лучше пробраться под черную высокую ель, чтобы не заблудиться в крашеных железных оградках. Ведь давно ли не стало бабы Мани — каких-то пять лет минуло, никак не больше, — а Геля уже с превеликим трудом мог представить бабушкино лицо, вернее, отдельные его черты: горбатый нос с широко прорезанными черными ноздрями, широкие, угольной окраски брови; еще вспоминались жесткие смоляные волосы, подрезанные ножницами сзади, как у курсистки, и обнажавшие бурую потрескавшуюся шею, и белые пленки вытекших глаз, которые она выплакала по сыну Андрею.

От слепой жизни она быстро огрузла, ходила тихо, опершись на Гелино плечо сильными костлявыми пальцами, и упрямо всматривалась слепыми глазами в постоянную ночную темноту, словно стремилась что-то в ней высмотреть, при этом широкие ноздри страстно и нетерпеливо вздрагивали, длинные редкие усики топорщились над упрямой губой; баба Маня капризно дергала Гельку и просила не молчать, а рассказать, что видит он, да кто мимо идет и в чем одет, да что несет из магазина.

В последние годы она повадилась ходить на кладбище к мужу, «на папину могилку», как говорила баба Маня, и путь этот для Гельки был страданием: кругом ему виделось столько соблазнов, а бабушка будто назло шла медленно, подволакивая ноги, часто останавливалась и из-за пустяка схватывалась с товарками, которые здоровались с нею, шумела и горячилась, роняя слезы, если что говорили поперек. А когда Гелька, наконец, уводил бабушку, она сгоняла ладонью со щек

слезы, подтыкала рассыпавшиеся волосы широким пластмассовым гребнем и говорила: «Эх, глаза бы мне!» Говорила так угрозливо и отчаянно, сморкаясь в коричневый фланелевый платок, что казалось, верни судьба ей зрение, бабушка бы устроила по всей Слободе великий переполох. Баба Маня всегда любила хвалебные разговоры о своей особе, наверное, ей на роду было написано быть знатной купчихой да закатывать громкие пиры, удивляя всех своим расточительством, а судьба уготовила зябкое слепое угасание, противное всей ее энергичной натуре. Но как бабе Мане хотелось жить, бог ты мой! И не желая смириться с тягостным положением, выпавшим на ее долю, она как-то ухитрилась за недолгое время научиться варить обеды на всю семью, печь торты и пирожные, обшивать старых и малых и даже писать письма за всех... И только ходить далеко от дома она побаивалась, за поводыря у нее был Гелька...

Чудинов открыл дверцу, она ржаво скрипнула, и на траву осыпалась бронзовая шелуха краски. Концы прутьев оградки были сплющены наподобие пик, они облезли, и виднелась кроваво проступившая шероховатая ржавчина. В оградке земля была посыпана белым речным песком, и глубокие дольные царапины на нем говорили о том, что у могил недавно подметали, да и трава была чисто выщипана, столбики освежены голубенькой краской, а железные венки — подобие цветастых хомутов — надежно упрятаны в целлофан.

Геля сел на голубенькую шаткую скамейку, обежал глазами густую ель до самой маковки, скользя взглядом по черным опущенным гребням, и, отметив невольно про себя, что кладбище имеет над человеком какую-то странную торжественную власть, стал думать о всяких пустяках: мол, неплохо бы на могилах посадить долголетние цветы, которые, отряхая по осени семена на всхожую землю, весной будут давать новые остроперые зеленя; а скамейку надо перенести по ту сторону бабушкиной могилы, там гуще тень и как-то уютнее сидеть, а то здесь прутья решетки впиваются в спину...

Геля нагнулся над дедовой могилой и с трудом на деревянной остроконечной пирамидке рассмотрел портретик, совсем белый, с желтыми паутинками на лице; оно было не больше стариковского ногтя, какое-то со-

всем юное, с короткими щетинистыми усиками и острым взглядом, приглаженные волосы разделены четким пробором. И Геля подумал, что Максима Чудинова он уже совсем потерял из памяти, словно бы и не знал никогда, и сейчас смотрел на деда, как на чужого человека, который никак не оживал в его воображении. Зато память услужливо подсказывала давнее и совсем не важное из бабушкиной жизни.

... Тогда Геля привел ее на «папину могилку», и баба Маня долго жевала морщинистыми губами, что-то соображая и поводя головой, как настороженная птица; может, она вспоминала давно забытое иль отыскивала солнце, чтобы сесть к нему лицом. Но был пасмурный день, наполненный наглухо ожиданием дождя, потому все поникло и набухло, даже трудно было дышать. Баба Маня села на могилу мужа, как садятся на высокую скамейку, ноги ее не доставали до земли, и Гелька заметил, как отвисли задники новых резиновых калош.

Потом баба Маня потянулась к деревянной пирамидке, касаясь грудью щетинистой травы, зашарила на серой паутинчатой доске и привычно нашла большим пальцем крошечный снимок, чуть больше ее желтого разбитого ногтя, нащупала жестяной козырек над фото, крашенный голубенькой краской. Фотографию она обмахнула, а потом старательно и бережно водила пальцами по желтому картону, по туманному изображению мужа, которого она не видела ни старым, ни умершим, потому как тогда была уже слепой, и в ее воспоминаниях он остался почти таким, каким был на этой фотографии: еще молодой, с ровным пробором в волосах, с рыжеватыми усиками, которые она сама и подстригла, перед тем как ему пойти сниматься.

Какие-то призрачные тени (может, то сизоватая ель отразила рассеянный свет...) скользнули по ее лицу, и она, все еще гладя пальцем снимок, вдруг заговорила, забывая, что не одна, стала доверчиво упрашивать мужа сбивчивым лихорадочным голосом, будто он мог услышать ее через остроперую немятую траву, и замшелый дерн, и набухшую сочную землю, и еще через многие годы слепого одиночества:

— Где ты там, Максимушка? Пойдем давай домой-то. Чего лежать, ничего там не вылежишь.

Потянувшись губами к снимку, она хотела поцеловать родное лицо и почти упала грудью на могилу, неловко подламывая под себя руки. В дрожащем усилии натянулась старая шея, набухли, проступили неровные жилы, волосы осыпались на лицо, на слепые глаза, а баба Маня все шарила губами по сухому посинелому дереву. Гельке было больно на все это смотреть и даже страшно: он вдруг увидел, как прощально и безвозвратно стара, почти безобразна его бабушка. И именно тогда впервые в жизни он подумал, что когда-то и он умрет и его не станет совсем, как не будет этой травы и этих крестов, но ель, наверное, все так же потянется в небо, отряхивая с ветвей на могилу пересохшие шишки, и облака будут наливаться розовой истомой и тихо кропить влагой землю, а ребятишки побегут к реке, топоча босыми пятками по скользкой глине, потом будут лежать на пахнущем гарью песке, беспечно и дурманно курить и пить круто заваренный чай.

И Гельке стало вдруг так страшно, словно кто-то безжалостный гнался за ним, и он потянул бабу Маню за рукав:

— Бабушка, пойдем. Ты чего, бабушка? — а баба Маня повернула к Гельке неожиданно светлое, почти улыбчивое лицо, легкие слезы стеклянно накатились на глаза и скрыли своим блеском белые застывшие пленки, и в этот момент она казалась зрячей и успокоенной.

— Ну пойдем, Гелюшка, —сказала баба Маня, опираясь рукой о пирамидку и сползая с могилы. — Наши-то небось заждались. Пилить будут, скажут, куда там бабка запропастилась. Ой, Гелюшка, жить-то как хочу! Ночью-то всего насмотрюсь, везде набегаюсь, досыта наработаюсь. Во сне-то я будто с двумя глазами, и все у меня путем идет, все ладом. Слышь, я себя-то молодой во сне вижу, завсе молодой. Я старой-то себя не вижу. Вот глаза бы мне только. А как жить хо-чу...

И вот уже пять лет, как не стало бабы Мани. Целых пять лет прошло, но, кажется, ничего не изменилось вокруг: та же ель тянет вверх молодые пипочки побегов, тот же тощий ветряк невдалеке лениво колышет крылом, слушая ветер, и река безвозвратно спешит к морю. Только пять лет минуло, но если приглядеться внимательно, то можно увидеть, как все вроде бы сдви-

нулось в природе: ель стала замшелее и еще темнее, знать, и в ней что-то дряхлеет, наверное, усыхает становая жила жизни; тощий ветряк уже мертв и завтра пойдет на снос; а река, эта быстрая неутомимая река словно бы покрылась рыжей плесенью мелей, и только у того, дальнего угористого берега она еще роет слоистые глины, трудно пробиваясь к морю, но там, где совсем недавно под домашним берегом вода завивала крутые воронки, куда кидали продольники за сигом и налимом, нынче лежат равнодушные песчаные зыбуны.

Знать, все уходит куда-то в пространство, не оставляя зримых следов, и сейчас уже никто не скажет, для чего жила баба Маня и куда делись, где поселились ее детские мечтания, ее любовь, страдания и горести, которых предостаточно выпало на ее долю. А может, они перешли в Гелю? Кто знает, кто знает...

9

Время подошло к обеду, когда Геля вернулся домой. Он поспешал, чуть запыхавшись, побаивался, что он запоздал и дядя Кроня, не дождавшись его, ушел на автобус. Уже за сутки нажившись дома, Геля подумывал тайно: « А не уехать ли, однако, с дядей Кроней в Снопу, а там на луга, где вместе с мужиками метать зароды и хлебать из одной миски наваристый суп, писать этюды и потом спать в балагане, сладко слушая истомившееся от работы и долгого жара тело».

С такими желанными мыслями торопился Геля домой и в заулке неожиданно столкнулся с Талькой, она, ширкая березовым голиком по вымятой траве, мела щепу возле бревен. Сначала Чудинов увидел ее туго обтянутую платьем спину, даже заметил белую прорешку по боковому шву — наверное, Талька и не знала, что тут у нее порвалось, — и он хотел незамеченным скользнуть мимо и скрыться в доме. Но Талька, видно, расслышала торопливые шаги и, не разгибаясь, долго и непонятливо посмотрела назад, словно угадывая, кто это спешит через дорогу, а узнав Гелю, слишком быстро для ее плотной фигуры повернулась вдруг, поправляя на груди сбившееся платье, и невольная искренняя улыбка родилась на ее лице.

— Геля, да это ты? А я даве думаю — ты это или не ты? Думаю, неуж обозналась? — сказала она, не скрывая своей радости. — Боже ты мой, сколько лет, сколько зим!

Но Геля, неожиданно смутившись и оробев, все не решался поднять глаза, чтобы вот так, вплотную вглядеться в Талькино лицо, словно бы боялся увидеть ту, прежнюю, еще девчонку, и заново влюбиться в нее. И он носком ботинка ковырял дернину, отмечая про себя, как выгорела, почти вытлела и превратилась в плесень трава: ей, наверное, было мало воздуха и света, и она вся истомилась в неволе, не смогла пробиться сквозь жестокое дерево и поникла, потянулась по земле вялыми, бессильными нитями.

— Ну что ж ты, Геля, уж и взглянуть не хочешь, а? — женским чутьем уловив его состояние, кокетничая, сказала Талька.

— Да не, я так, — Геля каменно поднял голову и криво усмехнулся, сдерживая странную дрожь в голосе и вглядываясь в усталое и незнакомое лицо, и совсем осмелел, когда в темной глубине глаз увидел растерянность и мольбу. И окончательно изгнав из памяти прежнюю Тальку, он спросил холодно и равнодушно, почти жестоко:

— Как же это тебя дернуло, а?

— А бог его знает, как-то само собой склеилось, а теперь живу, — поняла Талька, о чем идет речь, и улыбка умерла на ее лице. — Хорошо живу, все есть— дом, муж, дети. Чего еще надо бабе?..Ну а ты-то как?— добавила она, ожесточаясь и снова обежав Гелю проницательным взглядом; и не скрылись от нее ни его усталые глаза, ни коричневые пятна на остро проступивших скулах, ни обтерханные простудные губы, ни тонкая шея с крутым кадыком, ни застиранный ворот полотняной рубахи и мятые брюки с пузырями на коленях. Все заметила Талька и поняла Гелино положение, и душа ее наполнилась плохо скрываемым торжеством и превосходством. А Геля промолчал на вопрос, и она снова спросила, уже раздражаясь:

— Ну а ты-то как поживаешь? Уже и говорить не хочешь?

— Да нет, отчего же. Живу помаленьку...

— Говорят, процветаешь. В художниках ходишь.

Женился?.. — Талька уже почти ненавидела Гелю и говорила, открыто смеясь: — А я-то, дура, по нему сохла, исстрадалась вся. А он, видишь ли, сбежал и через тринадцать лет нос показал.

Геля, безразлично пропуская мимо ушей издевку, подумал: «Дура, ну и дура же! Как хорошо, что не связался тогда». Но вслух сказал, боком обходя Тальку и тихо подвигаясь ко крыльцу:

— Ты извини. Знаешь, у нас дядя Кроня в гостях. А ему сегодня уезжать.

— В гости заходи. Ведь теперь ты мне свояком приходишься. Слышь, заходи в гости-то. Поговорим чего ли за жизнь, — вдруг пригласила Талька, и в ее опустевших черемуховых глазах мелькнула растерянность. Геля на мгновение тоже будто споткнулся на крыльце, остановился, неопределенно пожал плечами, не зная, что сказать в ответ и чувствуя в душе виноватость и жалость к Тальке.

А дома Гельку действительно ждали за накрытым столом, и мать не раз подскакивала к окну, выглядывая сына, а когда заявился он, ворчливо сказала, неприятно кривя губы:

— Мог бы и вообще не являться...

— Ты чего? —сразу еще не понял Геля, потому что мысленно он не расстался с Талькой, и вроде что-то ей рассказывал, и в чем-то оправдывал себя.

— Зачевокал. Ему говорят — дядя Кроня ждет, а он, вишь ли, будто времени другого найти не мог.

— Ну ладно, ладно ты, — смущенно отмахнулся дядя Кроня. — Наливай что есть, да на автобус пора собираться.

Мать сразу посмурнела, дольные морщины легли на щеках, и веки покраснели. Она напряженно и скучно замолчала, выдерживая характер, и также молча расставила тарелки, и сама села за стол, не притрагиваясь к еде.

— Ну будет, будет, Лиза, — участливо погладил Кроня Солдатов сестрину морщинистую руку в мелких веснушках. — Ты дай душе-то отдох, Лизавета. Ты освободи ее от досады.

— Хорошо вам говорить. Кому-то всю жизнь одно счастье валом валит и деньги к деньгам прут. А мы-то, бедны вдовы, бабы-колотухи, почему именно мы долж-

ны страдать? За что на нас такое страдание, прокаженные мы иль неразумные вовсе? Ведь жизнь прожили, а счастья не видали. Как выжили, ума не приложу, както детей на ноги поставили да образование дали. Дак пошто нас нынче никто не замечает, ни в грош не ставят? Значит, силу всю положил — и с глаз долой, сиди в уголке, жуй сухари и не пенькай? Где мое счастье-то, Кронюшка? С тринадцати лет в работе, с тридцати — во вдовах...

— Ну зачем так-то, зачем? Не одна ты, много таких с войны пооставалось, — досадливо поморщился дядя Кроня, отодвинув в сторону ложку.

Геля тоже не ел, глядя в окно с белыми залысинами на мутном стекле на блеклое невзрачное небо, сидел, распахнув до пупа рубашку, и тоскливо думал: «Господи, ну как тут жить?» Но он молчал, зная, что мать не остановить, и возражать ей не хотел — как бы не ударилась в слезы, — и потому ждал, когда она выговорится. Геля понимал, что мать говорит правду, и чем чаще это повторялось, тем было невыносимее, потому что ее правда касалась и Гели, мол, он-то вырос и остальные пятеро выросли — мать им все силы отдала, так почему же они не могут осчастливить ее хотя бы в последние годы? А Геля, страдая всем своим существом, мог только досадливо морщиться, ведь он и сам в тридцать лет был неприютен и одинок, и слова матери оставляли в его душе глубокие болезненные следы.

— Муж-от мой погиб не от пьянки какой, а защищая отечество, так почему же я-то должна страдать? Мне наплевать на других, мою боль чужою болью не утишить. Почему общество не позаботится обо мне, чтобы я хоть в остатние годы забот не знала, не жила в эдаком закутке? Почему всем наплевать на меня? Отпихнулись пензией в двадцать рублей, а муж-то голову за общество положил, чтобы нынешним хорошо жилось. А я всю-то жизнь в работу упихала и здоровье на ней утеряла. Шестерых на ноги подняла... Как я выжила только?..

КАК ОНА ВЫЖИЛА?

— Это в пятьдесят третьем и приключилось со мной. Знатье бы где падать, дак травки бы положила, чтобы мягше было. Дойка-то летось за ручьем была, на островах, туда попадать надо, но как назло кой-то черт быка приволок на перевоз: стоит в воды, ревет, рогами воздух так и секет, наверное, овода досаждали. Женки боятся к воде подойти, жмутся на берегу, а на островах коровушки плачут — молоко поджимает в титьках. Ну, меня будто кто и сунул вперед. Пошла я да быка-атамана кышнула вицей, стеганула его хворостиной. А он озлился вдруг да рогом-то мне два ребра грудных и сломал. Хотел и копытами меня мячкнуть — груди-то насквозь бы ссадило, — да ноги у него, видать, оскользнули, промашку он дал. Вот и стоит надо мной, ревет и слюну пускает. А потом как начал меня катать, места живого на мне не оставил, рубаху, ситцево платьишко в клочья присадил. А я уж, господи, ни жива ни мертва, одна мысль-от в голове: хоть бы не насмерть, как там дети без меня — совсем пропадут.

А бабы стоят в стороне, ревут да только приговаривают: «Осподи, Лизавету-то бык бодат! Хорошо, бригадир привелся — мужик посмелее, схватил жердину, да побежал, да хотел быку по носу звездануть, да бык-то голову вызнял вверх, жердина возьми и оскользни— да мне по лицу, так чисто все и содрал. Бык посмотрел на мое лицо, и, верно, испуг его взял — как бросится бежать, а я лежу в кровищи, и места на мне живого нету. Бабы-ти подбежали, «ох» да «ох», «какова ты, Лизавета!», а я еще поднимаюсь и говорю, мол, ничего, хороша—я тогды порато здоровуща была. Говорят, может, в Слободу отвезти, а я рукой махнула: «Полноте, бабоньки, ерунду молоть, ведите свое дело, вон коровы ревут, доить надобно, а я как ли сама до Слободы доплетусь». Иду я, будто сама не своя, кровь из меня хлещет, как из скотины худой, иду нагишом, только ремки на титьки натягиваю, чтобы от стыда да срама прикрыться. И до дому дошла, а в груди только хык да хык, уж вздохнуть не могла толком и не знала, кто около, — все будто в мокром тумане. Лежу пластиной дохлой, рукой-ногой шевельнуть не могу, будто вся сила из меня разом и вытекла, как через порог я ступила.

Чую, что-то спрашивают, а я и словечушка сказать не могу, только слышу, как шепчут на ухо: «Помират, Лизка-то...»

Потом и в больницу отвезли. Сколько там провалялась, не месяц ли, а уж дома меня Гелюшка на ноги поставил. Совсем худа я тогда была. Не он бы, дак не жить мне. — И мать, словно бы споткнулась, худенькой шершавой ладошкой вдруг погладила Гелину руку, лицом уткнулась ему в плечо и коротко, будто всхлипывая, рассмеялась: — Спаситель ты мой!

— Ну вот, а ты все хулишь парня, — тоже засмеялся дядя Кроня облегченно.

— А которо спуста на него наговариваю, — согласилась мать.

— Это ты можешь, — размягчаясь и быстро добрея к матери, где-то душой понимая, как любит ее, сказал Геля. — Наговоришь всегда бочку арестантов.

— Нет-нет, я на тебя не похулю. Спас ты меня тогда, Гелюшка. Ведь и сам-то робенок совсем был.

— Да уж «ребенок», тринадцать лет было, — почему-то краснея, возразил Геля, и уголки губ горько посунулись вниз.

...Тогда он уже один остался при матери, остальные как-то незаметно разъехались по городам, жили в общежитиях и в редких полудетских письмах осторожно намекали на безденежье. Кажется, в тот день Геля занимался какими-то пустяками, вроде бы планер строил, когда мать неожиданно переступила порог и тут же повалилась на пол, стеная и всхрапывая, и подле нее стала быстро копиться кровь. Гелька засуетился около, не зная как поступить и что предпринять, пробовал затащить мать на кровать, что-то спрашивал ее. Потом откуда-то взялись женщины, захлопотали, заохали, завсплескивали руками, загремели тазами и ведрами, вытолкнули парнишку за дверь, чтобы не смотрел на материну наготу — ведь уж большой совсем, — а бежал в больницу за врачом. И Гелька отупело бежал по мосткам на другой конец Слободы, совсем не оберегаясь и чувствуя, как занозы шершавых половиц втыкаются в задубелые ступни; он торопился и, наверное, беззвучно плакал, потому что глаза были замыты тусклым туманом. «Мамочка, ты только ради бога не умирай...» — повторял Геля.

Мать провалялась в больнице больше месяца, и Гелька каждый день бегал под окна и кричал в форточку, что живет хорошо, не голодает, дома порядок, мать, наверное, не верила, потому что все качала головой, улыбалась истомленным лицом и молчала, теребя халат.

Мать вернулась домой вся издерганная, у нее что-то случилось с нервами, и она часто плакала около умывальника, плескала на лицо водой и снова плакала, потом ложилась на кровать и молчала, отвернувшись к стенке. А Гелька топил печь, варил еду, мыл полы, а когда матери становилось совсем плохо, раздевал ее донага и натирал едкой мазью из узких стеклянных банок, запах которой постоянно жил в комнате.

Первое время он стыдился матери, а она капризничала, раздраженно ругалась и просила поторопиться— у нее нестерпимо зудела спина и плохо зарастающие на ногах рубцы с лиловыми отеками, —и Гелька растирал и покалеченную спину, и повитые набухшими венами ноги, густо краснея и отворачиваясь от наготы: ведь ему было тринадцать лет и он становился мужчиной. Потом Гелька как-то свыкся со своими дополнительными обязанностями, как врач привыкает к неприятным подробностям своего ремесла, да и очень уж жалел мать, готовый расстелиться перед нею. А едкий запах лекарств преследовал его еще долго, и постоянно хотелось спать. Боже мой, как тогда хотелось ему спать! И он научился дремать в школе с открытыми глазами.

...От воспоминаний Гелю отвлекла мать: она сидела подперев голову руками, мерно покачивалась и, не сводя ласкающих глаз с сына, говорила робко и чуть заискивающе, и эта просительная нотка в ее голосе вызволила Гелю из раздумий и снова заставила напрячься его душу, потому что он уже знал, что скажет сейчас мать. Он не ошибся и, услыхав только первые слова, отвернулся к окну.

— Только у Гели жить буду. Правда, Гелюшка? Мне почему-то кажется, что я у Гели буду последние дни доживать. Ведь он у меня добрый. Шучу, шучу, — засмеялась она неискренне, расслышав материнским чутьем тягостное сыновнее молчание. — Никому не нужна я, старая, и никуда не поеду, тут и помирать буду,

только схоронить хоть приезжайте... Ой, Кронюшка, давно ли я экой малехонькой из лесу бежала да едва не замерзла, почти голехонька была, а меня как дезертира искали всюду. Будто ночку одну выспала, столь быстро жизнь прокатилась. Будто рюмочку одну пригубила.

— Да чего там... Я перво-то время каждую ночь войну видел, а нынче и вовсе ее стал забывать. Уж редко когда чего вспомню, будто и не со мной эка беда случилась.

10

Под Кронин мат ушел Понтонер с мужичьих посиделок и сразу на заулке в работу ударился: думал забыться в делах и лишку не расстраиваться. Но топор отчего-то увязал в сырой елине или соскальзывал звонко, норовя тесануть по ноге. Нет, заколодило работу, тошной стала, да еще солнце калит, хоть бы с утра отдых дало, даже вздохнуть толком нечем. И Федор с досады оседлал бревно, как покорную лошадь, и прислушался напряженной спиной, что делается там, на крыльце.

— Я в плену не скрывался, — бунчал он будто самому себе, но нарочно громко, чтобы расслышали на крыльце. — Нет, Федор Чудинов честь свою не запятнал и в плену не скрывался, как некоторые. Мне нечего таить, я, можно сказать, на одном духу от смерти ушел.

Но сзади всхлопала дверь — и все стихло, а Федор Понтонер, забыв о солнце и радиации, которая пронизывает насквозь, стянул с головы пропотевший колпак и стал помахивать им перед лицом, возбуждая прохладу...

«Нет-нет, вы подумайте только, какие сволочные люди на свете есть: и сами не живут, и другим мешают—и сам не ам и людям не дам. Для них наизнанку выкручиваешься, только бы с добром к ним, а они яму норовят поглубже вырыть да спихнуть со всеми потрохами, чтобы не поднялся человек, не пикнул, не крикнул о помощи, а земельку-то разровнять, растереть и сверху плюнуть. Сволочь, глядит, будто я тысячу рублей у него занял и не отдал. Откуда знать мне было, что живой он, на лбу ведь не написано. А может, и не Кронь-

ка тогда был, тот-то уж вовсе дохлый лежал, а кабы он случился, давно бы накастил, с навозом давно бы смешал. Смотри, глазами-то как наворачивает, сволочь, глазами так и ест. А я ему ничего не должен, я жизни своей для Родины не пожалел, и недаром меня орденом отметили, ордена зря не дают, их кровью нужно было заработать...

Кабы Степка Жвакин был, он бы не дал соврать, честнейший человек. Эх, Степка, Степка, Жвакин Степан, душа твоя детская и глупая: кой черт тебя поманил винтовку-то к кустышку приткнуть? Еще и наговаривал: «Если случай подвернется, так прихвачу, а ты, Федька, если особист спросит, сообщи, что снарядом ее бабахнуло и непригодна она для пользования стала». А я разве могу соврать, да я никогда и врать-то не умел. До своих добирались — одна дума была, как бы из памяти не выпасть; лежу, а руками-то подгребаюсь, как веслами, сколько могу помогаю Степке, аж локти до костей сжег. Лежу, а на уме одно: не оставь! Все прошли: и ничейную полосу, и минные поля, и перекрестную стрельбу, а особиста не прошел Степа Жвакин, споткнулся на нем, даже слова грамотного сказать не мог.

Меня-то — в медсанбат: совсем плох был, ноги хоть отрубай напрочь, ноют и ноют. Особист приходил, допрашивал, поначалу орал: судить, мол, вас надо, устав военный нарушили, какие вы к хрену вояки, если винтовки побросали. Когда он кричал, страшновато было, а потом притерпелся и подумал даже: «Реви-реви, если глотка луженая, ни черта ты мне не сделаешь, нет таких прав, чтобы обезножевшего солдата карать». Тот, видно, поняв свою неделикатность, устыдился, притих, выспрашивать стал, где шли да каким путем, знать, проверял, гад, не шпионы ли мы. И тут я будто с другого света пришел, все припомнилось вдруг: где у немцев танки, да сколько их, да какие машины видел, да каким путем шли... Орден обещал, наверное, за сообразительность... Эх, если бы не контузия, да разве бы я тут, да разве бы эдак жил, тьфу, нечисть!.. А про винтовку соврать не мог, как на духу и выложил, что предупреждал Жвакина: не поступай так, без оружия солдату не дозволено — ведь не послушался, поставил у куста, потом, мол, заберу, ничего с ней не случится...

И забрили Степку в штрафники, и будто в воду канул парень — ни слуху ни духу, да мало ли тогда пало людей — как траву, косили..

А может, и жив ты, Степан Жвакин, гробы строгаешь потихоньку, людей подальше прячешь, но до Вологды не добрался, нет, не добрался, потому как узнавал я, нет на Вологде гробовщика Степана Жвакина, знать, где-то в ином месте осел: Россия-то вон как велика — в ней, как в воде, поди сыщи. А если и жив ты, так на меня обиду не клади, на меня обиду свою не наваливай, ведь не мог я тогда схитрить, ей-богу, не мог против совести пойти, вроде бы пустяк, а не мог. Как на духу выложил, что сунул Степан Жвакин винтовочку под кустик. «Потом, как случай приведется, заберу, а не заберу, так не велико и дело. Винтовка-то не пушка и не танк, ведь вон сколько всякого добра поооставлено — хоть железную гору из него отливай, а кто наказан? Да никто не наказан, потому как все, кто мог спросить за это, в земле лежат, кровью своей залились», — вот так и сказал, а я что мог с ним посудить, если плахой еловой лежал и язык-то едва держал во рту?..

Ой, Федя Чудинов, не то вроде бы вспоминаешь и вроде бы ерничаешь, языком вертишь — значит, не теми словами говоришь, какими привык объясняться толково и кругло. Что же с тобой приключилось, Федор Чудинов? Какой-то весь размягченный ты, вроде бы тебя насквозь пропекло солнцем и в самую пору сейчас повалиться тебе и больше не встать, уж в таком ты распаренном состоянии, что просто беда, что просто хоть на кровати разложи совсем голехоньким и квасом свежим заливай...»

У Феди Понтонера кружилась голова, может, со вчерашней занудной ссоры иль оттого, что сын потом всю ночь не спал, расхныкался: ему бы грудь надо, а Талька, будто пропащая колодина, завалилась к стенке и ни разу за ночь не вскочила, мол, твой выдолбыш, сам и вставай, сам и выхаживай, а я пальцем не притронусь. До утра ребенка на руках выносил, готов был Тальке голову отсадить напрочь, чтобы не куражилась, стерва, — ведь так и не встала... А может, солнце тому виной, что так невозможно кружится голова, и руки-то не поднять. Хоть бы крошечный дождик посеялся.

С такими мыслями Федор Понтонер направился к дому. Талька бродила по кухне молча, воротя нос в сторону, облупленные шлепанцы стучали по половицам гулко и зло, и вся она была настроена враждебно и непримиримо. Все так же молча поставила хлебницу, манную кашу, сама пристыла у буфета, словно ожидая, когда лучше начать ссору.

— Говорено сто раз было: закрывай ведра, когда из столовой идешь. Теперь каждая сволочь куском попрекнуть может, — раздраженно сказал Федя Понтонер, лениво размазывая кашу по стенкам тарелки, есть не хотелось, а тянуло прилечь где-нибудь в тенечке и пару часов придавить.

— Да замолчи ты, надоел хуже горькой редьки! — огрызнулась Талька: вывел вчера этот дьявол из себя, всю душу начисто вывернул, и сейчас даже смотреть было тошно на его постное лицо. — Как баба, пилишь, пилишь... Зануда лешова!

Она подхватила ребенка на руки и ушла в горницу, там быстро забродила из угла в угол, укачивая сына, и пол прогибался и кряхтел под ее телом. Талька потерянно морщилась: почему-то Гелька не шел из ума. Представила его испуганные глаза на худом порыжелом лице и подумала, что с ним она, пожалуй, ужилась бы. Зачем только Шурка тогда подвернулся?.. Поизмывался, кат, силу свою показал — и сейчас тело от его тумаков стонет. Думал, что так просто ее взять, можно сесть ей на шею да подгонять. На-ко выкуси, похлебай казенных щей! Небось присмиреешь, лишнюю дурь там выбьют...

Да и с Гелькой, пожалуй, пустое дело — уж слишком не ушлый он, рыба он.

В комнату, высоко подымая босые ноги, вошел Федор, стал посреди горницы и хотел на Тальку прикрикнуть, но, рассмотрев ее, суровую и непримиримую, осекся.

— Ты все молчишь, ну-ну... А зря, я ведь по совести живу, я худа никому не сделал, чужой копейки не присушил. Да разве тебе это понять?

— Да уж куда мне, темной-неразвитой,— откликнулась Талька, встряхивая плечами и чуть приседая,— наверное, доставала грудь. — Ой ты, гулюшка, ой ты, чадушко мое неразумное. Темные мы с тобой, мещане

слободские. Вот как нас нынче отец-то обзывает, имя-фамилию человеческие совсем забыл. А как в мужья подкатывался, так только на коленях разве и не стоял. У, зануда, иди давай, чего ли делай. Не стой над душой моею, всю ведь выпил.

— У тебя выпьешь, вон расперло. Сама себя шире...

— Да как не выпил-то, Федя! — вдруг засмеялась Талька. — Словно комар надо мной вьешься, зудишь и зудишь.

— Да ну тебя, — отмахнулся Понтонер, не принимая примирения. Он думал прилечь на часок, но понял, что Талька спокоя не даст, на ровном месте дырку выдолбит, пока муж на глазах.

— Во, тебе бы обзываться только. На это ты сам не свой. А парню белья на перемывку нет. Куда деньги копишь? Все вы, Чудиновы, такие, и дедко прохиндей был, все знали, какой прохиндей, все только на старое время и смотрел.

— Ну ты и дура! Ей-богу, как из темного леса вчера выскочила, — устало махнул рукой Понтонер, пошел на кухню, снял с гвоздя ватный колпак, еще потоптался у порога, крикнул в горницу: — Приди, помоги бревно спустить!

Для погреба нужен был последний стояк, он еще лежал на заулке, истый боров, желтый на свежих затесах, от него пахло сосновой смолкой, и янтарные катыши-бородавки проступали у разбежистых сучков. Понтонер машинально сколупнул разросшимся, почти железным ногтем прозрачную толстую слезу и, как бывало в детстве, положил на язык, пробуя ароматную свежую горечь и с трудом, до ломоты в скулах выдирая зубы из вязкой серы.

— Фу ты, ну и горечь! Как только эту дрянь в детстве жевали? — вслух подумал Понтонер, и маленькая радость сразу потухла, едва успев народиться. — Вот сколь глупы были. — И он залез большим пальцем в рот и стал сковыривать серу с зубов, а она липла к ладоням и оставалась в морщинах и трещинах кожи серой въедчивой грязью. Понтонер еще поплевал, заарканил бревно веревкой, поднатужился, оскальзываясь калошами на выгоревшей траве, побуровил пятками землю и, всем телом клонясь вперед, сумел сделать первый шаг, самый трудный крохотный шажок, а потом, перегнув-

шись в пояснице почти пополам и порой касаясь рукой земли, побрел двором, цветущим огородом, и толстое смолевое дерево оставляло за собою серую пыльную рану.

Талька все не приходила, и Понтонер, расслабленно хукая грудью, спустился в погреб, в сумрачную прохладу, потоптался на дне, оглаживая ладонью шероховатые стояки, словно пробуя их крепость, потом открыл маленькую дверку в подземный схорон и повалился на скамейку, подложив под голову колпак. Здесь было совсем прохладно, пахло сыростью, прелой землей и легким тленом, который источали запревшие доски, уже хваченные плесенью. Но эти запахи Понтонеру были приятны, он как бы отдыхал телом и душой, улыбаясь совсем по-детски, вздыхая облегченно и ворочаясь на жесткой скамейке. Все же лежать было неудобно, но зато сидеть совсем хорошо («Как хорошо сидеть-то, боже ты мой!»), вытянув ноги и ощущая лопатками надежную крепость стены. Никто тебе не мешает, никто не гудит над самым ухом, и тишина благословенная.

Но и сидеть почему-то тоже быстро надоело. Понтонер зашел в нужничок —по всем санитарным правилам оборудован, — в кладовку заглянул, зажег свечу и пробежался взглядом по еще пустым пыльным полкам и подумал, что даже здесь, глубоко под землей, откуда-то берется пыль. Но желанное успокоение от всего увиденного не приходило, а вроде бы какое-то беспокойство незаметно подтачивало душу, и непонятное возбуждение тихо вливалось в разум и не давало усталому телу покоя. Надо было двигаться, что-то делать или просто ходить бесцельно. Понтонер огляделся: показалось ему, что в сумрачном углу, который с трудом доставали тусклые отблески дневного света, кто-то сидит и наблюдает за ним; враждебные шорохи слышались отовсюду, словно земля дышала, потея и задыхаясь от дневной жары. Вместо успокоения пришел глухой страх, и Понтонер сам себе показался маленьким и увядающим, заживо захороненным в могильном склепе. Он почувствовал мертвую невыносимую тяжесть земли, которую он уже однажды в войну испытал, когда все его тело было наполнено холодом и страхом, и сейчас Федору почудилось, как трещат, подламываясь, стояки, сочится сквозь

доски и накаты песок. И мужик бросился из убежища прочь: сначала — в вертикальный колодец, потом по веревочной лестнице, часто обрываясь, поднялся наверх и упал на траву, все еще в своем болезненном воображении переживая, как течет на него земля и засыпает ноги, спину, грудь, вливается в рот и наглухо душит, Понтонер услышал даже, как немеют ноги и сердце едва ворочается внутри, неожиданно и больно подскакивая.

И в какой-то миг безудержного страха ему захотелось, чтобы годы повернули вспять, чтобы Федор Понтонер стал просто Федькой Чудиновым, заводилой околотка, мечтающим стать генералом, а этот бункер — всего лишь ребяческой забавой.

— Чего разлегся — простудиться хочешь? — неожиданно окликнула жена. Понтонер раскрыл глаза, еще плохо соображая, где он, и увидел повитые синими венами толстые ноги, будто жеваный, подол платья — и глухое раздражение, почти ненависть вновь проснулось в душе, и он внезапно поймал себя на мысли, что с удовольствием бы увидел Тальку мертвой. А жена все топталась над ним недовольно. — Вставай давай. Простудишься еще, а потом пенькайся с тобой. Да и некогда мне тут прохлаждаться.

Понтонер молча встал и с неохотой, качаясь у песчаной стенки, стал спускаться по веревочной лестнице, цепко хватаясь за перекладины. Нужно было подготовить для стояка основание, и Федор стал выбирать лопатой грунт, низко клонясь лицом, и кровь горячо прилилась к вискам. Сверху тоненькой струйкой сыпался песок, он попадал за шиворот, неприятно оседая на коже, лез в рот и скрипел на зубах. Понтонер иногда разгибался и видел над собой Тальку, ее широкие босые ступни, которые даже отсюда казались непомерно растоптанными. Талька будто случайно ногой пихала песок вниз и, наклонясь над ямой, смотрела на мужа черными блестящими глазами. Федор порой кричал Тальке, внутренне одергивая себя: «Эй, ты, ну хватит тебе! Лучше помоги».

Но какое-то странное желание владело женой: она холодно улыбалась одними губами и, словно бы распаляя Понтонера, все подгребала босыми ногами песок и сталкивала его вниз.

— Перестань! Чего разбаловалась? Смерти моей захотела, корова? — раздраженно одернул ее Понтонер, вглядываясь в Талькино лицо и ненавидя его.

— А ты не кричи, ты голос не повышай. Нашелся тоже мне командир, — невольно пугаясь в душе его темного голоса, ответила Талька и, отодвигаясь от ямы, может, случайно тронула пяткой песчаную кромку.

— Ну сволота, я тебе сейчас покажу командира! — глухо растравляя себя, шептал Понтонер, вылезая из колодца, а Талька стояла на коленях у ямы и удивленно и тупо смотрела на коричневый колпак мужа, на его обветренные, распяленные лестницей ладони, все вглядывалась вниз, словно разгадывала у рождественского колодца судьбу свою, и не могла стронуться с места.

Ей бы сейчас вскочить да бежать межой подальше от греха, больно запинаясь пальцами о сухие комья глины, внутренне вздрагивать и охать, слыша догоняющее нетерпеливое дыхание, а потом запереться в задней горенке и не пускать к себе злодея, а вечером, будто между прочим, выйти и даже повыхаживаться над своим дедкой-старичишкой. А она вот стояла на коленях, словно не в силах была подняться с земли, и затравленно глядела, как кряхтя вылезает из колодца муж, как неторопливо стряхивает с колен мучнистую пыль, как что-то пугающее говорит ей и грозит пальцем, а потом идет обочь ямы, высоко поднимая ноги.

— Я покажу тебе, как выхаживаться над мужем, — тихо бормотал Понтонер, забывая все цветистые слова и свое деликатное обхождение: дикая кровь проснулась в нем и забурлила, да и кого ему тут было остерегаться? И Федор пошел на жену, мстительно, до ноющей боли в скулах сжимая зубы. Не давая Тальке подняться, он неожиданно по-футбольному пнул ее ногой в лицо, в растерянно жалобную улыбку и пустые захолодевшие глаза, и жена неряшливо опрокинулась на спину, словно поскользнулась на гололеде, а Понтонер стал пинать Тальку в живот, и в спину, и в бока, куда нога успевала. И, теряя сознание, Талька закричала гаснущим голосом:

— Он ведь убьет меня!..

11

— Хоть вы-то, Кронюшка, хорошо живете. По-зряшному не ссоритесь, уступаете друг другу, — говорила Лизавета Чудинова брату, оглаживая его плечи и стряхивая с него невидимые соринки. А Геля все стоял на мостках и не мог дождаться, когда дядя и мать спустятся с крыльца: за столом неожиданно засиделись — теплое расположение нашло вдруг на всех — и о времени забыли, хорошо Геля вспомнил, и сразу заторопились, дядя Кроня лаковые туфли, морщась, натянул, дерматиновую сумку вытащил из-за кровати, чуть ли не бегом выскочили на крыльцо и вот... застряли.

— Ну чего вы там? — торопил Геля, поглядывая на часы.

— Ты помолчи, зачевокал. В кои-то веки раз увиделись, — откликнулась мать, еще раз порывисто обнимая брата и тыкаясь носом в его колючую щеку. — Как ерш какой. Откуда у вас, у мужчин, щетина-то такая лезет? — сказала она, любовно окидывая взглядом его загорелое лицо.

— А неужели провожать меня не пойдешь?

— Да ладно, идите одни, чего мне там делать? Замнут еще у автобуса... Ой, что это? Не иначе как на огородах кто ревит...

Гелька тоже услыхал гаснущий крик и сразу узнал Талькин голос. Посторонняя сила сорвала его с места и заставила забыть и про дядю Кроню и про скорый автобус, и, запинаясь о гряды, путаясь в картофельной ботве, задышливо всхлипывая несильной грудью, Геля побежал к высокой загородке, где, казалось, выколачивали мучные мешки, он словно бы уже представлял, что там сейчас увидит... Дверца была открыта, и Геля сразу охватил взглядом и ровный квадрат колодца, и песчаный холм, обтянутый с краев густыми лопухами, и узкую спину Понтонера, который устало бил Тальку ногой, а Талькино лицо было скрыто за Понтонером, и только распухшие ноги безвольно и беспомощно разметались на песке и изредка вздрагивали, да было слышно, как женщина гулко икала всем нутром после каждого тычка.

Геля какое-то мгновение смотрел на Понтонера, и чувство собственной внезапной беспомощности было

куда сильнее его ненависти. Он еще топтался позади, робко окликая:

— Эй ты, ты чего, а? — И Федор, расслышав сзади неожиданный глухой голос, оторопел поначалу, забыв пинать Тальку, и обернулся к племяннику, пяля выгоревшие от злости глаза.

— А тебе чего тут нужно?А ну уваливай отсюда! — закричал Понтонер, возбужденно и бессмысленно размахивая руками, и попытался даже ударить Гелю, но тот отшатнулся к загородке, и кулак прошелся мимо, едва скользнув по носу. И что-то качнулось в Гелиной душе, словно внезапно закрыли в горле доступ воздуху, так стало душно ему от ненависти, которая, оказывается, таилась в нем, желая освобождения еще с той минуты, когда его, семилетнего, вывел дядя на мостки, бросил под ноги узелок с одежонкой и сказал: «Теперь, Гелька, ты нам не нужон, лишний ты нам».

Оказывается, только душа не хранит зла, потому что иначе не выдержать ей постоянного накала, но в уголках человеческой памяти живут, чуть тлея, все горести и боли, живут, ожидая своего часа. А может, и не вспомнил тогда Геля прошлой обиды, всего вернее, что не вспомнил — она всплывет после как оправдание случившегося, но только в Федоре Понтонере он увидал вдруг самое первое зло, от которого и пошли в его жизни все несчастья. Эта мысль туманно скользнула в распаленном сознании, и худенькое лицо дяди с его темными кротовьими глазами стало невыносимо Геле, и он даже забыл, что на песке, гулко икая и некрасиво разбросав толстые ноги, лежит Талька. Глядя в кротовьи глаза, неловко и неумело замахнувшись, он ударил по ним...

Он никогда и никого не бил, и тычок получился до обидного несильным. У Гели даже заныли зубы от той нерастраченной силы, которая не вошла в его удар. Понтонер отшатнулся — кровь ударила из носа, и растерянно вытирая ее и пятясь назад, он неожиданно споткнулся о Талькины ноги и упал на спину почти рядом с ней, а когда попытался встать, что-то неразборчиво крича, новый, уже хлесткий удар с плеча—на этот раз в ухо — положил его на землю.

— Вот тебе, падла! — тоже кричал Геля, выбирая самые обидные слова и неловко суетясь около, чтобы

снова достать дядю кулаком, но тут в загородку ворвалась мать, а за нею и дядя Кроня. Мать повисла на Гелиной руке и крикнула растерянно:

— Геля, опомнись, сыночек! Осподи, ну зачем же так-то? — Оставив сына, она метнулась к Понтонеру и, силясь приподнять Федора с земли, содрала с его головы колпак, вытерла им кровь с лица и все повторяла: — Но зачем же так-то? Осподи, люди же вы или кто?.. — Тальки она словно бы не замечала.

— А как можно, а? Скажи, как можно-то? — машинально и безразлично спросил Геля, уже остывая и пустея душой: словно бы сила вытекла из его тела по капельке — такую он чувствовал в себе слабость. И только дядя Кроня, с трудом отрываясь от лица Понтонера, от его выпуклых гнедых глаз с круто загнутыми ресницами, сказал, взглянув на часы:

— Ну, тюх-тюлюх, я пошел, а то на автобус опоздаю. — И он еще раз через плечо взглянул на Понтонера, унося в себе внезапно вспыхнувшие полузабытые ощущения. А Лизавета Чудинова, отпустив Федора, не удержалась и сказала:

— Ну и поделом тебе, — и поспешила следом за братом и сыном. А Понтонер, словно бы очнувшись, закричал вслед:

— Сволочи! Думаете, помру? Я еще вас переживу, я долго жить буду. Я долго буду жить!

— Дурной какой-то, — глухо сказала мать. — Поизмывается он еще надо мной, видит бог, поизмывается.— И она суеверно оглянулась.

— Я ему тогда все зубы выколочу, — хрипло откликнулся Геля, слыша, как всего его заполняет мелкая противная дрожь.

— Помолчал бы хоть, герой тоже. Вам бы только кулаки распускать. Дядю родного — в лицо... — внешне сурово оборвала мать, чувствуя в душе успокоение. И она еще плотнее придвинулась к брату, обняла его за поясницу и впервые в жизни прошлась с ним по пыльной жаркой улице до голубенького раскаленного автобуса с забитыми фанерой окнами, до потных взбудораженных людей, которые, разгорячась, лезли в узкую щель машины.

— Ты не пехайся, Кронюшка, тридцать километров и на ногах выстоишь, зато меньше трясти будет. — Она

обняла его за жилистую бронзовую шею, пригнула к себе, потерлась щекой о братнево колючее лицо и сказала вдруг, наливаясь неожиданными слезами:

— Кронюшка, брательник, давай как ли поближе быть друг к другу. Давай породнее быть, ладно?

Лизавета Чудинова всхлипнула, ее курносый маленький носик жалобно шмурыгнул, и все невольно засмеялись, и она, оглянувшись, тоже улыбнулась, а потом засмеялась дребезжаще, быстро обсыхая и светлея лицом.

— Ну поди давай, поди. Останешься еще от автобуса, — подтолкнула она брата, и Кроня Солдатов, дружески хлопнув племянника по плечу, крикнул:

— Приедь как ли, не забывай Снопу! — и сунулся на последнюю ступешку автобуса, дверка с хрипотцой вздрогнула, показалась толстая блестящяя палка рычага и вдавила дядю Кроню в переполненную душную утробу. Еще из-за фанер, упруго отгибая их, тянулись руки и прощально махали, мелькали что-то кричавшие рты... Потом пыль занавесила автобус, и он лихо покатил, встряхиваясь, и еще долго видно было всем оставшимся, как, зажатая дверью, дергается дядикронина дерматиновая сумка, которую он безуспешно пытался втащить внутрь.

А Геле вдруг стало так одиноко, что он готов был заплакать. Не дожидаясь матери, он пошел угором домой, почему-то замедляя шаги и все ожидая увидеть Понтонера, злого и с топором в руках. Мать догнала его около калитки, и, видно, неясный страх сына передался ей, потому что она неожиданно сказала:

— Ну зачем ты, Геля, его так? Он ведь мстить начнет. — Но Геля смолчал, только нервно шевельнул плечом, узкими сенями прошел в комнату и встал столбом посреди нее, словно бы недоумевая, почему он здесь; потом так же потерянно, растирая ушибленные козанки пальцев, сел за стол. Он слышал, как наплывает, скапливается в его душе неотвратимое чувство одиночества, и, закрывая лицо ладонями, вдруг спросил с болью в голосе:

— Мама, почему я такой урод?

Мать не уловила, о чем сказал сын, но в его голосе расслышала что-то знакомое своему состоянию, пережитому ранее, потому сразу напряглась душой, даже

внутренне испугалась и стала торопливо подыскивать единственные материнские слова, которые могли бы утешить его.

— Все ладом будет, все хорошо, сыночек мой, милый ты мой мальчик. — И ее ладонь робко зависла над головой сына, словно мать не решалась погладить его.

12

Мать возилась на заулке, прикладывала в поленницу дрова; в окно Геле видно было, как она останавливалась, словно бы в изумлении, и, щурясь, всматривалась в вечереющее солнце, что-то отыскивая в нем, и смутная добрая улыбка блуждала по ее лицу. Мать была в одном легком сарафанчике и из окна казалась девчонкой, кукольно легкой, сотканной из прозрачного солнечного материала. Вдруг она вздрогнула, встала в тень поленницы, словно бы спряталась от солнца, и сразу оделась в густые вечереющие сумерки, постарела лет на сорок. На задворках раздались крики, там, наверное, снова начиналась война: что-то бубнил Федя Понтонер, не сказавший за всю свою жизнь ни одного громкого слова, но сейчас в его голосе сквозила угроза, и чисто по-бабьи, заглушая криком голос рассудка, боль и растерянность, вопила Талька:

— Он меня бить еще!.. Растутыра хренова, глот! Подавись своим житьем! Пойду всем расскажу, какой ты хороший. Он еще пинать меня задумал, кулацкая душа. Я все расскажу, меня Советская власть в обиде не оставит. Слава богу, не в старое время живем. Пойдем, сынушка, пойдем. Погляди на него еще раз, какие паразиты бывают.

Талька показалась из-за угла, она пятилась задом, нащупывая носками половицы, чтобы не споткнуться, в одной руке — огромный чемодан, в каких южане обычно возят на базары фрукты, локоть оттягивал узел, наверное, с подушками, и поверх него лежал меньший сын. Геля еще какое-то время смотрел на тяжелую Талькину спину и думал: «Неужели он когда-то любил эту женщину?..» Потом спохватился. И, уже болезненно жалея ее, побежал на крыльцо.

— Если уйдешь, больше не приходи! — еще услышал Геля последние слова и столкнулся с холодным

взглядом близко поставленных глаз. Понтонер сразу же отвернулся и пошел назад, хлюпая по мосткам просторными калошами.

— Подавись своим житьем, все одно сдо-хнешь! — вопила Талька. Потом спохватилась, что кричать уже некому, устало уронила чемодан, уселась на него, как на вокзале, широко расставив ноги.

Старший сын, тонкий, как ивовая ветка, стоял рядом, опершись рукой о покатое материно плечо, в больших глазах его были старческая печаль и недоумение. А Талька, мельком взглядывая на Гелю, вывалила белую, разбухшую от молока грудь и, чуть заслонив ее плечом, ткнула в рот малому:

— На, ешь давай... Пинать задумал. Меня мамушка за жизнь ни разу не задела, а он, злодей...

Лиза Чудинова, которая до сих пор спокойно стояла в тени костра спиной к Тальке и все так же мерно и ровно складывала поленья, подталкивая их ладонью, словно бы она была слепая и глухая, тут не сдержалась, бросила холодно:

— Вот поживи-ко одна, помайся, как мы страдали...

Но Талька промолчала, лишь посунулась вниз, сгорбилась над ребенком еще больше.

— Куда ты сейчас? — спросил Геля, вдруг подумав, что на дворе вечер и куда же денется эта, в общем-то не чужая ему женщина, которая когда-то разбудила в нем первую и самую светлую любовь.

— У меня мама в Городке, к ней поеду...

— Куда хочет пусть девается, — желчно откликнулась мать.

— Не бойся, к вам не полезу, — с вызовом сказала Талька, подняв голову с тяжелой копной волос, и Геля мельком подумал, что лицо ее, чуть оплывшее, потерявшее четкость очертаний, по-прежнему привлекательно.

— Хватит, ну хватит вам, — оборвал Геля перепалку. — Скоро ночь, куда сунешься?

— Добрые люди приветят...

— Больно ты кому нужна, королева, — обернулась мать. — Ну как, больно хорошо теперь? С двоима-то потаскайся, подними-ко двоих, вырости, тогда поймешь чужое страдание.

— Не бойся, к вам не полезу, — зло повторила Талька и спрятала грудь в лифчик. — Пойдем, Тиша, мальчик мой. Пойдем от этих зверей подальше.

— Мы звери, это мы? Ах ты, сука! Поди отсюда, а то сейчас пропинаю, чтобы духом твоим здесь не пахло! — зло крикнула Лиза Чудинова.

— Ну хватит тебе, — пробовал заступиться Геля.

— Чего хватит, чего хватит? Тоже мне заступник. Можешь и ты проваливать. — Она подскочила, пнула ногой чемодан. — Все проваливайте, чтобы и духу вашего здесь не было. — Заплакала навзрыд, расслабленно побежала в дом, и оттуда, из сеней, еще слабо донеслось: — Все, все проваливайте...

У Тальки было меловое, оплывшее лицо, белые губы мелко дрожали, но в темных глазах, нарочито безразличных, не промелькнуло и тени тревоги или иного чувства, как ни вглядывался Геля в их черную глубину. Талька так и стояла, тупо одергивая на груди оборки и потряхивая ребенка. Потом, будто не видя Гели, — а может, она и не видела его, — убитая неожиданным несчастьем, подхватила чемодан и, подволакивая ноги, пошла на улицу.

— Куда ты? — пугливо спросил Геля, слыша, как больно стучит в висках и жарко раскалывается голова. Он оглянулся и увидел в просвете окна неясный расплыв материнского лица, мелькнула ее рука, и вырезная занавеска задернула стекло.

— Тиша, пойдем ко мне, я тебе кисточку подарю, — позвал Геля.

Тонкий, как стебель, мальчишка по-совиному глянул на мать, и слабая рука его с громадным узлом на локте неуверенно задрожала.

— Пойдем, чего ты, мужик или кто? Вместе рисовать будем. А мамка пусть идет куда хочет.

— Отстань, чего прилип, как смола, — вяло отмахнулась Талька.

— А, да ну вас! Как нелюди какие. С вами только так нужно поступать, — вдруг вышел из себя Гелька, выдернул из Талькиной руки чемоданище, который оказался неожиданно тяжелым, словно набитым камнями, и, не оглядываясь, поволок его в дом. Угарно кружилась голова, руки ватно ослабли, но раздраженный Геля каким-то усилием воли заставил себя идти. Когда он

переступил порог и оглянулся, то увидел, что Талька плетется следом, будто невольница. Она остановилась у ободверины и стояла, как нищая побирушка, виновато и растерянно склонив голову. А Тиша, против обыкновения, сразу осмелел, прошел к дивану, сел и, покачивая худыми ножонками, стал с интересом озираться вокруг.

— Может, мне уйти? — едва шевеля губами, спросила Талька и отыскала угрюмыми глазами Лизу Чудинову. Но та промолчала, боком протиснулась в дверь и надолго исчезла.

— И так нехорошо, и эдак плохо, — сказала Талька и опустилась на порог: из-под коричневого саржевого платья выбились серые кружавчики рубахи. Геля ничего не сказал, чтобы не тревожить разговорами Тальку, забегал, захлопотал с самоваром и уже, словно в полусне, на каком-то пределе сил, в маятной истоме, стягивающей тело, затащил на стол готовый самовар, разлил по чашкам чай.

Когда вернулась мать, Талька уже сидела на стуле; видно было, как Лизавета Чудинова боролась с собою у порога, но гнать из комнаты гостей не решилась и, молча смирившись с ними, тоже притулилась у стола.

Геля полыхал, как зарево, ему казалось, что от жары у него потрескивают и осыпаются волосы, ноги ломотой стянуло в коленях и горло перехватило, тошнота поднялась высоко и можно было захлебнуться ею. Талька пристально смотрела на него, и Гельке было стыдно своей слабости. Он еще жалко улыбнулся — мол, ничего, все хорошо — и боком повалился на диван, видя перед глазами широкие полушария коленок и серые кружавчики нижней рубахи и вспоминая нагретую солнцем палубу, пахнущие смолой тенты на шлюпках и вздрагивающие от волнения Талькины припухшие губы. Потом все куда-то разом сдвинулось, и сквозь пелену розового тумана Геля увидел, как тащат его девчонки-соседки по деревянной мостовой, босые ноги волокутся по плахам, и он, обвиснув сырым пьяным телом и заливаясь горючими слезами, кричит на всю Слободу: «Ведь я люблю ее!..»

— Ой, что это с ним? — испуганно сказала Талька и по-бабьи жалостливо потрогала ладонью его лоб. — Как печка полыхает...

— Надо поменьше раздетым по улице летать, — внешне равнодушно и сухо откликнулась Лиза Чудинова, но лицо ее вздрогнуло, и, перегибаясь через стол, она уже внимательно вгляделась в сына.

А Геля, порой словно вырываясь из омута, из-под тяжелой толщи воды, с трудом размыкал каменные веки и в сиреневом мареве видел призрачные незнакомые лица; он еще чувствовал, как его раздевали и укладывали в постель: свежие простыни поначалу обожгли холодом, но сразу нагрелись и обдали тело невыносимым сухим жаром, словно бы утопили Гелю в копне летнего сена. Потом привиделось ему, что он лежит на русской печи, дышащей каленым жаром, и чья-то рука зло выдергивает из-под него старые фуфайки, а он, обжигаясь о кирпичи, цепляется слабыми руками за одежонку, пытаясь вырвать и сунуть ее под бок...

Геля открыл глаза посреди ночи, словно бы кто подтолкнул его: сырые простыни лежали в ногах, одеяло ворохом сбилось на груди. Мать сидела возле, уронив голову на грудь, легкие выцветшие волосы ворохом пушились на голове, и сквозь них просвечивала сухая желтая кожа. Луковичного цвета руки лежали на коленях, и видно было, как вспухали и опадали узловатые голубые жилы. Геля великой жалостью пожалел мать, и в глазах его скопилась влага. Но тут же, неслышно отвлекаясь от жалости и не чувствуя слез, Геля перевел взгляд в сторону и увидел на полу спящую Тальку, ее полные белые плечи, откровенно обнаженные, словно бы мраморные, шелковое красное одеяло бросало на них розовый отблеск; а рядом светлыми луковичками виднелись две детские головенки, и Геля с душевным покоем подумал, что все ладно, все хорошо.

Тут он, наверное, шевельнулся или громко вздохнул, потому что мать испуганно встрепенулась, вгляделась в Гелю, еще плохо и сонно соображая, сразу коснулась ладонью лба, и Геля услышал это знакомое с детства, шершавое прикосновение, снова в горле у него запершило, и, силясь не заплакать, он отвернулся лицом к стене. Рядом было матовое светлое окно, и в прорези занавески виднелись тихая серая дорога и влажные понурые листья рябины с бусинами росной влаги.

— Что с тобой, тебе легче? — тихо спросила мать и снова потрогала лоб. — Простудился, небось в паль-

тишке легоньком всю зиму выбегал. Какая-то нынче у вас манера совсем не берегчись. Форсят всё, форсят...

Геля досадливо качнул головой, потому что каждое назойливое слово больно отдавалось в висках, и мир в душе сразу пропал. Мать замолчала, в тазике смочила полотенце, оно желанно коснулось Гелиного лба, и в душу вновь сошло успокоение.

— Ты иди, мама, поспи, — хрипло, едва разжимая губы, попросил Геля. Мать покорно встала, он сразу же повернулся и, провожая ее взглядом, увидел, как она переступила через спящих, поправила на Тальке одеяло, скрыв ее алебастровые плечи, едва слышно коснулась Тишкиной головы, словно бы ей вспомнилась та послевоенная пора, когда все шестеро сиротинок были еще возле нее, так же спали на полу вповалку, согреваясь друг от друга под общим одеялом, когда каждое утро казалось, что ей не вырастить их, не хватит сил довести детей до взрослой поры, — так медленно и скорбно тянулось в те годы время.

Мать легла, и Гелю снова полонил горячечный жар. И тут в новом наплыве бреда к нему опять пришла черная собака, и длинные раскосые глаза ее под желтыми бровями были по-человечьи безжалостны и злы...

Геля проснулся от постороннего пристального взгляда: он открыл глаза, увидел седую женщину в белом халате, понял, что еще жив, и слабо улыбнулся внутренне.

— Ну-ка посмотрим, что там у вас, молодой человек, — глухо и, как показалось Геле, слишком беспечно сказала седая врачиха. И Геля обеспокоенно подумал про себя, сказать ей или нет, что его укусила бешеная собака, наверное, надо сказать, ибо завтра будет поздно, и, наполняясь тревогой, он попытался объяснить все, но язык не послушался, он мертво и безмолвно заполнял весь рот, словно заткнутый сухой шершавой тряпкой. И тут Геля понял, что он умирает — как просто, оказывается, умирать, — он прислушался к самому себе и не почувствовал никакой боли и никаких желаний. Будто сквозь стену донесся глухой голос женщины в белом халате: « Ничего страшного, обыкновенная простуда. Аспирин, чай и покой...»

Плоть, наверное, уже умерла, подумал Геля, раз у нее нет никаких желаний. В нем осталась только душа,

заполнившая собой все тело — такой громадной оказалась умирающая душа. Никогда не думал он, что можно умирать у всех на глазах и об этом никто знать не будет, Геля неожиданно пожалел себя и затосковал с такою силой, что заплакал, не стыдясь слез. Но никто не заметил его страданий — все вели свое дело: мать топила печь, потом стряпала, почему-то не оглядываясь на Гелю, видно, врач успокоил ее; Талька кормила сына грудью, и сын жадно тянул молоко, постанывая от восторга.

Тут откуда-то появился Тиша, будто выткался из ничего: из рассеянного светлого воздуха, солнечных зерен, летящих в окно на пеструю клеенку стола, из запахов дрожжевого теста и молока. Он робко сел на краешек постели, вглядываясь в Гелю громадными прозрачными глазами, в глубине которых жила большая и уже взрослая печаль. И Геле стало неловко своих слез, и они быстро просохли, наверное, от жара. Он вгляделся в бездонный колодец Тишиных глаз, увидел там черную глубину и подумал жалостливо: «Неужели и в этой детской душе уже есть своя ночь, в которой зреют покорство и зло?» Геля устало прикрыл глаза, и ему почудилась такая картина: посреди огромного сияющего луга, утопая в травах, сидит мальчик и пишет акварелью картину; он еще полон радостного созерцания, этот похожий на одуванчик парнишка, и не видит, как на край неба, роняя тревожную тень на луга, наползает лиловая туча...

Геля открыл глаза, а Тиша все так же робко сидел на краю постели, видно было, как на желтой худенькой шейке бился крохотный голубенький ручеек, казалось, открой его, и капля по капле вытечет вся незаметная Тишина жизнь.

И Геля заметил вдруг, как любопытны глаза мальчишки, просто бессердечно, до жестокости любопытны и пристальны, словно Тиша наблюдал все, что происходит с Гелей внутри него, и запоминал. Гелю стал тревожить этот взгляд, он заволновался, но тут сына позвала Талька, и тот пропал где-то по ту сторону стола, и только слышался сипловатый Талькин голос: «Не торчи там, чего ты дяде мешаешь...»

* * *

Пятый день маковой росинки не было во рту, а Геля на еду и смотреть даже не мог; он плоско лежал под тонким покрывалом и неотрывно глядел в потолок. Когда и в этот день они остались снова вдвоем, мать неожиданно сдернула с сына одеяло и сурово сказала:

— Хватит тебе киснуть. Вставай...

— Ты чего? — тонко и вяло спросил Геля, думая, что ему снится это.

— Кому сказано, хватит вылеживаться! Умереть захотел?

По тону ли голоса или по ее напряженному лицу, но Геля понял, что мать не шутит. Он еще какое-то время будто распяленная рыба лежал в простынях, чувствуя свою наготу и слабость выхудавшего истомленного тела.

— Ишь, чего задумал. А ну надевай штаны и рубаху, поди в огород. Чтобы на моих глазах тебя не было! Картошка не окучена, мати с ног сбилась, а он, как утельга, лежит тут.

Геля поднялся на дрожащие ноги, сделал шаг, как годовалый младенец, его пошатнуло, но он оперся о никелированную спинку кровати и удержался, прислушался к себе и удивился, что еще жив. Мать стояла сзади, и Геля не мог видеть, как дрогнуло ее враз постаревшее лицо, а покрасневшие глаза набухли слезой: она глядела на худую желтую спину сына, на острые лопатки, выпирающие из майки, и ей хотелось обнять такое родное тело. Но, сдержав свою жалость, она еще раз обежала взглядом его и увидела широкие ступни, подумала: «Отцовы ноги-то», рассмотрела руку на спинке кровати и опять подумала: «Отцова рука-то, столь же короткопала». Уже сколько лет прошло, как погиб муж, сгинул на войне ее Андрюша, а поди ж ты, помнила всего и теперь узнавала его в своих детях. Сдержалась Лизавета Чудинова, проглотила слезу и сурово прикрикнула:

— Поди, поди, чего встал! Ести не хошь, дак так и поди. Кирка в сенях за дверью.

Геля с тоской и недоумением глянул на мать, но глаза ее были по-прежнему суровы. Задыхаясь, натя-

нул спортивные брюки, мать пыталась помочь застегнуть на груди рубаху, но Геля оттолкнул ее руку и как старый старик пошел прочь. На крыльце он задохнулся от солнца и густого, пахнущего дорожной пылью и смородиной воздуха, он ослеп от синего небесного водополья: казалось, бесшумная глубокая река накатилась на него сверху и утопила его в себе. Ноги его подогнулись, Геля ошалело сел на порожек, подставляя голову палящему солнцу, огромному, как тележное колесо; черные жирные мухи толклись у нагретой стены, норовили попасть в сени, откуда доносило рыбой и хлебом. Геля сбросил тапочки и пошел босиком по мосткам, а потом по меже, густо поросшей розовой кашкой и подорожником.

Земля на грядах уже не пахла ничем, картофельная ботва с трудом проклюнулась сквозь залубеневшие, покрытые плесенью торфяник и глину, на которых веком-то ничего путного не росло, но мать вот каждый год убивалась с ними с весны и до осени: то по пояс в грязи и болотине, то ломая закаменевшую землю киркой. А за весь труд — в лучшем случае пять мешков картошки. Навоз был нужен землице: иссохлась, иструдилась она — из года в год шла картошка по картошке, и потому соков больше не стало, чтобы усердно рожать ее без болей и болезней. Но где навоз ухватишь? Своей коровенки не держали, и на скотном не очень попросишь, хотя оттуда, что и говорить, навоз попусту на ветер уходит: свезут на поля посреди зимы — морозами его продубит, прокалит, ветрами продует, вешними водами под угор всю его питательную силу смоет, где и без того бойко прут в рост дудки-падреницы, — а землице опять одна пыль достается. В общем, ни вашим ни нашим.

А теперь-то вроде бы и не нужны гряды — некому нынче за стол садиться. Это в ранешние годы ведерный чугун с картохой едва закатишь на стол, не успеешь и оглянуться, как всю расклюют скорехонько, только горы шелухи по всей столешне. А ныне много ли одной надо — три картошины, не более, не в два же брюха пихать, а на зиму пуда два, хватило бы и магазинской по самое горло. Но по старой привычке билась Лизавета Чудинова на огороде, мешая злому чертополоху и сурепке снова взять силу, запустошить землю.

Знал Геля о материных мытарствах, слезные длинные разговоры об огороде осточертели ему, и он все советовал: «Бросай ты его к лешему, зачем ломать спину? Так же соседям картошку раздаришь, соседские поросы без спасиба слопают». И сейчас с ожесточением оглядел он длинные гряды и куцые, посмирневшие от жары картофельные пипочки, которые нужно бы присыпать землей, окучить, обрыть, чтобы им захотелось жить и, пыжась, карабкаться вверх. Геля лениво, преодолевая слабость и головокружение, ткнулся киркой в железную землю и сразу задохся, растерянно оглянулся вокруг, словно бы отыскивая местечко, где лучше умереть ему...

Незаметно для себя Геля отвлекся от дурных мыслей, забыл о черной собаке с желтыми бровями, словно и не было никогда этого бреда, а осталась лишь телесная слабость и не до конца изжитая тоска, но на гряды даже глядеть было тошнехонько, и он повалился на межу, в мелкие ромашки, ощущая терпкий запах земли. Он вгляделся в голубое, слегка выцветшее водополье неба, по которому редко плыли облака, прозрачные, как березовый дым, и ему сделалось вдруг по-настоящему грустно и печально — это была та сладкая грусть, та печаль, от которых хочется жить.

Но не успел Геля уйти в раздумья и снова ослабнуть душой, как в огороде неожиданно появилась мать, она глянула в лицо Геле откуда-то издалека и сверху и показалась странно парящей, неземной. Только голос ее был сух и напоминал о жизни.

— А ну-ко вставай давай, — ворчливо сказала мать. — Земля не прогрелась, а ты разлегся тут. Воспаление легких схватить хочешь? Я-то думала, он уж гряду окучил...

Геле не хотелось досадить матери, не хотелось слышать ее бесконечную воркотню, которую так просто не остановить, и он оборвал ее:

— Ну ладно, чего пристала. Поди давай домой-то.— И Геля снова взялся за кирку. Первые замахи давались трудно, кирка выворачивала плечи и, казалось, готова повалить Гелю на землю, но, досадуя на мать и горячась, он незаметно уходил в работу и уже уговаривал себя, как, бывало, в детстве: «Вот до того кустышка дойду и брошу работу к лешевой матери. Не вер-

блюд же я, в конце концов! Дойду и брошу». Но доходил «до того кустышка» и не бросал в борозду кирку, а с настырной злостью, не разгибаясь, начинал следующий рядок, слыша всем нутром, как просыпается в нем сила, а пустота внутри него заполняется воздухом, влагой и желаниями. Тело его от воздуха в груди и очнувшейся плоти быстро вспотело, зазвенели от усталости мышцы, и кровь ударила в виски, готовая вспыхнуть и взорваться...

Но кровь не успела вспыхнуть и взорваться, потому что снова послышался голос матери. Если бы Геля пригляделся ранее к своему крыльцу, он бы заметил, наверное, как оттуда часто выглядывает и скрывается ее лицо: мать украдкой наблюдала за сыном, словно играла с ним в прятки. Сейчас она подбежала к Геле, легко коснулась его спины, мокрой насквозь рубахи, взяла из рук кирку и почти насильно повела в дом.

— А ты говорила... — задышливо бормотал Геля, упрямо и обидно отворачиваясь от матери.

— Хороший ты у меня. Мало ли что мать скажет, а ты не всяко и слушай. Мать-то для вас в лепешку разобьется, все сделает для вашего счастья.

В комнате Лизавета Чудинова раздела сына, насухо вытерла его тело вафельным полотенцем, приказала лечь в постель, потом принесла клюквенного отвару. Геля выпил две кружки, устало вытянулся на простынях, чувствуя необычайную легкость, будто он только что появился на свет, приятно ныли плечи и руки, постанывала спина, и голодно ныл желудок.

— Поесть бы чего, — вдруг сам попросил Геля. У матери дрогнуло радостно сердце, и, собирая на стол, она ревниво думала: «Вот дурачок-то. Мать просто так мытарить не станет да на огород выпроваживать: огород-то она и сама хорошо обиходит, слава богу, пока в силах, помощи не попросит. А ведь кому сказать если, так не поверят: вот, скажут, Лизавета Чудинова сколь дурна баба — сына работой вылечила. А по мне, так плохого тут ничего нет: отвлекся от дурных мыслей, пропотел до самых костей и сразу есть захотел. Мнительный уж больно парень, опять чего ли сам на себя навыдумывал. Связался тоже с картинами. Жил бы как все, вот бы и не маялся придурью...»

Она поставила на стол кислую камбалу печорского

засола, запеченную в ладке, да круглую отварную картошку, и Геля с душой поел. И когда Талька вернулась с работы, то просто не узнала парня.

— Ну ты совсем человеком стал. Уходила, так вовсе помирал, а сейчас ожил. Как ты его, Лизавета Спиридоновна, эдак? — спросила Талька, но мать сразу закаменела лицом, скулы дернулись, словно болели у нее зубы, и молча вышла, будто по делам, в сени. Талька виновато улыбнулась, присела на диван, и Геля невольно отметил, что она как бы похорошела за эти дни, отмякла, что ли, душой и лицом: синие пятаки под глазами совсем пропали, волосы чисто прибраны под черную кружевную повязку, губы ожили, потеряв голубой шершавый цвет. А Талька словно бы услышала, что Геля думает о ней, подоткнула ласковой рукой одеяло и будто нечаянно задержала ладонь на Гелиной груди, всматриваясь в его выпуклые, как голубиное яйцо, глаза.

— Мы бы с тобой не ужились, — вдруг сказала она задумчиво, словно спрашивала сама себя об этом и вот, наконец, решила, — нет, не ужились бы. Ты все чего-то думаешь. А чего думать? Думай не думай, а сто рублей не деньги. Жить надо, брать надо. Теперь никто сам тебе ничего не даст...

— Вот не думаешь, дак и горишь синим пламенем,— вдруг сказала с порога мать — она неслышно вошла в открытую дверь.

— Ты-то много думала, так порато хорошо живешь, — огрызнулась Талька.

— Ну хватит вам, —одернул Геля, испугавшись, что с таким трудом вызревающий мир может с диким грохотом и руганью взорваться.

— Ты меня-то не трогай, ты мое имя не поминай даже. Сначала выживи с мое да детей вырасти. А там посмотрим...

Лизавета снова вышла на крыльцо, и скоро слышно стало, что с кем-то разговаривает там. Потом она крикнула прямо через сени:

— Эй ты, иди-ко сюда!

— Я, что ли? — спросила Талька, пожимая плечами.

— Ну а кто, не я же...

В сенях стоял Федор Понтонер, Талькин благоверный, и мял в руках ватный колпак: одуванчиковые во-

лосы слиплись то ли от пота, то ли оттого, что умылся только что человек и словно бы оголил просторный череп и плотно прижатые к голове острые уши. Понтонер мельком глянул на жену гнедыми глазами — в них сквозили усталость и смущение.

— Ты что, всерьез ушла иль как? — глухо спросил он. — Ну погорячился, с кем не бывает?

— А как думаешь, я с тобой в чикалки играть буду? — сразу вспыхнула Талька, вспомнив недавние побои. — Я ныне-то живу, как королева, спасибо добрым людям.

— Дак чего, я тебя не гоню, живи, если хочешь, — внезапно согласилась Лизавета и победно оглядела деверя: ей был сладок и мил его ушибленный вид.

— Ну погорячился, с кем не бывает? — вяло повторил Понтонер, не глядя на Тальку и упорно заталкивая свою ненависть в дальние углы души, но она бродила, как дрожжевое тесто, и Федор до боли жал кулаки, чтобы сдержаться. Сейчас он был как бы генералом без армии, ибо некому стало восхищаться его умом и красноречием, некем ему было и повелевать, а это для Понтонера хуже смерти, да и к тому же сразу словно бы остыли его комнаты и заткались паутиной, и в постель сиротскую не хотелось ложиться, а люлька в углу все напоминала об единственном сыне, наследнике, в котором продолжится, может быть, Федор Чудинов, а там внуки пойдут и правнуки, и как много будет тогда на свете Чудиновых с его кровью и его желаниями.

— Иди, ступай прочь. Не хочу и разговаривать с тобой, — грубо отказала Талька. — Растутыра лешовый, — добавила едва слышно, но Понтонер уловил эти слова, и подбородок его дрогнул.

— На суд подам, разведемся и все добро пополам.

Талька повернулась и ушла в комнату. Там села у окна и, баюкая на коленях сына, так и сидела весь вечер, не сводя взгляда с улицы и напряженно думая о чем-то своем.

— Он так-то ничего, скупердяй, правда, хороший. Но как мужик еще ничего, — вдруг сказала она.

— И неужели ты вернешься? — изумленно спросил Геля. — После всего этого?..

— На тебя глядеть буду. Хороший какой. От этого мне ни прибытку, ни убытку...

— Но он же избил тебя, он издевается над тобой, как хочет.

— А чего там. У милого кулаки, как мясные пироги.

— Я ведь тебя, Талька, не гоню, — вступила в разговор мать. — Неужели изверга этого пожалеешь? Вот мы, бабы, какие: нас помани только, а мы и побежали, как собачки.

— Да, побежали, побежали, ну и что? — возвысила голос Талька и, уже всхлипывая носом, не в силах удержать слезы договорила: — Как я их поднимать буду, как? Вековухой? Фигушки! А он будет на добре шириться да поживать. Не-е, я ему жизнь испорчу, он еще запоет под меня.

— Таля...

— А мне не до жиру. Мы люди маленькие, простые мы. Спасибо, что оприютили. Тиша, Тиша, сынок, где ты, пойдем давай домой.

— Не хочу я...

— Чего еще завыдумывал, ну!

И Талька торопливо исчезла вместе с детьми, чемоданом и пузатым узлом.

— Сама свою судьбу выбирала, — равнодушно сказала Лизавета Чудинова, когда дверь за Талькой прикрылась. — Чтобы честно-то жить, надо и пострадать порой мочь. Ее уже не переделать. Детишек-то жаль порато, испортит ведь.

Они помолчали.

— Мама, иди сюда, посиди возле, — позвал Геля. Мать села подле, сложила ладони ковшичком в натянутом подоле платья и задумалась, старчески жуя выцветшие губы и что-то рассматривая в пространстве. И Геля вдруг почувствовал душой какое-то новое меж ними расположение и понимание, куда большее, чем просто сыновняя и материнская любовь, он погладил материны руки, покрытые частой сеткой морщин и ржавым загаром, так похожие на руки всех крестьянок мира, и, стараясь вывести мать из тягостного молчания, сказал:

— Ну ты и ловка...

— Какое ловка, — печально откликнулась мать. — Ловкие-то не на эких стульях и сидят. Всю-то жизнь пробобишь, дак чего только и не придумаешь... Ну как, лучше стало?

— Кажется, ожил...

— Может, насовсем останешься, Геля? Вон Юрка-то Малашкин уже дом себе поставил, и в доме чего только нет. Все завел. Может, зря ты рвешься? Работал бы, как все. А чего ты на картинах, много ли на них заработаешь?

— Не могу я как все...

— Выставляешься больно много.

— А хочешь, тебя нарисую? Ты же героиня...

— Как не «героиня». Не хватало еще, чтобы мою старую рожу на посмешище людское выставлять. Поди давай... А только жизнь-то мою надо было пережить.

И, скрывая нахлынувшие слезы, — ведь не вина матерей, что слезы у них всегда с краю, — Лизавета Чудинова ушла в сени и нарочито громко стала брякать ведрами, наверное, собралась на колодец за водой. А Геля стал желанно думать, что скоро пойдет на луга и будет писать вечереющий, погружающийся в чуткую дремоту мир: синюю щетку дальнего леса, зеленые облака ивняков, розовую воду с темными тенями в берегах и плывущие в легком тумане дальние рощи. Вспомнилась черная, как хворь, сука с желтыми бровями, но взгляд ее был уже приветлив и ласков: собака проявилась в сознании и тут же пропала, не всколыхнув недавних больных видений, — знать, они растворились вместе с жаром и от них в сознании осталось только легкое ощущение беспокойства.

13

К дяде Кроне Геля собрался, как мать ни отговаривала: «Чего ты поедешь только людям мешать, думаешь, без тебя там мало забот в такую пору? Небось дядя Кроня с пожень-то не вылезает, а ты по гостям норовишь. Он тебя захочет встретить, без водки тут, конечно, не обойдется, опять пить будете, а люди в глаза станут тыкать, вот, мол, наш управляющий и в страду хорошо рюмку на лоб пригибает. Нет, Гелюшка, поживи-ка лучше у мамушки дома, окрепни, а то, неровен час, осложнение какое после гриппа схватишь. Что́, тебе у матери родной разве плохо живется? На всем-то готовом отдохни по-человечески...»

В Снопу Геля приехал под вечер, когда жара спала и небо стало наливаться в предвестии зари тусклым луковым цветом, а солнце опустилось на корточки, золотя окна домов. Деревня, до того будто умершая, оживала, наполнялась шумами, запахами машинного масла, молока, свежего хлеба — знать, открыли лавку, проехала машина, подняла за собой облака желтой пыли, бабы заслоняли лица и кричали вослед: «У, лешак чертов!»

Тетя Клава ткнулась губами в пыльную Гелину щеку и сразу закрутилась по дому, чтобы угодить не только гостю, но и Кроне, мужу своему, который вот-вот вернется с сенов, побежала затапливать баню. Геля остался на порожке повети, чувствуя в душе легкую грусть и некоторое раскаяние, что вот не послушался матери и приехал, а здесь он лишний, и особенно никто его не ждет: все в угаре сеностава, ловят золотые денечки. Геля внушал себе это, но и с какой-то тайной надеждой слушал за спиной шорохи и скрипы, и все ему думалось, что вот сейчас, шаркая непослушными ногами, выйдет на поветь баба Наталья, еще более погрузневшая, и спросит негромко, будто у самой себя: «А мне сказывали, будто Гелюшка приехал?», и станет вглядываться в широкий проем поветных дверей, прислонив козырьком к глазам сухую ладошку. Потом охнет, но не поспешит навстречу, а подождет, когда Геля неловко подойдет, по-мужски обнимет ее и притихнет около, целуя морщинистую ее щеку... Но осиротел громадный дом в два жила, похрустывая в суставах, оседает он, словно норовит лечь в землю следом за старой хозяйкой, которая обихаживала его... Из-за этих сухих шорохов и скрипов изба казалась еще пустынней и сумрачней. А тетя Клава проходила мимо, как тень, и, виновато улыбаясь, тут же исчезала, не внося особого оживления и радости в их встречу; Геля тоже ловил ее взгляд и готовно улыбался, а оставаясь один, с тоской поглядывал на часы.

Но вот в проулке показался дядя Кроня, он тяжело волочил ноги, жаркий даже на расстоянии, упревший от работы, опутанный с ног до головы сенной трухой. Неожиданно, подняв глаза, он увидел на порожке Гелю и сразу осветился весь, на скулах проклюнулась серебристая проволока, и дядя Кроня колючей щекой об-

жег Гелино лицо, а шершавыми губами опалил его рот. И, ответно обнимая дядю, Геля внутренне снова поразился его чистой и радостной силе, обрадовался его упругому бронзовому лицу, на котором крохотными весенними лужицами ласково жили каленые до голубизны глаза в лучах морщин. И Геле стало отрадно, что есть на свете родной человек, от которого всегда светло, светло даже от мысли о нем: дескать, живет в Снопе дядя Кроня, которого изредка можно навестить, убедиться, что он есть.

— Ну прибыл, навестил дядьку, тюх-тюлюх, —только и сказал Кроня Солдатов, но этих слов уже было достаточно Геле, потому что в них была сплавлена вся радость и от золотых деньков, что стоят на земле, и от потной работы, и от зародов, наставленных по всему наволоку, и от того, что приехал нынче племяш и они вот сейчас пойдут вместе в баню, а потом сядут за стол, разговеются ради встречи и толково поговорят. И Геля, как привязанный, все ходил следом за дядей из комнаты в комнату, наблюдая, как тот неторопливо собирается в баню, норовил заглянуть еще и еще раз в его весенние глаза, словно боялся ошибиться в чем-то самом главном, и глуповато улыбался от радости, потому что не мог сдержать этой улыбки.

Тетя Клава что-то парила, жарила, уже на столе была раскинута хрустящая скатерть, а они пошли в баню. Дядя Кроня сразу выплеснул на каменку несколько ковшиков горячей воды и сел на полок, похожий на идола: лицом — в банных сумерках — черный, а от шеи до пят молочно-белый. Он стал приговаривать, охаживая тело веником: «Ох ты, боже мой, до чего хорошо!»

— Эй, Геля, ползи сюда! — позвал он сверху.

— Да ну, сгоришь там, — отмахнулся Геля. Он сидел на березовой чурке возле крохотного оконца и не сводил взгляда с полка: красив был дядя в клубах пара, весь пунцовый, вышибающий жар работы банным жаром, осыпанный мокрым березовым листом; вот он не удержался — соскочил с полка, натянул на голову овчинную шапку, на руки — брезентовые верхоньки и снова полез в жаркий ад... Вдруг Геля, словно бы кто толкнул его, выскочил из бани и помчался прочь в одних трусах, оскальзываясь на волглой траве, вбежал в нижнюю половину избы, где оставил этюдник.

Когда он вернулся в баню, дядя Кроня в сенцах торопливо натягивал белье.

— Фу ты, напугал как. Думал, чего стряслось с тобой...

— Ты на меня так не смотри, — смущенно увильнул от ответа Геля, но дядя Кроня, разглядев этюдник и поняв что к чему, застыдился сразу, словно его выставили нагишом перед толпой, и снова полез в баню.

— Надумал чего-то опять. После разве нельзя? Тюхтюлюх...

— Можно и после...

— Ну и ладно. А я пока повторю, — и он снова плеснул воды на каменицу, полез на полок, где ходил лиловый пар, а Геля примостился возле оконца, которое было не крупнее тетрадного листка, и попробовал украдкой написать дядю. Но краски на картоне мешались с паром, под кистью рождалось что-то смутное и расплывчатое: в этюде не было того праздника души, мускулов и банного жара, который так буйно жил еще мгновение назад, но уже увядал вместе с красками на картоне. Однако все это Геле отчетливо помнилось до каждой мелочи, проникло в него, и он подумал, что такое настроение сохранит в себе надолго. А дядя Кроня выплеснул на себя таз холодной воды, в изнеможении сел подле Гели, и было видно, как на дядиной малиновой груди шевелились как бы сами собой белые щупальца шрама.

— Ну что там у тебя? — задышливо спросил он, трудно приходя в себя и присматриваясь к этюду осоловелыми глазами. — Ну больно хорошо — вылитый я...

— Ну как же...

— Ничего, ты меня потом зарисуешь, — утешил дядя Кроня. — Вот попарился — и будто заново на свет родился.

— И не страшно было? — вдруг спросил Геля, кивая на грудь.

— Ты про што?

— Ну это, когда чикнуло...

— Как не страшно-то. Живой ведь...

— Слушай, ты ведь герой, — повинуясь внезапному волнению, сказал Геля.

Но дядя Кроня пожал плечами и задумался, потому что впервые в жизни сказали ему, что он герой, но это

слово, применительно к нему самому, оказалось непривычным его слуху.

— Глупости мелешь, какой я герой — мужик я простой. «Герой». Ну ты скажешь тоже, Гелька, как в лужу дунешь! Про героев-то как пишут в газетках? Дак ангелы они, а я мужик... Ну, Гелька, давай лучше ополоснемся да в избу наладим, небось Клавка заждалась. У нее и бутылочка припасена. — И дядя Кроня неожиданно засуетился, забегал по баньке, прибирая мыло, мочалки, опрокинул на остывшее уже тело таз воды и направился из бани. Геля шел следом по тропинке, раздумывая над дядиным смущением: умом он хорошо понимал правду дядиных слов, но душой почему-то не соглашался с ним... Но как, как передать на холсте красками те мысли, которыми переполнился Геля и которые уже почти не волен таить в себе. Видимо, мало только набить руку, верно держать кисть и ловко смешивать краски, нужно, наверное, созреть душой, проснуться ею, обрести неожиданную смелость духа, и видения, и мысли, а тогда и сам черт тебе не брат и в природе увидишь не только ее внешнюю форму, но и глубину ее, сокрытую от глаза ремесленника, от души, не могущей сострадать, — тогда и напишешь не жалкое подобие натуры, скопировав цвет и тень, а проникнешь в самую глубь сложнейших состояний человека и природы.

Но, чтобы обрести такую способность, нужно не только проснуться однажды душою, но и засветиться радостью, как светится, окутываясь зеленым пламенем, пробужденное весною дерево: все было оно задумчиво-сонным, но ударил грозовой проливень — и разом забродили, закипели внутри, в каждой жилке, каждой почке, соки жизни и опьянили все дерево разом...

Может, именно это и случилось нынче с Гелей? Он услышал в себе какое-то новое состояние нежности, грусти и покоя и тихо и довольно засмеялся про себя.

А дядя Кроня внезапно остановился у избы на самом взгорке и обернулся лицом к простору. День уже потух, догорала заря, и в мире воцарилась та предночная тишина, сливаясь с которой взволнованно вздрагивает и наполняется ощущением счастья даже самая неприкаянная душа. Земля парила и рождала голубые дымы, и в этих легких облаках тумана, подсвеченного

по дальнему краю слабым лимонным светом, неслышно ступали деревья, темнели вдали островами, а с нагретых за день поскотин, не тревожа благословенной тишины, наплывали на деревню сонный коровий мык, скрип телеги и таинственный и грустный зов пролетающей птицы.

И дядя Кроня посунулся вперед, оглядывая лежавшие под ногами поскотины и тихую реку, уже покрытую ватным одеялом тумана, и сказал сам себе:

— Осподи, хорошо-то как... Хоть бы завтра дождь не палея. С сенами-то убраться бы.

СОДЕРЖАНИЕ

Личутин Владимир Владимирович

ЗОЛОТОЕ ДНО

Редактор *В. А. Беднов*
Художник *Н. И. Кисляков*
Художественный редактор *В. С. Вежливцев*
Технический редактор *Н. Б. Буйновская*
Корректоры *В. И. Пригодина, А. А. Фонтейнес*

Сдано в набор 30/IV 1976 г. Подписано в печать 23/VIII 1976 г.
Форм. бум. $84 \times 108^1/_{32}$ (бум. тип. № 1.) Физ. печ. л. 9,75. Усл. печ. л. 16,38.
Уч.-изд. л. 16,425. Тираж 30000. Сл. 00129. Заказ № 3884. Цена 66 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Архангельск, пр. П. Виноградова, 61.

Типография им. Склепина
издательства Архангельского обкома КПСС,
Архангельск, набережная В. И. Ленина, 86.

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВЫШЛА КНИГА

Михайлов Ал. СЕВЕРНАЯ ТЕТРАДЬ. 1976, стр. 176, цена 49 коп.

В книге известного критика и литературоведа, доктора филологических наук Александра Алексеевича Михайлова — воспоминания и очерки о земляках, о творчестве И. Меньшикова и М. Голубковой, Ф. Абрамова, Н. Жернакова, В. Ледкова и В. Личутина, А. Яшина, И. Полуянова и О. Фокиной, Ю. Казакова, Е. Евтушенко и К. Ваншенкина и других прозаиков и поэтов.